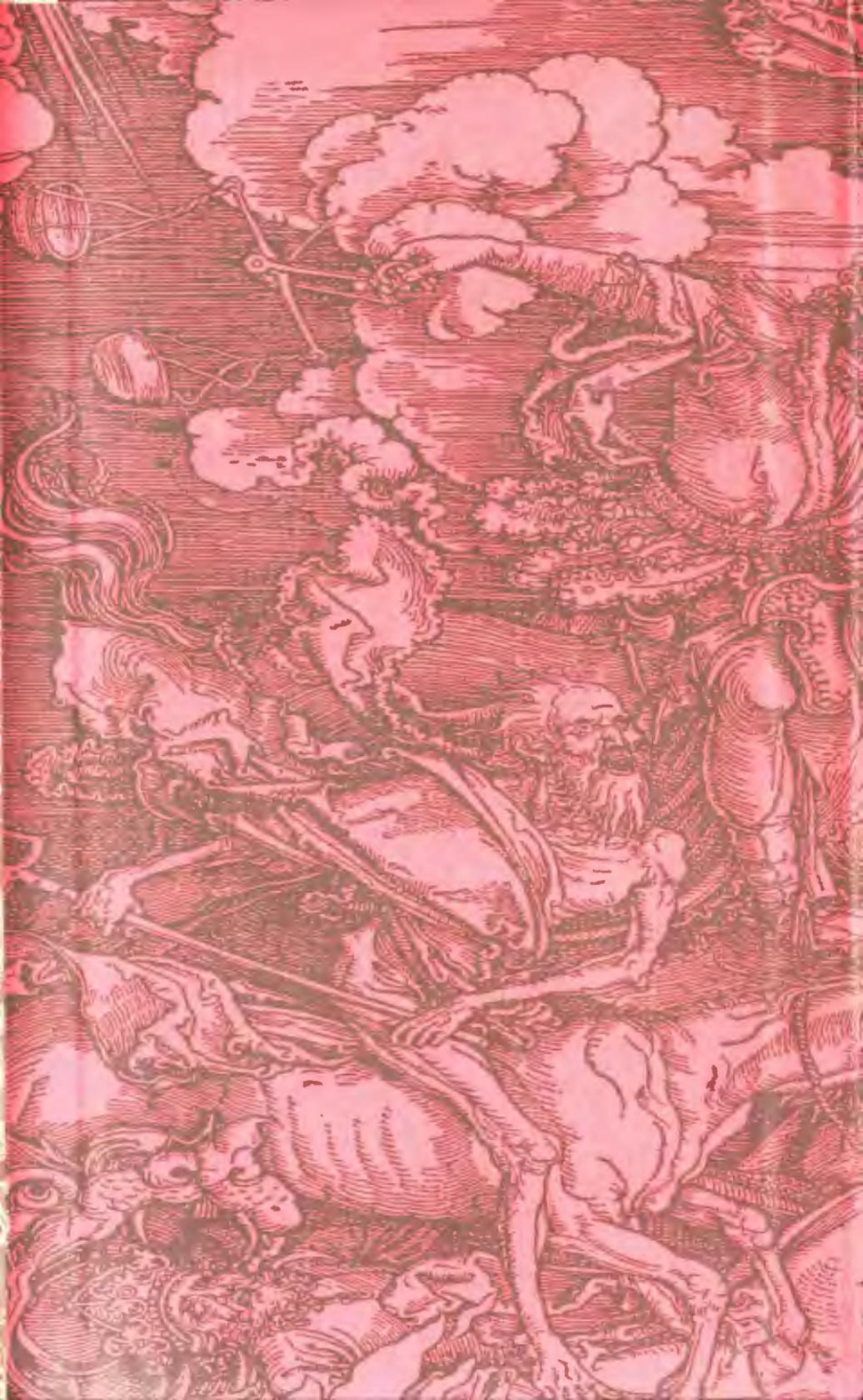


Василий АКСЕНОВ

МОСКОВСКАЯ САГА
ПОКОЛЕНИЕ ЗИМЫ







Василий АКСЕНОВ

МОСКОВСКАЯ САГА

ПОКОЛЕНИЕ ЗИМЫ

Книга первая



Издательство «Изографус»

ЭКСМО

Москва, 2002

ББК 84(2Рос-Рус)

А42

Оформление: *Александр Анно, Максим Горбатов*

В коллаже на обложке
использована фотография Георгия Зельмы

А 42 **Аксенов В.** Московская сага. Поколение зимы. Книга первая. — М.: Изографус, Изд-во Эксмо, 2002. — 384 с.

ISBN 5-94661-026-0

«Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир» — эти три романа составляют трилогию Василия Аксенова «Московская сага». Их действие охватывает едва ли не самые страшные в нашей истории годы: с начала двадцатых до начала пятидесятых — борьба с троцкизмом, коллективизация, лагеря, война с фашизмом, послевоенные репрессии.

Вместе со страной семья Градовых, три поколения российских интеллигентов, проходит все круги этого ада сталинской эпохи.

ББК 84(2Рос-Рус)

© В.Аксенов, 2002

© А.Анно, М.Горбатов, оформление, 2002

ISBN 5-94661-026-0

© Издательство «Изографус», 2002

Лели-лили – снег черемух,
Заслоняющих винтовку.
Чичечача – шашки блеск,
Биээнзай – аль знамен,
Зиээгзой – почерк клятвы.
Бобо-биба – аль околыша,
Мипиопи – блеск очей серых войск.
Чучу биза – блеск божбы.
Мивеаа – небеса.
Мипиопи – блеск очей,
Вээава – зелень толп!
Мимомая – синь гусаров,
Зизо зей – почерк солнц,
Солнцеоких шашек рожь.
Лели-лили – снег черемух,
Сосесао – зданий горы...



Велимир Хлебников

ГЛАВА I

Скифские шлемы

Ну, подумать только — транспортная пробка в Москве на восьмом году революции! Вся Никольская улица, что течет от Лубянки до Красной площади через сердце Китай-города, запружена трамваями, повозками и автомобилями. Возле «Славянского базара» с ломовых подвод разгружают садки с живой рыбой. Под аркой Третьяковского проезда ржание лошадей, гудки грузовиков, извозчичий матюгальник. Милиция поспешает со своими пока еще довольно наивными трелями, как бы еще не вполне уверенная в реальности своей сугубо городской, не политической, то есть как

бы вполне нормальной, роли. Все вокруг вообще носит характер некоторого любительского спектакля. Злость и та наигранна. Но самое главное в том, что все играют охотно. Закупорка Никольской — на самом деле явление радостное, вроде как стакан горячего молока после сыпного озноба: жизнь возвращается, грезится процветания.

— Подумать только, еще четыре года назад здесь были глад и мор, блуждали кое-где лишь калики перехожие, да безнадежные очереди стояли за выдачей проросшего картофеля, а по Никольской только чекистские «маруси» прозжали, — говорит профессор Устрялов. — Вот вам, мистер Рестон, теория «Смены веж» в практическом осуществлении.

Два господина приблизительно одного возраста (35 — 40 лет) сидят рядом на заднем сиденье застрявшего на Никольской «паккарда». Оба они одеты по-европейски, в добротную комплектную одежду из хороших магазинов, но по каким-то незначительным, хотя вполне уловимым приметам в одном из них нетрудно определить русского, а в другом настоящего иностранца, более того, американца.

Парижский корреспондент чикагской «Tribune» Тонсенд Рестон в течение всего своего первого путешествия в Красную Россию боролся с приступами раздражения. Собственно говоря, это нельзя было даже назвать приступами: раздражение не оставляло его здесь ни на минуту, просто временами оно было сродни ноющему зубу, в другие же моменты напоминало симптомы пищевого отравления.

Может быть, как раз с пищи все и началось, когда в день приезда советские, так сказать, коллеги — этот невыносимый Кольцов, этот ерничающий Бухарин — потчевали его своими деликатесами. Эта икра... даром что и в Париже сейчас безумствуют с икрой, нашли в ней, видите ли, какой-то могущественный «афродизиак»... но ведь это же не что иное, как рыбы яйца, медам и месье! Доисторическая рыба, покрытая хрящевидны-

ми роготками... а главное все-таки — это ощущение какой-то постоянной театральности, слегка тошнотворной приподнятости, бахвальства... и вместе с этим неуверенность, заглядыванье в глаза, невысказанный вопрос. Европу они, похоже, уже раскроили на будущее, но Америка сбивает их с толку. Рестона здесь тоже что-то сбивает с толку. Прежде он полагал, что знает пружины революций. Его репортажи из Мексики в свое время считались высшим классом журналистики. Он интервьюировал членов революционных хунт во многих странах Латинской Америки. Черт побери, теперь он видит, что «гориллы» по сравнению с этими «вершителями истории» были ему ближе, как и яблочный пирог по сравнению с проклятыми «рыбьими яйцами». Неужели большевики всерьез думают, что ворочают миром? Все было бы проще, если бы речь шла просто о захвате и удержании власти, о смене правящей элиты, однако...

Готовясь к поездке, Рестон читал переводы речей и статей советских вождей. В конце августа РКП(б) была потрясена трагической историей, связанной с Америкой. Катаясь на лодке по какому-то озеру в штате Мэн, утонули два видных большевика, председатель «Амторга» Исай Хургин и Эфраим Склянский, ближайший помощник Троцкого в течение всех лет Гражданской войны. На похоронах в Москве всесильный «вождь мирового пролетариата» выдавливал из себя слова какого-то странного, едва ли не метафизического недоумения: «...наш товарищ Эфраим Маркович Склянский... пройдя через великие бури Октябрьской революции... погиб в каком-то ничтожном озере...»

Эдакое презренье к озеру, недоумение перед «внеисторической» смертью; нет, они и в самом деле ощущают себя чем-то сродни богам Валгаллы или по крайней мере титанами из мифологии. Черт возьми, мало кто в Америке поймет, что они одержимы своей «классовой борьбой» больше, чем аурой власти... Революция, похоже, это не что иное, как пик декаданса...

Увешанный черными пальто и солдатскими шинелями трамвай тронулся и проехал на десяток ярдов вперед. Шофер наркоминдельского «паккарда», кряхтя, выворачивал руль, чтобы пристроиться в хвост общественному транспорту. Рестон, посасывая погасшую трубку, смотрел по сторонам. В мешковатой толпе иной раз мелькали чрезвычайно красивые женщины почти парижского вида. У входа в импозантное здание аптеки стояли два молодых красных офицера. Стройные и румяные, перетянутые ремнями, они разговаривали друг с другом, не обращая ни на кого внимания. Их форма отличалась той же декадентской дикостью, что и вся эта революция, вся эта власть: престраннейшие шапки с острыми шишаками и нашитой на лбу красной звездой, длиннейшие шинели с красными полосами-бранденбурами поперек груди, отсутствие погон, но присутствие каких-то загадочных геометрических фигур на рукавах и воротнике — армия хаоса, Гог и Магог...

— Простите, профессор, позвольте задать вам один, как мы в Америке говорим, провокативный вопрос. После восьми лет этой власти, что вы считаете главным достижением революции?

Чтобы подтвердить серьезность вопроса, Рестон извлек свой «монблан» и приготовился записывать ответ на полях своего «бедекера». Профессор Устрялов весьма сангвинически рассмеялся. Он-то как раз души не чаял во всех этих «икорочках» и «стерлядках».

— Милый Рестон, не подумайте, что я над вами смеюсь, но главным достижением революции является то, что Цека стал старше на восемь лет.

По правде сказать, даже этот его сегодняшний спутник с его спотыкающимся английским в сочетании с самоуверенными переливами голоса (откуда у русских взялась эта манера априорного превосходства перед западниками?) раздражал Тоунсенда Рестона. Фигура более чем двусмысленная. Бывший министр в сибирском правительстве белых, эмигрант, осевший в Харбине, лидер движения «Смена вех», он нередкий гость в Красной Мо-

скве. Последняя его книга «Под знаком революции» вышала разговоры в Европе, а уж здесь-то ни одна политическая статья не обходится без упоминания его имени.

Зиновьев называет Устрялова классовым врагом, тем более опасным, что он на словах приемлет Ленина, говорит о благодетельной «трансформации центра», о «спуске на тормозах», о «нормализации» большевистской власти, о надежде на нэповскую буржуазию и на «крепкого мужика»...

Зиновьев иронизирует над Устряловым в типично большевистской манере — «курице просо снится», «как ушей своих не увидите кулакизации, господин Устрялов»... Бухарин называет его «поклонником цезаризма». Любопытно, на что и на кого делается намек в последнем случае?

Рестон в разговоре с Устряловым старался играть дурачка, поверхностного американского газетчика.

— Все возвращается на круги своя, — продолжал Устрялов, — ангел революции тихо отлетает от страны...

Рестон понимал, что он цитирует собственную книгу.

— Революционный жар уже позади... Победит не марксизм, а электротехника... Посмотрите вокруг, сэр, на эти разительные перемены. Еще вчера они требовали немедленного коммунизма, а сейчас расцветает частная собственность. Вчера требовали мировой революции, а сегодня только и ищут концессионных договоров с западной буржуазией. Вчера был воинствующий атеизм, сегодня «компромисс с церковью»; вчера необузданный интернационализм, сегодня — «учет патристических настроений»; вчера прокламировался беспрекословный антимилитаризм и антиимпериализм, давалась вольная всем народам России, сегодня — «Красная Армия, гордость революции», а по сути дела, собиратель земель российских. Страна обретает свою исконную историческую миссию «Евразии»...

По мере разгрузки подвод у «Славянского базара» движение по Никольской хоть и черепашьям ходом, но

восстанавливалось. Проплывали мимо живые сцены и впрямь довольно оптимистической толпы. Октябрьский легкий морозец бодрил уличных торговцев.

Торговка пирогами и кулебяками розовощекостью смахивала на кустодиевскую купчиху. Веселый инвалид на деревянной ноге растягивал меха гармошки. Рядом торговали какими-то чертиками в стеклянных банках. Просвещающему американцу было невдомек, что диковинка называлась «Американский подводный житель».

— Ба, открылась Сытинская книжная лавка! — воскликнул Устрялов, обращаясь к американцу по-русски и как бы к свосму, но потом, сообразив, что тому ничего не говорит это название, с улыбкой прикоснулся к твидовому колену. — В области литературы и искусства здесь сейчас полный расцвет, сэр. Открыты кооперативные и частные издательства. Даже газеты, хоть и все остались в руках большевиков, гораздо меньше пользуются трескучей пропагандой и больше дают прямой информации. Словом, болезнь позади, Россия стремительно выздоравливает!

С торцовой стены дома, что здесь, как и в Германии, именуется брандмауэром, смотрела афиша кинофильма — некто в цилиндре, смахивающий на Дугласа Фербенкса, завитая блондинка, которая вполне могла оказаться Мэри Пикфорд. Там же какие-то жалкие рисунки в кубическом стиле, большие буквы кириллицы. Если бы Рестон мог читать по-русски, он бы понял, что рядом с афишей голливудского боевика наклеен призыв Санпросвета «Вошь и социализм несовместимы!».

— Ну, что же люди партии, армии, тайной полиции? — спросил он Устрялова (он произносил «Юстреллу»). — Вам кажется, что и они проходят такую же трансформацию?

С подвижностью, свойственной мягким славянским чертам, лицо профессора переменяло выражение экзальтации на серьезную, даже отчасти тяжеловатую задумчивость.

— Вы затронули самую важную тему, Рестон. Видите ли, еще вчера я называл большевиков «железными чудищами с чугунными сердцами, машинными душами»... Хм, эта металлургия не так уж неуместна, если вспомнить некоторые партийные клички — Молотов, Сталин...

— Сталин, кажется, один из... — перебил журналист.

— Генеральный секретарь Политбюро, — пояснил Устрялов. — Основные вожди, кажется, не очень-то ему доверяют, но этот грузин, похоже, представляет крепнущие умеренные силы. — Он продолжал: — Только такие чудища с их страшными рефлекторами конденсированных энергий могли сокрушить российскую твердыню, в которой скопилось перед революцией столько порока. Однако сейчас... Видите ли, тут вступает в силу эрос власти, который у этих людей очень сильно развит. Машинные теории вытесняются человеческой плотью.

— Интересно, — пробормотал Рестон, непрерывно строча «монбланом» на полях «бедекера». Устрялов усмехнулся — еще бы, мол, не интересно.

— Мне кажется, этот процесс проходит во всех сферах, как в партии, так и особенно в армии. Вы вроде обратили внимание на двух молодых командиров возле аптеки. Какая выправка, какая стать! Это уже не расхристанные чапаевцы, настоящие профессиональные военные, офицеры, хоть и в странной, на западный взгляд, форме. Кстати, о форме. Принято считать, что она чуть ли не самим Буденным придумана, а она, между прочим, была заготовлена еще в шестнадцатом году по макетам художника Васнецова Виктора Михайловича, так что здесь мы как бы видим прямую передачу традиции... Скифские мотивы, батенька мой, память о пращурах!

Устрялов вдруг прервался на восклицательном знаке и посмотрел на американца с неожиданным удивлением. Что он там пишет, как будто понимает все, что я

ему говорю? Кто из них вообще может это постичь, невнятицу срединной земли, перемешанного за пятнадцать веков народа? Всякий раз приходится обрывать себя на экзальтированной ноте. Сколько раз твердил себе — держись британских правил. Understatement — вот краеугольный камень их устойчивости. Он кашлянул:

— Что касается ОГПУ, или, как вы это называете, тайной полиции... Как вы думаете, еще четыре года назад смог бы эмигрантский историк разъезжать по Москве с иностранным журналистом в машине Наркоминдела?

— Значит, вы не боитесь? — спросил Рестон с прямою кватербека, посылающего мяч через полполя в зону противника.

Машина тем временем уже проехала всю Никольскую и остановилась там, где ее, очевидно, просили остановить заранее, возле вычурного фасада Верхних торговых рядов. Здесь профессор Устрялов и американец Тоунсенд Рестон, представляющий влиятельную газету «Чикаго Трибюн», покинули экипаж и далее проследовали пешком по направлению к Красной площади. Напрягая слух, шофер еще некоторое время мог слышать высокий голос «сменовеховца»: «...Разумеется, я понимаю, что мое положение до крайности двусмысленно, — в кругах эмиграции многие считают меня едва ли не чекистом, а в Москве вот Бухарин на днях объявил...»

Дальнейшее было покрыто гулом хлопотливой столицы.

Едва лишь две фигуры в английских пальто скрылись из виду, к «паккарду» подошел некто в мерлушковой шапке, субъект с усиками из той породы, что до революции назывались «гороховыми» и не изменились с той поры ни на йоту.

— Ну что, механик, о чем буржуи договаривались? — обратился он к шоферу.

Шофер устало потер ладонью глаза и только после этого посмотрел на обратившегося, да так посмотрел,

что шпик сразу же осел, тут же сообразил, что перед ним и не шофер вовсе.

— Уж не думаете ли вы, любезнейший, что я вам буду переводить с английского?

Вдруг над Верхними торговыми рядами и над запруженными улицами старого Китай-города полетели «белые мухи», первый, пока еще легкий и бодрящий, снегопад осени 1925 года.

Между тем молодые командиры, чья внешность навела двух джентльменов из пролога, которые, очевидно, больше и не появятся в пространстве романа, на столь серьезные размышления, все еще продолжали беседовать у подъезда аптеки Феррейна.

Комбриг Никита Градов и комполка Вадим Вуйнович были ровесниками и к моменту начала повествования достигли двадцати пяти лет, имея за плечами несметное число диких побоищ Гражданской войны, то есть они были по тогдашним меркам вполне зрелыми мужчинами.

Градов служил в штабе командующего Западным военным округом командарма Тухачевского, Вуйнович занимал должность «состоящего для особо важных поручений при Реввоенсовете», то есть был одним из главных адъютантов наркомвоенмора Фрунзе. Друзья не виделись несколько месяцев. Градов, коренной москвич, по долгу службы обитал в Минске, тогда как уралец Вуйнович после назначения в Реввоенсовет заделался настоящим столичным жителем. Эта превратность судьбы немало его забавляла и давала повод посмеяться над Никитой. Прогуливаясь с другом по Москве, он подмечал театральные афиши и как бы мимоходом заводил разговор о премьерах, а потом как бы спохватывался: «Ах да, у вас в Минске об этом еще не слышали, эх, провинция...» — и далее в этом духе, словом, вполне добродушный и даже любовный эпатаж.

Впрочем, о театрах эти молодые люди в буденновках говорили мало: разговор их то и дело уходил к бо-

лее серьезным темам; это были серьезные молодые люди в чинах, каких в старой армии нельзя было достичь, не преодолев сорокалетнего рубежа.

Никита прибыл в Москву вместе со своим главкомом для участия в совещании по проведению военной реформы. Совещание предполагалось в Кремле, в обстановке секретности, ибо в нем должен был принять участие чуть ли не полный состав Политбюро РКП(б). Секретностью уже тогда все они были одержимы. «Партия по привычке продолжает работать в подполье», — повторяли в Москве шутку главного большевистского остряка Карла Радека. Дело несколько осложнялось тем, что шеф комполка Вуйновича, председатель Революционного Военного Совета, народный комиссар по военным и морским делам Михаил Васильевич Фрунзе вот уже более двух недель находился в больнице с обострением язвы двенадцатиперстной кишки. ЦК, побратски заботясь о здоровье любимца всех трудящихся, легендарного командарма, сокрушителя Колчака и Врангеля, предлагал провести совещание в его отсутствие и поручить доклад первому заместителю председателя РВС Уншлихту, однако Фрунзе категорически настаивал на своем участии, да и вообще на несерьезности своего недуга. Это и было главной темой разговора между двумя молодыми командирами у порога аптеки Феррейна, где они поджидали Веронику, жену комбрига Градова.

— Нарком просто бесится, когда ему говорят об этой проклятой язве, — сказал Вуйнович, широкоплечий человек южнославянского типа, с щедрой растительностью в виде черных бровей и усов, не обделенный и яркостью глаз. Выросший в заводском городке на Урале, он прошел со своим эскадром до южного берега Крыма и тут, среди скал, пенных волн, кипарисов и виноградников, понял, где лежит его истинная родина.

Романтического соблазна ради мы должны были бы сделать Никиту Градова противоположностью его

друга, то есть отнести его к северным широтам, к некой русской готике, если таковая когда-либо существовала в природе, и мы были бы рады это сделать, чтобы добавить в скифско-македонский колорит еще и варяжскую струю, однако справедливости ради мы преодолеваем соблазн и не можем не указать на то, что и Никита, хотя бы наполовину, соотносился со средиземноморской «колыбелью человечества»: его мать, Мэри Вахтанговна, была из грузинского рода Гудиашивили. Впрочем, в наружности его не было ничего грузинского, если не считать некоторой рыжеватости и носатости, что можно с равным успехом отнести и к славянам, и к варягам, и по крайней мере с не меньшим успехом к не вовлеченным еще в мировую революцию ирландцам.

— Послушай, Вадя, а что говорят врачи? — спросил Никита.

Вуйнович усмехнулся:

— Врачи говорят об этом меньше, чем члены Политбюро. Последняя консультация в Солдатёнковской больнице пришла к заключению, что можно обойтись медикаментами и диетой, однако вожди настаивают на операции. Ты знаешь Михаила Васильевича, он на пулеметы пойдет — не моргнет, но от ножа хирурга приходит в полное уныние.

Никита отогнул полу своей длинной шинели и достал из кармана ярко-синих галифе луковичу золотых часов, награду командования после завершения мартовской кронштадтской операции 1921 года. Вероника пропадает в дебрях аптеки уже сорок минут.

— Знаешь, — проговорил он, все еще глядя на дорогу, тяжеленькую великолепную вещь, лежащую на ладони, — мне иногда кажется, что далеко не всем вождям нравятся слишком бодрые командармы.

Вуйнович затянулся длинной папиросой «Северная Пальмира», потом отшвырнул ее в сторону.

— Особенно усердствует Сталин, — резко заговорил он. — Партия, видите ли, не может себе позволить

болезни командарма Фрунзе. Может быть, Ильич был не прав, а, Никита? Может быть, «этот повар» не собирается готовить «слишком острые блюда»? Или как раз наоборот, собирается, а потому так свирепо настроен против диеты и за нож?!

Градов положил руку на плечо разволновавшегося друга — «спокойно, спокойно», — выразительно посмотрел по сторонам...

В этот момент из аптеки наконец выпорхнула Вероника, красotka в котиковой шубке, сигналившая вспышками голубых глаз, будто приближающаяся яхта низвергнутого монарха. Пошутила очень некстати:

— Товарищи командиры, что за лица? Готовится военный переворот?

Вуйнович взял у нее из рук довольно тяжелую сумку — чем это можно обзавестись в аптеке таким увесистым? — и они пошли по Театральному проезду, вниз, мимо памятника Первопечатнику в сторону «Метрополя».

Всякий раз, когда Вуйнович видел жену своего друга, он делал усилие, чтобы избавиться от мгновенных и сильных эротических импульсов. Едва лишь она появлялась, все превращалось в притворство. Правдивыми его отношения с этой женщиной могли быть только в постели или даже... Холодея от стыда и тоски, он осознал, что готов был сделать с Вероникой примерно то, что однажды сделал с одной барынькой в захваченном эшелоне белых, то есть повернуть ее спиной к себе, толкнуть, согнуть, задрать все вверх. Больше того, именно эта конфигурация вспыхивала перед ним всякий раз, когда он видел Веронику.

Хамские импульсы, бичевал он себя, гнусное наследие Гражданской войны, позор для образованного командира регулярной армии красной державы. Никита — мой друг, и Вероника — мой друг, и я... их замечательный друг-притвора.

Возле «Метрополя» расстались. У Вуйновича в этом здании прямо под врубелевской мозаикой «Принцесса

Грэн» была холостяцкая комната. Градовы поспешили на трамвай, им предстоял долгий путь с тремя пересадками до Серебряного Бора.

Пока тряслись по Тверской в битком набитом вагоне с противными запахами и взглядами, Никита молчал.

— Ну, что опять с тобой? — шепнула Вероника.

— Ты кокетничаешь с Вадимом, — пробормотал комбриг. — Я чувствую это. Ты сама, может быть, не понимаешь, но кокетничаешь.

Вероника рассмеялась. Кто-то посмотрел на нее с удовольствием. Смеющаяся в трамвае красавица. Возврат к нормальной жизни. Суровая бабка в негодовании зажевала губами.

— Дурачок, — нежно шепнула Вероника.

С прозрачных зеленеющих и розовеющих небес летел редкий белый пух, легкий морозец как будто обещал гимназические конькобежные радости. Они проехали ветхий развал Хорошево, потом трамвай, уже полупустой, побежал к концу маршрута, к кругу Серебряного Бора. Вековые сосны парка, подернутое первой морозной пленкой озеро Бездонка, заборы и дачи, в которых уже зажигались огни и протапливались печи, — неожиданная идиллия после суматошной и, как всегда, отчасти бессмысленной Москвы.

От круга нужно было еще пройти с полверсты пешком до родительского дома.

— Что у тебя такое тяжелое в сумке? — спросил Никита.

— Накупила тебе брону на целый месяц, — бодренько ответила Вероника и искоса посмотрела на мужа.

Страдание, как всегда, сделало смешным его веснушчатое лицо. Он смотрел себе под ноги.

— К черту твой бром, — пробормотал он.

— Перестань, Никита! — рассердилась она. — Ты уже две недели не спишь после командировки. Этот Кронштадт тебя окончательно измотал!

Октябрьская командировка в морскую крепость выглядела обычной деловой поездкой высшего командира — спецвагон до Ленинграда, оттуда рейдовым катером к причалам Усть-Рогатки. В гавани, на берегу и в городе царили полный порядок, мерная морская налаженность всех служб. Чеканя шаг, в баню и из бани, проходили взводы чернобушлатников. Иные хором пели «Лизавету». На линкорах отрабатывали приемы сигнализации. Пеликанами сновали над бухтой новомодные гидропланы. Куски времени отмерялись для всех присутствующих четкими ударами склянок. Чистый морской, как бы английский и, уж во всяком случае, очень отвлеченный от российской действительности мир.

Ничто и никто не напоминает о событиях четырехлетней давности. Только один раз, поднимаясь на форт «Тотлебен», он услышал за спиной спокойный голос:

— Я вижу, товарищ комбриг, путь вам хорошо знаком.

Он резко обернулся и увидел глаза старшего артиллериста. «Вы... вы здесь были?.. Тогда? Возможно ли?..» Позднее Никита мучился, осознав, что за этим недоумением читалось другое: «Почему же не расстреляны?»

— Я был в отпуске, — просто сказал артиллерист, не выражая решительно никаких эмоций.

— А я штурмовал ваш форт! Поэтому и путь знаю! — не без вызова приподнял голос Никита, хотя и понимал, что вызов вроде направлен не по адресу, что уж если не расстрелян артиллерист, значит, облечен доверием, иначе бы непременно разделил судьбу тех, кто отвечал перед народом и революцией за тот яростный антибольшевистский взрыв марта 1921 года.

Очевидно, все-таки не совсем не по адресу была направлена фраза, если судить по тому, как артиллерист отвел глаза и молча сделал приглашающий жест вверх по трапу — прошу, мол, осчастливьте!..

Весь день Никита занимался проверкой установки новых обуховских орудий на фортах «Тотлебен» и «Петр I», вместе с представителями завода и командо-

вания Балтфлота вникал в документацию и устные пояснения артиллеристов и только к вечеру, сославшись на усталость, оказался один и ушел пешком в город.

Кажется, он уже отдавал себе отчет, что его тянет туда, на Якорную площадь, в центр тогдашних событий.

С приморского бульвара он обозревал внешний рейд и там серые силуэты двух гигантов, вроде бы тех самых; как ни старайся, из этих пушек и труб уже никогда не выбьешь память о ярости линкоров.

Свежестью и полной промытостью веяло от сентябрьского вечера, от щедрой воды вокруг, от бороздящих рейд мелких плаведилиц и от подмигивающих сигналами гигантов.

В те дни все это пространство было белым, застывшим будто бы навеки и зловещим. Линкоры стояли борт к борту у стенки, покрытые льдом до самых верхних надстроек, со свалывшимся, прокопченным снегом на палубах. Никита ловил себя на том, что даже у него, лазутчика, появляется враждебное чувство к замерзшей «Маркизовой луже», как называли Финский залив во-енморы. По льду на крепость шли бесконечные цепи карателей в белых халатах.

Четыре с половиной года спустя, стоя у памятника Петру Великому и глядя на оживленное полноводье, комбриг РККА Градов поймал себя на другой мысли: начнись тогда мятеж на месяц позже, с ним бы не совладать. Освободившись из ледового капкана, линкоры по чистой воде подошли бы к Ораниенбауму и прямой наводкой пресекли бы все попытки концентрации правительственных сил. К «Петропавловску» и «Севастополю», безусловно, присоединились бы два других гиганта, в марте еще торчавшие в устье Невы, — «Гангут» и «Полтава», а за ними и другие корабли Балтики. Трудно было бы поручиться даже за легендарную «Аврору», ведь и весь Кронштадт еще за неделю до мятежа считался оплотом и гордостью революции.

Непобедимость восставшего Балтфлота почти наверняка подожгла бы бикфордов шнур и вызвала бы серию взрывов по всей стране. Тамбовщина и так уже пылала. Недаром Ленин считал, что Кронштадт опаснее Деникина, Колчака и Врангеля, вместе взятых. Чистая вода принесла бы гибель большевистской республике.

Нас спас лед. Исторически детерминированные события и неуправляемые физические процессы природы находятся в странной, да что там говорить, просто в возмутительной зависимости. Лед оказался нашим главным союзником и при штурме Крыма, и при подавлении Кронштадта. Не следует ли соорудить памятник льду? Экая чушь, законы классовой борьбы, выстроенные на базисе льда, на замедлении бега каких-то жалких молекул!

Однако вовсе не эти парадоксы были главной мукой комбрига Градова. Дело было в том, что он в какие-то определенные или неопределенные моменты жизни вдруг начинал видеть в себе предателя и едва ли не душителя свободы. Казалось бы, геройская миссия была возложена на пылкого двадцатилетнего революционера, в любую минуту не пожалевшего бы жизни за Красную республику, и по-геройски эта миссия была выполнена, и все-таки...

Он медленно шел вдоль желтого с белыми колоннами здания Морского собрания, прикладывая руку к козырьку, расходясь с военморами, и даже улыбался в ответ на взгляды женщин — Кронштадт всегда славился женами плавсостава, — и вспоминал, как в мартовскую пургу, во мраке, оставив на льду белый халат, сшитый из двух простынь, он поднялся на причал, перебежал бульвар и пошел вдоль этого здания, фальшивый моряк, братишечка что надо, даже свежая наколочка была сделана на груди: «Бронепосзд «Красный партизан».

Дюжина сверхсекретных лазутчиков была отобра- на самим командармом Тухачевским из числа самых

безответных. К моменту решительного штурма, действуя в одиночку, они должны были выводить из строя орудия и открывать ворота фортов. Дорог был каждый час, над заливом уже начинали гулять влажные западные ветры.

В ту ночь он беспрепятственно дошел до явочной квартиры, а утром... вот утром-то и начались его муки.

Он проснулся от звуков оркестра. По залитой солнцем улице к Якорной площади маршировала колонна моряков; веселые ряшки. Над ними в ярчайшем голубом послештормовом небе рябил наспех сделанный транспарант, вполне отчетливо предлагавший сокрушительный мартовский лозунг:

«ДОЛОЙ КОМИССАРОДЕРЖАВИЕ!»

Знаки восстания были повсюду. Первое, что увидел Никита, когда вышел на улицу, имея в котомке два маузера, четыре гранаты и фальшивый мандат Севастопольского флоткома, были расклеенные на стене листки «Известий Кронштадтского совета» с призывами ревкома, информацией об отражении атак и о выдаче продовольствия, а также с издевательскими частушками в адрес вождей.

...Приезжает сам Калинин,
Язычище мягок, длинен,
Он малиновкою пел,
Но успеха не имел.
Опасаясь грозных кар,
Удирает комиссар!
Беспокоен и угрюм
Троцкий шлет ультиматум:
«Прекратите беспорядок,
А не то, как куропаток,
Собрав верную мне рать,
Прикажу перестрелять!..»
Но ребята смелы, стойки,
Комитет избрали, тройки,
Нога на ногу сидят
И палят себе, палят!..

Эти «ребята» отрядами, поодиночке, толпами продолжали стекаться на Якорную, формируя у подножия Морского собора и вокруг памятника адмиралу Макарову огромную толпу черных бескозырок и голубых воротников. Редкими вкраплениями в балтийскую униформу выделялись солдатские шинели и овчинные полушубки. Сновали мальчишки, иной раз мелькали и возбужденные лица женщин. Все вместе это называлось «Кронштадтская команда».

Играло несколько оркестров. Они перекрывали постоянно возобновляющуюся канонаду с залива. Что касается большевистских аэропланов, то в общем гаме, пороховом и медном громе их моторы были вообще не слышны, а сами они казались каким-то ярмарочным аттракционом, хоть и слетали с них порой смертоносные пакеты и листовки с угрозами «красного фельдмаршала» Троцкого.

Настроение было праздничным. Никита не верил своим глазам. Вместо зловещих ожесточенных заговорщиков, ведомых вылезшими из подполья белогвардейцами, он видел перед собой что-то вроде народного гульбища, многие тысячи, охваченные вдохновением.

Странное место. Византийская громада собора, монумент человеку в простом пальто. «Амурские волны» и взрывы. Игрушечные аппараты в небе, окруженные ватными клочками шрапнельного огня. Фаталистическая игра или — вспомни отца Иоанна! — новая собранность, исповедь бунта?

С трибуны долетали крики ораторов:

— ...Товарищи, мы обратились по радио ко всему миру!..

— ...Большевики врут про французское золото!..

— ...Советы без извергов!..

Едва ли не каждая фраза покрывалась громовым «ура».

— ...Слово имеет предревкома товарищ Петриченко!..

Из черных шинелей на трибуне выдвинулась грудь, оогянутая полосатой тельняшкой. Простуды не боится. Из маузера отсюда не достанешь. Может быть, кто-то из наших, из одиннадцати, сейчас целится?

— Товарищи, ставлю на голосование вторую революцию линкоров! Ультиматум Троцкого отклонить! Сражаться до победы!..

Потрясенный Никита смотрел вокруг на ревущие сдиным духом глотки. Победа! Победа! Потом спохватился, стал и сам размахивать шапкой и кричать: «Победа». Кто-то хлопнул его по спине. Усатый бывалый военмор с удовольствием заглянул в его молодое лицо.

— Поднимем Россию, браток?!

«Ура», — еще пуще завопил Никита и вдруг похолодел, почувствовав, что кричит искренне, что втянут в воронку массового энтузиазма, что именно здесь вдруг впервые нашел то, что так смутно искал все эти годы со штурма «Метрополя» в 1917 году, когда семнадцатилетним мальчиком присоединился к отряду Фрунзе, — порыв и приобщение к порыву.

Да ведь предатели же, мерзавцы, под угрозу поставили саму Революцию ради своего флотского высокомерия, избалованности, анархизма, всего этого махновского «Эх, яблочко, кудыт-ты котисся!»! Какие еще могут быть порывы и сантименты в отношении этого сброда?!

Открылись двери собора, на паперть вышел священник с крестом, стали выносить гробы с погибшими при отражении вчерашнего штурма. Оркестры заиграли «Марсельезу». Моряки обнажили головы. Лазутчик Градов тоже снял шапку. Момент всеобщей скорби, мороз по коже, дрожь всех мышц — вот, очевидно, предел всей этой вакханалии, четыре года злодейств во имя борьбы со злодейством, набухание слезных желез... Да ведь это вокруг тебя Новгородское вече, свободная Русь, и ты ударишь им в спину!..

...После того как все было кончено, Никита, в числе трех уцелевших из дюжины отряда особого назначе-

ния, был награжден золотыми часами швейцарской фирмы «Лонжин». Затем его госпитализировали. Несколько дней он метался в бреду и беспамятстве, лишь на мгновения выныривая к обледенелым веточкам и снегирям за окном Ораниенбаумского дворца.

Никто никогда не говорил ему ни о характере, ни о подробностях той горячки. Он просто выздоровел и вернулся в строй. Кронштадтской темы предпочитали не касаться в военных и партийных кругах, хотя и ходили смутные слухи, что у самого Ленина на этой почве разыгралась форменная истерика. Якобы визжал и хохотал вождь: «Рабочих расстреливали, товарищи! Рабочих и крестьян!»

Никто, разумеется, не говорил в «кругах» и о том, что именно Кронштадт вывел страну из сыпняка военного коммунизма, повернул ее к нэпу — отогреться. Не случись эта страшная передряга, не отказались бы вожди «всерьез и надолго» от своих теорий.

Вероника, дочь известного московского адвоката, была женой Никиты уже третий год, и, конечно же, она знала немало об этой тайной ране своего мужа, хотя и понимала, что знает не все. В последние две недели, после командировки, она стала серьезно опасаться за состояние его нервов. Он почти не спал, ходил по ночам, без остановки курил, а когда отключался в каком-то подобии сна, начинал бормотать заумь, из которой иногда выплывали, будто призраки, фразы, выкрики и печатные строчки кронштадтской вольницы.

«...от Завгородина — двухдневный паек хлеба и пачка махорки; от Иванова, кочегара «Севастополя», — шинель; от сотрудницы Ревкома Циммерман — папиросы, от Путилина, портово-химическая лаборатория, — одна пара сапог...»

«...Полное доверие командиру батареи товарищу Грибанову!..»

«...Куполов, ебена мать, Куполова-лекаря не видали, братцы?..»

«...команда пришла в задумчивость, нужна литература для обмена с курсантами...»

«...Подымайся, люд крестьянский!

Всходит новая заря —

Сбросим Троцкого оковы,

Сбросим Ленина-царя...»

«...Ко всем трудящимся России, ко всем трудящимся России...»

Однажды она, набравшись смелости, спросила его, не стоит ли ему выйти из армии и поступить в университет, на медицинский факультет, по стопам отца, ведь ему всего двадцать пять, к тридцати годам он будет настоящим врачом... Как ни странно, он не накричал на нее, а только лишь задумчиво покачал головой — поздно, Ника, поздно... Похоже, что он вовсе не возраст имел в виду.

Наконец они подошли к калитке дачи, на которой, как в старые времена, только без ятей, красовалась медная таблица с гравировкой «Доктор Б.Н.Градов». За калиткой мощенная кирпичом дорожка, описывая между сосен латинскую «S», подходила к крыльцу, к добротнo обитым клеенкой дверям, к большому двухэтажному дому с мансардой, террасой и флигелем.

Переступая порог этого дома, всякий подумал бы: вот остров здравого смысла, порядочности, суший оплот светлых сил российской интеллигенции. Градов-старший, Борис Никитич, профессор Первого медицинского института и старший консультант Солдатёнковской больницы, считался одним из лучших хирургов Москвы. С такими специалистами даже творцы истории вынуждены были считаться. Партия знала, что, хотя се вожди сравнительно молоды, здоровье многих из них подорвано подпольной работой, арестами, ссылками, ранениями, а потому светилам медицины всегда выказывалось особое уважение. Даже и в годы военного коммунизма среди частично разобранных на дрова дач Серебряного Бора градовский дом всегда поддер-

живал свой очаг и свет в окнах, ну а теперь-то, среди нэповского процветания, все вообще как бы вернулось на круги своя, к «допещерному», как выражался друг дома Леонид Валентинович Пулково, периода истории. Постоянно, например, звучал рояль. Хозяйка, Мэри Вахтанговна, когда-то кончавшая консерваторию по классу фортепиано («увы, моими главными концертами оказались Никитка, Кирилка и Нинка»), не упускала ни единой возможности погрузиться в музыку. «Шопеном Мэри отгоняет леших», — шутил профессор.

Разгуливал по коврам огромный и благожелательнейший немецкий овчар Пифагор. Из библиотеки обычно доносились мужские голоса — вековечный «спор славян». Няня, сыгравшая весьма немалую роль в трех «главных концертах» Мэри Вахтанговны, проходила по комнатам со стопками чистого белья или рассчитывалась в прихожей за принесенные на дом молоко и сметану.

Никита повесил на оленьи рога шубку Вероники и свою шинель, что весила, пожалуй, в пять раз тяжелее собрания котиков. Он постарался тихо, чтобы не сорвать Шопена, пройти за женой на мансарду, однако мать услышала и крикнула своим на редкость молодым голосом:

— Никитушка, Никушка, учтите, сегодня за ужином полный сбор!

На мансарде, из окна которой видна была излучина Москвы-реки и купола в Хорошеве и на Соколе, он стал раздевать жену. Он целовал ее плечи, нежность и сладостная тяга, казалось, вытесняли мрак Кронштадта. Как все-таки замечательно, что женщины снова могут покупать шелковое белье. Что ж, может быть, Вуйнович прав, говоря, что в подавлении «братвы» начала возрождаться российская государственность?

ГЛАВА II

Кремль и окрестности



Вокруг Кремля всегда вилось не меньше шепотков и кривотолков, чем ласточек вокруг его башен в погожий летний день. Что уж и говорить про нынешние времена, когда в крепости восьмой год сидят вожди мирового пролетариата. Парадоксы на каждом шагу. Взять хотя бы ту же Спасскую башню. Хоть она и носит еще имя Спаса, но стала уже символом чего-то другого. Двуглавый орел еще венчает ее шатер, но куранты в полдень вызванивают «Интернационал», а в полночь — «Вы жертвою пали».

В городе ходит молва, что под Кремлем с неизвестными целями расширяется паутина тайников-колодцев и подземных ходов-слухов. Странные рассказы циркулируют о жизни семейств Каменских и Сталиных, о придворном большевистском пиите, поселившемся дверь в дверь с вождями в здании бывшего Арсенала, — Демьяне Бедном, которого, каламбуя вокруг его настоящей фамилии, столичные литераторы называют Демьян Лакеевич Придворов.

Странности и жути еще прибавилось, когда главного обитателя после его кончины забальзамировали и вынесли за крепостную стену в хрустальном гробу всем на обозрение. Что за извывы воображения и как их совместить с

материалистической философией, с тем же Энгельсом, что завещал свой прах развеять над океаном?

Великие соборы Кремля закрыты, но купола их и кресты все еще пылают, стоит лишь солнышку пробиться сквозь среднерусскую хмарь, переливаются в соседстве с множественными красными струями новых знамен и паучковыми символами перекрещенных орудий труда.

Гордая итальянская крепость на вершине Боровицкого холма, трижды сожженная с интервалами в двести лет ханом Тохтамышем, гетманом Гонсевским и императором Наполеоном и снова поднявшая свои шатры и «ласточкины хвосты» стен, что тебя ждет в непредсказуемом мире?

Три «роллс-ройса» наркомата обороны поначалу пересекли Красную площадь как бы по направлению к воротам Спасской башни, однако неожиданно проехали мимо, спустились к Москве-реке, обогнули крепость с южной и западной сторон и вкатились внутрь через предмостную пузатую Кутафью башню. Такая тактика внезапных изменений маршрута была недавно разработана для предотвращения терактов. Тактика, прямо скажем, немудреная, постронная на вековечном «береженого Бог бережет», однако и в самом деле, окажись где-то у Спасских ворот засада (все-таки ведь немало же еще и за границей и дома вполне боеспособных антисоветчиков), Рабоче-Крестьянская Красная Армия была бы одним ударом обезглавлена. В первой машине следовал нарком Фрунзе, во второй — главком-запад Тухачевский, в третьей — главком-восток, кавалер ордена КрасногЗнамени № 1 Василий Блюхер.

Фрунзе был мрачен. Фактически он направлялся на совещание вопреки решению Политбюро. Именно это обстоятельство, а не болезнь сама по себе, угнетало его. Проклятая язва-то как раз в последнее время меньше давала о себе знать. Лечащие врачи обнадеживали — анализы показывают, что не исключен процесс рубце-

вания, то есть своего рода самозаживания. Однако вот эта тягостная и все нарастающая забота товарищей... конечно, можно понять многих из них, прошлогодняя трагедия, кончина Ильича, так потрясла партию, однако нет ли здесь перестраховки и... если называть вещи своими именами, не ведут ли некоторые какой-то странной двойной игры?..

Фрунзе не любил повышать голос (пуще всего боялся превратиться из красного командира, сознательного революционера в старорежимного деспота и солдафона). Но он очень здорово умел прибавлять к голосу нечто такое, что сразу давало понять окружающим — возражения излишни. Вот именно с этими модуляциями он приказал сегодня утром подать в палату полный комплект одежды и, одевшись, немедленно отправился в наркомат, а оттуда в Кремль.

По дороге, в машине, он ни с кем не разговаривал, даже на верного Вуйновича старался не смотреть. Странные все-таки складываются нравы среди руководства. Взять отдельно некоторых людей; по мере удаления от горячки Гражданской войны, то есть по мере взросления, если еще не старения, сколько выявляется малопривлекательных качеств: вздорность Зиновьева, зловеющая непроницаемость Сталина, наплевизм Бухарина, никчемность Клима, сутяжничество Уншлихта — каждому по отдельности ты знаешь цену, но, собранные вместе, они превращаются в высшее понятие — «воля Партии». Парадокс в том, что без этого мы не можем, Ленин это понимал, мы развалимся без этого мистицизма.

Мысль о том, что ему пришлось сегодня переступить через «высшее понятие», пусть в интересах дела, в интересах самой республики, но совершить самоуправство, не давала покоя Фрунзе. У него, что называется, сосало под ложечкой, а когда «роллс-ройс» стал покачиваться на торцах Красной площади, показалось даже, что эта легкая качка отдается в животе. Он приложил перчатку ко лбу.

Курсанты школы ВЦИКа, несущие внутреннюю службу в правительственных помещениях, стояли по стойке «смирно». На их лицах, где по идее не должно было быть написано ничего, читалось преклонение. Три легендарных командарма в сопровождении своих чуть приотставших помощников (по-старому адъютантов) проходили по лестницам и коридорам Кремлевского дворца; это ли не запоминающееся на всю жизнь событие? Шаги их были крепки, и все они представляли идеал мужества и молодой зрелости. И впрямь: старшему, Фрунзе, было к тому моменту всего лишь сорок, Блюхеру — тридцать пять, а Тухачевскому — тридцать два года. Существовала ли когда-нибудь на Земле другая армия с таким молодым и в то же время преисполненным колоссальным боевым опытом командным составом?

Последняя пара курсантов, несущая караул у святая святых, открыла двери. Командармы вошли в зал заседаний — большие окна, лепной потолок, хрустальная люстра, огромный овальный стол. Иные участники заседания еще прогуливались по упругому ковру бухарской работы, обменивались шутками, другие уже сидели за столом, углубившись в бумаги. Все они были, что называется, мужчины в полном соку, если пятидесяти, то с небольшим, все в хорошем настроении: дела у республики шли как нельзя лучше. Одетые либо в добротные деловые тройки, либо в полувоенную партийную униформу (френч с большими карманами, галифе, сапоги), они обращались друг к другу в духе давно установившегося в партии чуть грубоватого, но как бы любовного и мягко-иронического товарищества.

Посторонний внимательный наблюдатель, вроде промелькнувшего в нашем прологе профессора Устрялова, может быть, и заметил бы уже начинавшееся расслоение и появление того, что впоследствии было названо «партийной этикой», согласно которой кто-то кого-то мог назвать «Николаем» или «Григорием», а другой обязан был подчеркивать свое расстояние

от всемогущего бонзы, употребляя отчество или даже официальное «товарищ имярек», однако нам пока что соблазнительно подчеркнуть, что все на «ты» и все свои.

«Сменовеховцы», а они, как все русские интеллигенты, любили подстегивать факты к сочиненным загодя теориям, постарались бы, очевидно, отыскать в этой группе вождей приметы своей излюбленной «ауры власти», и они, вероятно, легко обнаружили бы эти приметы в таких, скажем, пустяках, как некоторое прибавление телес, добротности одежд и непринужденности движений, запечатленная государственность в складках лиц; мы же, со своей стороны, можем все эти приметы отнести и к другим причинам, менее метафизического толка, а по поводу складок на лицах можем, хоть и не без содрогания, подвесить вопросец такого толка: не ползут ли по ним проказой совсем еще недавние неограниченные насилие и жестокость?

Когда военные вошли в зал, все к ним обернулись. «Как, Михаил, это ты?! Вот так сюрприз!» — с дешевой театральностью воскликнул Ворошилов, хотя всем давно уже было известно, что Фрунзе уехал из госпиталя и направляется в Кремль. Несколько человек переглянулись; фальшивый возглас Клима как бы подчеркнул страннейшую и в некоторой степени как бы непоправимую двусмысленность, накапливающуюся вокруг наркомвоенмора. Председатель СНК Рыков предложил занять места. Рассаживаясь, члены Политбюро и приглашенные продолжали обмениваться репликами и заглядывать в бумаги, всячески стараясь подчеркнуть, что основное их внимание приковано не к Фрунзе, то есть не к нему персонально, не к нему как к больному человеку. Те, кто пожал ему руку при входе, старались не придавать значения своему наблюдению, что рука при обычной ее крепости была чрезвычайно влажна, а те, кто как бы случайно касался взглядом лица командарма, отгоняли мысль, что ищут в нем признаки ишемии.

Между тем с Фрунзе под всеми этими взглядами и в самом деле творилось что-то неладное. Боясь оскандалиться, он попытался под прикрытием папки с бумагами достать из кармана и проглотить очередную таблетку, но отказался от этой мысли и, повернувшись к Шкирятову, спросил:

— Где же Сталин?

Шкирятов — Бог шельму и именем метит — весь подался вперед, весь к Фрунзе, глаза его будто пытались влезть поглубже в командарма, на широком лице отразилась исключительная фальшь, что сделало еще заметней его природную асимметрию.

— Товарищ Сталин просил его извинить. Он как раз заканчивает прием кантонской делегации.

Фрунзе почувствовал боль, напомнившую ему сентябрьский приступ в Крыму. Боль была незначительная, но страх, что за ней последует другая, более сильная, и что он оскандалится перед Политбюро, больше того — тут вдруг впервые как бы выкристаллизовалось, — даст увезти себя «под нож», этот страх будто выбил пол у него из-под ног; геометричность мира стремительно расплывалась. Он еще попытался ухватиться за политически мотивированное недоумение.

— Странно. Кажется, Уншлихт уже обсудил все вопросы с генералиссимусом Ху Хань Минем...

Шкирятов быстро подвинул ему стакан воды:

— Что с тобой, Михаил Васильевич?

Фрунзе уже не заметил знака, поданного Рыковым другим участникам совещания: дескать, оставьте его в покое; не очень отчетливо он осознал, что по заранее утвержденной повестке дня первым стал говорить Тухачевский.

На повестке дня было детище Фрунзе — военная реформа, то, чем он гордился больше, чем штурмом Перекопа. Согласно этой реформе РККА хоть и сокращалась на 560 тысяч войск, но становилась дважды мощнее и трижды профессиональнее. Вводилось смешанное кадровое и территориальное управление, принимался

закон об обязательной военной службе, а также устанавливалось долгожданное единоначалие, то есть отодвигались в сторону политкомиссары, эти постоянные источники демагогии и неразберихи. Военная реформа окончательно устранила партизанщину, закладывала основу несокрушимости боевых сил СССР.

Голова Фрунзе упала на стол, произведя странный неодоушевленный звук, заставивший вздрогнуть весь могущественный совет. Он тут же встал и попытался выйти, однако на полпути к дверям, прижав платок ко рту, закачался. Платок окрасился кровью, и наркомвоенмор осел на ковер.

Курсанты охраны, явно еще не вполне обученные, как поступать в таких обстоятельствах, заметались по залу, кто к телу, кто к окну, кто к телефону, но тут же, то есть почти немедленно, появился отряд санитаров с носилками. Трудно сказать, были ли эти носилки составной частью «медицинского обеспечения» заседаний Политбюро, или их туда доставили специально к этому дню.

В создавшейся панике даже и посторонний внимательный наблюдатель мог бы растеряться и не заметить более чем странных взглядов, которыми обменивались некоторые участники совещания. Впрочем, его бы вскоре привел в себя трагический возглас Ворошилова:

— Крым не помог Михаилу!

Тогда среди возникшего вокруг лежащего тела глубоко сценического движения (любой двор, особенно в период междуцарствия, напоминает театр, и Кремль не был исключением) наблюдатель услышал бы ядовитый шепоток Зиновьева:

— Зато он помог Иосифу...

Трудно сказать, услышали ли эту фразу все присутствующие, несомненно, однако, что до самого Сталина она дошла. Он появился незаметно, выйдя из маленькой, сливающейся со стеной дверцы, и беззвучно прошел через зал в своих мягких кавказских сапожках. Обойдя вокруг стола и особенным образом обогнув

Зиновьева — у последнего в этот момент возникло ощущение, что мимо проходит кот-камышатник, — Сталин приблизился к носилкам.

В этот момент Фрунзе делали инъекцию камфоры. Он очнулся от обморока и тихо простонал: «Это нервы, нервы...» Носилки подняли. Сталин на прощание притронулся ладонью к плечу наркома.

— Нужно привлечь лучших медиков, — произнес Сталин. — Бурденко, Рагозина, Градова... Партия не может себе позволить потерю такого сына.

Лев прав, думал Зиновьев, этот человек произносит только те фразы, которые хотя бы на миллиметр поднимают его выше нас всех.

Сталин прошел к столу и сел на свое место, и это место, одно из многих, почему-то вдруг оказалось центром овального стола. То ли, опять же по законам драмы, как на появившегося в поворотный момент, то ли по другим причинам, однако именно на Сталина смотрели оцепеневшие члены Политбюро и правительства. Было очевидно, что при всех двусмысленных толках вокруг болезни Фрунзе крушение могучего полководца внесло под своды Кремля мотив рока и мглы; как будто валькирии пролетели.

Сталин минуту или две смотрел в окно на проходящие по октябрьскому небу безучастные облака, потом произнес:

— Но дерево жизни вечно зеленеет...

Товарищи с солидным стажем эмиграции вспомнили, что эту строчку из «Фауста» любил повторять и незабвенный Ильич.

— Давайте продолжим.

Мягким жестом Сталин предложил вернуться к повестке дня.

Под вечер того же дня многочисленные гости съезжались на дачу профессора Градова в Серебряном Бору. Готовился русско-грузинский пир в честь сорокапятилетия хозяйки Мэри Вахтанговны.

Из Тифлиса приехали старший брат виновницы торжества Галактион Вахтангович Гудиашвили и два племянника, сыновья сестры, Отари и Нугзар.

Никто, разумеется, не сомневался, что тамадой за праздничным столом будет Галактион. Крупный роскошный кавказец всегда полагал пиры гораздо более существенной частью жизни, чем свою работу весьма почитаемого у горы царя Давида фармацевта. Грозы революции, крушение недолговечной грузинской независимости, даже прошлогодний мятеж, свирепо подавленный чекистами Блюмкина, не отразились ни на внешности, ни на мироощущении этого «средиземноморского человека», каждое появление которого, казалось бы, обещало начало итальянской оперы или по крайней мере добрый флакон «любовного напитка».

Ну уж, конечно, не с пустыми руками прибыл в Серебряный Бор дядюшка Галактион. Для того, между прочим, и племянников взял, «бэздэлников», чтобы помогли транспортировать к праздничному столу три бочонка вина из заповедных подвалов Кларети, полдюжины копченых поросят, три оплетенных четверти душистой и свежей, как «поцелуй ребенка» («это Лермонтов, моя дорогая»), чачи, мешок смешанных орехов, мешок инжира, две корзины с отборными аджарскими мандаринами, корзину румяных груш, похожих на груди юных гречанок («без этих груш как мог я появиться пэрэд сэстрою?»), горшок сациви размером с древнюю амфору, два ведра лобно, ну, и некоторые приправы — аджика-шашмика, ткемали-шмекали; в общем, разные мелочи.

Немедленно по прибытии дядя Галактион отправился инспектировать приготовления к пиру и был весьма впечатлен запасами хозяев: тут были и водки, и коньяки, всевозможные заливные закуски, а также совсем было уж забытые, но появившиеся вновь в «угаре нэ-па» такие деликатесы, как анчоусы и сельди «залом», радующий душу развал грибочков, огурчиков и помидорчиков, сыры нескольких видов — от целомудрен-

ного форпоста Голландии до растленного рокфора, а также сам вельможный осетр. В духовке томилось, ко всеобщему удовольствию, седло барашка.

— Мэри, любимая, поздравляю сестру! Вот это нэп, милостивые государи! Лучшая новая экономическая политика — это старая экономическая политика, а лучшая политика — это к чертовой матери всякая политика! — так возгласил тифлисский Фальстаф.

Большинство собравшихся уже гостей рассмеялось, а молодой поэт Калистратов, который все интересовался, где же младшая дочка Градовых Нина, прочел из Маяковского:

Спросили раз меня:
«Вы любите ли нэп?»
«Люблю, — ответил я, —
Когда он не нелеп...»

Не все, впрочем, были в безмятежном настроении в этот вечер. Средний сын Градовых Кирилл, только весной окончивший университет историк-марксист, сердито передернул плечами при политически бестактной шутке своего дяди.

— Терпеть не могу все эти ухмылочки и рифмовочки вокруг нэпа, — сказал он Калистратову. — Им все кажется, что это наш конец, а ведь это только лишь «надолго», но не навсегда!

— На мой век, надеюсь, хватит, — вздохнул беспутный Калистратов и, не тратя времени, устремился к буфету.

Кирилл, прямой, бледный и серьезный, в убогой косоворотке, похожий на прежних фанатиков подполья, выделялся среди нарядных гостей. Если бы не боялся он обидеть мать, давно бы ушел в свою комнату и засел за книги. Чертов нэп, все «бывшие» закукарекали, эмиграция следит с придыханием, решили, что и впрямь можно повернуть историю вспять. Ну хорошо, с дяди Галактиона много не спросишь, отец вообще

живет так, будто политика не существует, типичный вариант «спеца», мама вся в своих шопенах, молится укривкой, все еще обожает символистов, «ветер принес издалека песни весенней намек», однако и наше ведь поколенье чем-то уже тронуту тлетворным, даже брат, красный комбриг, о Веронике уж и говорить нечего...

Возмущение юного пуританина можно было легко понять при взгляде на его родителей. Они не вписывались в революционную эстетику в той же степени, в какой их хлебосольный московский стол не совпадал с преЙскурантом какой-нибудь советской фабрики-кухни. Красавица Мэри в длинном шелковом платье с глубоким вырезом, с ниткой жемчуга на шее, пышные волосы подняты вверх и завязаны античным узлом. Под стать ей и сам профессор, пятидесятилетний Борис Никитич Градов, совсем не отяжелевший еще мужчина в хорошо сшитом и ловко сидящем костюме и с аккуратно подстриженной бородкой, которая, хоть и не вполне гармонировала с современным галстуком, была, однако, необходима для продолжения галереи великих российских врачей. В праздничный вечер оба они выглядели по крайней мере на десять лет моложе своего возраста, и всем было ясно, что они полны друг к другу нежности и привязанности в лучших традициях недобитой русской интеллигенции.

Гости Градовых в основном тоже принадлежали к этому племени, ныне объявленному «прослойкой» на манер пастилы между двумя кусками ковриги. В начале вечера все они с очевидным удовольствием толпились вокруг друга дома ученого-физика Леонида Валентиновича Пулково, только что вернувшегося из научной командировки в Англию. Ну, посмотрите на Леонида, ну, сущий англичанин, ну, просто Шерлок Холмс.

Ан нет, настоящим англичанином вечера вскоре был объявлен другой гость, писатель Михаил Афанасьевич Булгаков; у того даже монокль был в глазу! Впрочем, Вероника, помогавшая свекрови принимать гостей, не раз ловила на себе не очень-то английские, то

есть не ахти какие сдержанные, взгляды знаменитого литератора.

— Послушайте, Верочка, — обратилась к ней Мэри Вахтанговна. Вот, пожалуй, только в этом обращении и проявлялись традиционные семейные банальности, трения между свекровью и невесткой: последняя всех просила называть ее Никой, а первая все как бы забывалась и звала ее Верой. — Послушай, душка... — Тоже, прямо скажем, обращеньице, из какого тифлисского салона к нам пожаловало? — Где же твой муж, моя дорогая? — Вероника пожалала великолепными плечами, да так, что Михаил Афанасьевич Булгаков просто сказал «о» и отвернулся.

— Не знаю, татап. — Ей казалось, что этим «татап» она парирует Верочку, но Мэри Вахтанговна, похоже, не замечала в таком адресе ничего особенного. — Утром он сопровождал главкома в Кремль, но должен был бы уж вернуться три часа назад...

«Хорошо бы вообще не вернулся», — подумал проходящий мимо с бокалом вина Булгаков.

— Пью за здоровье Мэри, милой Мэри моей! Тихо запер я двери и один без гостей пью за здоровье Мэри! — возгласил какой-то краснобай.

Начались стихийные тосты. Дядя Галактион стал шумно протестовать, говоря, что тостам еще не пришел черед, что произнесение тостов — это высокая культура, что русским с их варварскими наклонностями следует поучиться у более древних цивилизаций, делавших утонченные вина уже в те времена, когда скифы только лишь научились жевать дикую коноплю.

В общем, началось было шумное хаотическое веселье, именно такое состояние, которое и позволяет потом сказать «вечер удался», когда вдруг за окнами взорвалась шутиха, другая, забил барабан и слышались молодые голоса, скандирующие какую-то «синеблужную» чушь вроде: «Революции семь лет! Отрицаем мир котлет! Революция пылает, власть семьи уничтожает!» Это и были «синеблужники», последнее

увлечение младшей Градовой, восемнадцатилетней Нины.

Гости высыпали на крыльцо и на террасу, чтобы посмотреть представление маленькой группы из шести человек. «Начинаем спектакль-буфф под названием «Семейная революция!»» — объявила заводила и тут же прошлась колесом. Заводилой как раз и была Нина, унаследовавшая от матери темную густую гриву, в данный период безжалостно подрубленную на пролетарский манер, а от отца — светлые, исполненные живого позитивизма глаза и взявшая от остального мира, столь восхищавшего всю ее юную суть, такую сильную дозу юного восхищения, что она сама порой казалась не каким-то отдельным имярек существом, а просто частью этого юного восхитительного мира в ряду искрящихся за соснами звезд, стихов Пастернака и башни Третьего Интернационала. Искрометному этому существу предстоит сыграть столь существенную роль в нашем повествовании, что нам, право, не доставляет никакого удовольствия сообщение о том, что акробатическая фигура, с которой она появляется на этих страницах, завершилась довольно неудачно — падением, и даже несколько нелепым приземлением на пару ягодичек, к счастью, достаточно упругих.

Вообще весь «буфф» оказался каким-то чертовски нелесным и почти халтурным, если к этому еще не добавить его бестактность.

Здоровенная орясина, пролетарский друг профессорской дочки Семен Стройло, накинув на свою юнштурмовку какую-то несуразную лиловую мантию, а башку вбив в маловатый цилиндр, деревянным голосом зачитал:

Я профессор-ретроград,
У меня большой оклад.
На виду у всей страны
Я тиран своей жены.

Остальные участники труппы построили за его спиной довольно шаткую пирамиду и стали выкрикивать:

- По примеру Коллонтай ты жене свободу дай!
- Наша Мэри бунту рада, поднимает баррикаду!
- Обнажив черты чела, говорит: «Долой обузу!
- Я свободная пчела! Удаляюсь к профсоюзу!..»

Каждый восклицательный знак, казалось, вызывал все новые опаснейшие колебания, и гости следили не за дурацким текстом, а за столь шатким равновесием. В конце концов пирамида все-таки рухнула. Никто, к счастью, не пострадал, но возникла ужасная неловкость, возможно, даже и не от бездарности зрелища, а от подспудного ощущения фальшивости этого «бунтарства»: так или иначе, но «синие блузы» были на стороне правящей идеологии, а собравшиеся у Градовых либеральные «буржуа» всегда полагали себя в оппозиции.

— К столу, господа! К столу, товарищи! — кричал дядя Галактион.

Вдохновленные этим призывом Отари и Нугзар запели что-то грузинское и закружились в лезгинке вокруг Нины.

Провал «Семейной революции» подействовал на Нину, видимо, не менее сильно, чем на ее тезку Заречную — провал сочинения Треплева внутри сочинения Чехова. Нина, впрочем, не была еще так сильно огорчена превратностями жизни, как ее тезка, и поэтому, быстро забыв о пролетарской эстетике, нырнула к своим древним истокам, то есть встала на цыпочки и пошла мимо кузенов грузинской павой.

— Это, кажется, твое лучшее произведение, — сказал о ней ее отцу физик Пулково.

В суматохе рассаживания вокруг огромного стола два старых друга отошли к окну, за которым сквозь сосны просвечивало светлеющее над близкой Москвой небо.

— Ну, как тебе это все после Англии? — спросил Борис Никитич.

Леонид Валентинович пожал плечами:

— Я уже неделю дома, Бо, и мне уже Оксфорд кажется странностью. Как они там могут без всех этих наших... хм... ну, словом, без этого возбуждения?..

— Скажи, Леня, а тебе не хотелось остаться? Ведь ты холостяк; якорей, так сказать, у тебя здесь нет, а научные возможности там несравненно выше...

Пулково усмехнулся и хлопнул Градова по плечу:

— Вот что значит хирург, сразу находит болевую точку! Знаешь, Бо, Резерфорд предлагал мне место в своей лаборатории, но... знаешь, Бо, видимо, все-таки у меня тут есть какие-то якоря...

Увлеченные разговором, они не сразу заметили, что в гостиной произошло нечто непредвиденное, возник какой-то диссонанс в праздничной многоголосице. Два командира в полной форме вошли в дом и теперь оглядывались, не снимая шинелей; это были Никита и Вадим.

— Ба! — воскликнул наконец Пулково. — Каков Никита! Комбриг?! Немыслимо! Теперь все твои чада в сборе, Бо! Доволен ты своими ребятами?

— Как тебе сказать. — Борис Никитич уже понял, что случилось нечто важное, и теперь следил за сыном. — Ребята у нас хорошие, но... хм, как-то они, понимаешь ли, слишком увлеклись... хм... ну, другим делом... никто не продолжил семейную традицию...

Никита наконец увидел отца и пошел к нему через гостиную, деликатно освобождаясь от повисшей на левом плече сестры, мягко отодвигая трусящую с вопросами по правую руку Веронику, вежливо, но неуклонно прокладывая путь среди гостей. По пятам за ним двигался серьезный и суровый — ни одного взгляда на Веронику — Вадим Вуйнович. Тревогой веяло от этих двух фигур в форме победоносной РККА, хотя они и демонстрировали вполне безупречные манеры. Тому виной, возможно, был внесенный ими в беспечность праздника запах слишком большого пространства, смесь промозглой осени, бензина, каких-то обширных помещений, манежей ли, казарм, осенних ли госпиталей.

— Рад вас видеть, Леонид Валентинович, с приездом, с приездом, однако у меня неотложное дело к отцу.

С этими словами Никита взял под руку Бориса Никитича и уверенно, будто старший, провел его в кабинет. Вуйнович, продолжая следовать, лишь на мгновение остановился, чтобы расстегнуть крючки на воротнике шинели. Это мгновение осталось в его памяти на всю жизнь — быть может, самый жаркий миг молодости, шепот Вероники: «Что с вами, Вадим?..»

— Происходят очень важные события, отец. У наркома обострение язвы. Ему стало плохо на совещании в Кремле. Политбюро настаивает на операции. Мнения врачей разделились. Тебя просят принять участие в консилиуме. Сталин лично назвал твое имя. Возможно, твое мнение будет решающим. Прости, что так получилось, но мама, конечно, поймет. Комполка Вуйнович отвезет тебя в твою больницу и привезет обратно.

Никита говорил отрывисто, будто вытягивал бумажную ленту из телеграфного аппарата. Уже собираясь, профессор вдруг подумал о том, как все эти события ограбили его сына и его самого: исчезла, так и не появившись, ранняя молодость его первенца, все те очаровательные дурачества, что предвкушаются в семье, а потом с серьезностью, как важные мировые происшествия, обсуждаются. Из отрочества он сразу шагнул в эти проклятые события, и больше с ним нельзя уже было говорить иначе, как всерьез.

— Но ты, надеюсь, останешься с матерью?

— Да-да.

Никто из гостей — а уж тем более виновница торжества — не удивился неожиданному отъезду хозяина в сопровождении «красавца офицера». Выдающегося хирурга нередко вызывали в самые неподходящие моменты. Только шепотки поползли — кто там гикнулся наверху, но вскоре и они были вытеснены мощным ароматом жаренного со специями барашка.

— На рентгеновских снимках, господа, то есть, простите, тов... словом, уважаемые коллеги, мы, конечно, видим отчетливый «эффект ниши» в стенке дуоденум, однако есть основание предполагать, что мы здесь имеем дело с интенсивным процессом рубцевания, если не вообще с зажившей язвой. Что до кровотечений последнего времени, то они, мне кажется, были следствием поверхностных изъязвлений стенки желудка, результатом застарелого воспалительного процесса. Именно такое впечатление у меня сложилось при пальпации, а я своим пальцам, гос... простите, коллеги, верю больше, чем лучам Рентгена, — старый профессор Ланг закашлялся, не закончив фразу, а потом сердито все-таки ее закончил, сказав: — ...господа и товарищи!

Большой кабинет в административном здании Солдатёнковской больницы был полон. Председательствовал, во всяком случае сидел в центре возле рентгеновских снимков, главный врач Военного госпиталя Рагозин. Считалось, что он лучше всех знал высокопоставленного больного, так как курировал его в течение последних нескольких месяцев и сопровождал во время недавней поездки в Крым. В этом собрании, впрочем, играть главную скрипку даже и Рагозину было затруднительно: не менее дюжины светил первой величины — Греков, Мартынов, Плетнев, Бурденко, Обросов, Ланг, только что подъехал Градов, ожидался знаменитый казанский профессор Вишневский...

Присутствовали на консилиуме и несколько лиц хоть и облаченных в белые халаты, но явно не имевших к медицине прямого отношения. Лица исключительной серьезности и внимания, они сидели в углу, внимали каждому слову, но сами молчали, одним только своим присутствием давая понять, что обсуждается дело исключительной государственной важности.

«Ланг прав, — подумал Градов, принимая из рук Рагозина папку с записями врачей и результатов анализов, — здесь есть как господа, так и явные товарищи».

— Так каков же ваш вывод, Георгий Федорович? — спросил Рагозин. — Следует ли прибегнуть к радикальной операции?

Ланг почему-то заливался потом, покрывался пятнами, то и дело вынимал большой, набухший уже по краям носовой платок.

— В своей клинике, батеньки мои, я бы такие штучки лечил диетой и минеральной водичкой. Обычно больные...

— Но можем ли мы рисковать?! — вдруг оборвал его Рагозин. — Ведь это не обычный больной!

— Не прерывайте! — вдруг разозлился рыхлый Ланг и хлопнул ладонью по столу. — Для меня все больные обычные!

— Могу я осмотреть наркома? — шепотом спросил Борис Никитич доктора Очкина.

Пока они шли по коридору, за ними непрерывно следовал комполка Вуйнович. Возле дверей на лестничные клетки стояли красноармейцы. В смежной с палатой Фрунзе комнате профессор Градов заметил висящую на вешалке шинель наркомвоенмора — четыре ромба в петлицах и большая звезда на рукаве.

Между тем на даче в Серебряном Бору происходил один из парадоксов революции: крик сезона танец чарльстон восхищал буржуазный «пожилаж» и возмущал передовую молодежь.

— На хрена нам эта декадентщина, — заявил, например, Нинин друг, марьинорощинский молодчага Семен Стройло. — Эту трясучку капиталисты изобрели, чтобы рябчиков с ананасами растрясать, а пролетариату она без пользы.

— Да там как раз пролетариат-то и чарльстонит, — сказал недавний путешественник Пулково, проехавший после Оксфорда пол-Европы. — Мальчишки и девчонки из низов, да и прочие, всяк, кому не лень.

— Западная блажь, — отмахнулся Стройло здоровенной ладонью с некоторой даже вельможностью.

— А вы, друг мой, что же, «барыню» собираетесь внедрять в пролетарский быт, «камаринского»? — повернулся к спорившим вспыхнувшим моноклем Михаил Афанасьевич Булгаков, само издевательство.

— Нет, нет и нет! — горячо вступилась за друга восемнадцатилетняя Нина. — Революция создает новую эстетику, будут и новые танцы!

— Похожие на старую маршировку? — невинно спросил аспирант на кафедре ее отца Савва Китайгородский, воплощение интеллигентности и хороших манер.

— Не нужно провоцировать, — прогудел Стройло, не глядя на «спеца», но давая ясно понять именно ему, чтобы не зарывался, чтобы не очень-то пялился на Нинку, девка принадлежит победителям.

— Товарищи! Товарищи! — вскричала Нина. Ей так хотелось, чтобы все зажигались от одного огня, а не так, чтобы каждый тлел по-своему. — Ну, подумаешь, чарльстон! Такая ерунда! Ну, что нам это, с наших-то высот! Мы можем быть снисходительными! Мы можем даже танцевать его, ну, как пародию, что ли!

Рывком повернувшись — все движения обрывистые, угловатые, ЛЕФ, новая эстетика, — накрутила патефон, пустила заново пластинку, «Mamma, buy me a yellow bonnet», схватила Степу Калистратова, потащила: даешь пародию! «Пародия, пародия», — петухом загоготал поэт и с величайшей охотой стал выбрасывать ноги от коленей вбок, выказывая таким образом полную осведомленность и распахивая классный пиджак, специально для сегодняшнего вечера выкупленный из ломбарда.

Ну, и Нина тоже не отставала, с наслаждением пародируя декадентский танец, приплывший под российские хляби из Джорджии и Южной Каролины от тех людей, что никогда таких слов, как «декаданс», не употребляли.

Вскоре все уже плясали, все пародировали, даже дядюшка Галактион при всех семи пудах своего жизнелюбия, не говоря уже о гибких джигитах-племянни-

ках, и даже и сама именинница не без некоторого ужаса, поднимая тяжелый шелк до своих слегка суховатых колен... полы на старой даче ходили ходуном, нянюшка из кухни поглядывала в страхе, собака лаяла в отчаянии... может быть, старый мир и обречен, но дача рухнет прежде... и даже комбриг, и даже комбриг, влекомый соблазнительной своей женою, пышащей клубничным жаром Вероникою, сделал не менее дюжины иронических па, и даже исполненный презрения Стройло бухал хоть и не в такт, но с хорошим остервенением... и только лишь строгий марксист Кирилл Градов остался верен своим принципам, демонически глядя с антрессолей на трясущуюся вакханалию.

— Перестань ты бучиться, Кирка, — сказал ему старший брат, поднимаясь на антресоли с бутылкой в правой руке и с двумя рюмками в левой. — Давай выпьем за маму!

— Я уже выпил достаточно, — буркнул Кирилл. — Да и ты, кажется... выпил предостаточно, товарищ комбриг.

Никита, поднявшись лишь до половины лестницы, начал отступление вниз, изображая комический афронт. Ну, что за тип, этот Кирюха, стоит там наверху, как член военной прокуратуры.

Комбриг и в самом деле выпил не менее шести полных рюмок водки, да еще два-три стакана грузинского вина. Только после этой дозы напряжение прошедшего дня стало отпускать его. В начале вечера он казался себе каким-то призраком, чем-то вроде посыльного жандарма под занавес в «Ревизоре», с той только лишь разницей, что при виде него никто не впадал в ступор, а, напротив, все с живостью необыкновенной как бы обтекали его скованную фигуру. Он сделал несколько телефонных звонков в штаб и в наркомат и, только лишь узнав, что Фрунзе полностью пришел в себя и чувствует себя хорошо, присоединился к пирующим.

Некоторое время он еще смотрел на всех со странной улыбкой, ощущая себя среди гостей и родственни-

ков как бы единственным реальным человеком, представляющим единственно реальный мир, мир армии, потом алкоголь, вкусная еда, веселый шум, чертов чарльстон, пышущая жаром молодости и успеха красавица, принадлежащая ему и только ему, — все это сделало свое дело, и Никита забыл про свои ромбы и нашивки на рукаве, став вдруг обычным двадцатипятилетним молодым человеком, взялся бродить с рюмкой по всем комнатам, вмешиваться в разговоры, хохотать громче других над анекдотами, крутить вокруг себя ловкую сестренку... вот и буржуазную пародию рванул, и братабуку попытался расшевелить... пока вдруг не увидел свою великолепную жену смеющейся в окружении нескольких мужчин. Мерзейшая мысль тут посетила его: «Собачья свадьба вокруг Вероники», и он внезапно понял, что дичайшим образом пьян.

И вот тут еще по соседству прорезался из шума гадкий голосок испитого юнца с лиловыми подглазьями... «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед...» Он хорошо знал этот тип штабных кокаинистов из богемы, губки и носик вечно вздуты, раздражены, сродни каким-то ботаническим присоскам... вот именно такие дурили головы стишками и белым порошком... кому?.. вот именно нашим девушкам, тянули наших девушек в штабные загоулки, романтики, оскверняли наших девушек в чуланчиках, в платяных шкафах, даже и в сортирчиках, наших девушек растаскивали, употребляли их на диванах, за диванами, на роялях, на бильярдных столах, под роялями, под столами, в подвалах, на крышах, наших девушек, среди гнили разгромленных парников... а потом подсовывали их комиссарам, чекистам, всякой сволочи... наших девушек, бестужевок, смолянок, под хор штабной швали... да еще с гитарками, с бумажными цветками в кудрях... молодость, революция...

Он еще понимал, что в голове у него проносится какой-то идиотский, да к тому же еще и белогвардейский вздор, что не так уж много он и встречал по шта-

бам этих оскверненных так называемых наших девушек, однако ярость уже вздымала его на свой гребень, и, почти потеряв возможность сопротивляться ей, он сделал шаг к романтику революции.

— Позвольте вас спросить, а вы лично бывали в Кронштадте?

— Вообразите, комбриг, бывал! — запальчиво вскричал «юнец». Он, кажется, охотно принимал вызов. Белые глаза, дергающаяся щека, «юнец» был по крайней мере ничуть не моложе комбрига. — Я участвовал в штурме!

— Ага! — Никита плотно взял его за плечо, близко придвинулся. — Значит, и расстрелы видели? Видели, как мы матросиков десятками, сотнями выводили в расход?

— Они нас тоже расстреливали! — «Юнец» пытался освободиться из-под руки комбрига. — В крепости был белый террор!..

— Неправда! — вдруг завопил Никита, да так грозно, что все вокруг затихло, только мяукающий негр-тянкий голосок долетал с пластинки. — Они нас не расстреливали! Матросы в Кронштадте большевиков не расстреливали! Они с нас только обувь снимали! — Круг лиц, скопившихся около него, вдруг проехал перед Никитой престранной лентой, объемы исчезли, остались только плоскости, он выпустил мягкое плечо. — У всех арестованных были конфискованы сапоги, это верно, — пробормотал он, — сапоги передавались босым членам команды... коммунисты взамен получали лапти... — Он снова взмыл. — Лапти, товарищи! Расстрелов не было! Даже меня, лазутчика, они не расстреляли! Это мы их потом... по-палачески... зверски!

Гости, огорошенные, молчали. Вдруг с антресолей простучали шаги, скатился Кирилл, яростно бросился к брату.

— Не смей, Никита! Не повторяй клеветы!

Вероника уже висела на плече мужа, тянула в глубину дома, мама Мэри шла за ними с подносом аптеч-

ных пузырьков. Дядюшка Галактион замыкал шествие, жестами успокаивая гостей — бывает, мол, бывает, ничего страшного. С порога Никита еще раз крикнул:

— Каратели! Кровавая баня! В жопу вашу романтику!

Наркомвоенмор и в самом деле чувствовал себя значительно лучше. Он улыбался профессору Градову, пока пальцы того — каждый будто отдельный проникновенный исследователь — ощупывали его живот и подвздошные области.

— Кажется, ваш сын, профессор, служит в штабе Тухачевского? Я знаю Никиту. Храбрый боец и настоящий революционер.

Борис Никитич сидел на краю постели, бедром своим упираясь в бедро командарма. Тысячи больных прошли перед знаменитым медиком, однако никогда раньше, даже в студенческие годы, он не ощущал никакой странности в том, что человек перед ним превращается из общественного понятия в физиологическое и патологическое. От этого тела даже и в распростертом под пальцами врача положении исходила магия власти. Появлялась вздорная мысль — может быть, у этого все как-нибудь иначе? Может быть, желудок у него переходит в Перекоп?

Пальпируя треугольник над двенадцатиперстной кишкой и проходя через порядочный жировой слой все глубже, он обнаружил несколько точек слабой болевой чувствительности. Возможно, имеет место небольшой экссудат, легкое раздражение брюшины. Печень в полном порядке. Теперь возьмемся за аускультацию сердца.

Когда он склонился над грудью, то есть опять же над вместилищем героической легенды, Фрунзе на мгновение отвел в сторону его стетоскоп и прошептал почти прямо в ухо:

— Профессор, мне не нужна операция! Вы понимаете? Мне ни в коем случае сейчас не нужна операция...

Глаз в глаз. Белок самую чуточку желтоват. Веко на секунду опускается, давая понять, что профессору Б.Н.Градову оказывается полное и конфиденциальное доверие.

Происходит, кажется, что-то неладное, подумал Борис Никитич, выходя из палаты наркома. Странный пафос Рагозина, этот шепот... ммм... пациента... Какое-то «тайны мадридского двора»... Повсюду посты, странные люди... Больница, кажется, занята армией и ГПУ...

Не успел он пройти и десяти шагов по коридору, как кто-то тронул его за рукав. Тонем чрезвычайной серьезности было сказано:

— Пожалуйста, профессор, зайдите вот сюда. Вас ждут.

Тем же тоном сопровождающему Вуйновичу:

— А вас, товарищ комполка, там не ждут.

В кабинете заведующего отделением две пары глаз взяли его в клещи. Белые халаты поверх суконных гимнастеров ни на йоту не прикрывали истинной принадлежности ожидающих; да она и не скрывалась.

— Правительство поручило нам узнать, к какому выводу вы пришли после осмотра товарища Фрунзе.

— Об этом я собираюсь сейчас доложить на консилиуме, — пытаюсь скрыть растерянность, он говорил почти невежливо.

— Сначала нам, — сказал один из чекистов. «Ни минуты не задержусь, чтобы застрелить тебя, сукин сын», — казалось, говорили его глаза.

Второй был — о да! — значительно мягче.

— Вы, конечно, понимаете, профессор, какое значение придается выздоровлению товарища Фрунзе.

Борис Никитич опустил на предложенный стул и, стараясь скрыть раздражение (чем же еще была вызвана излишняя потливость, если не раздражением), сказал, что склонен присоединиться к мнению Ланга — болезнь серьезная, но в операции нужды нет.

— Ваше мнение расходится с мнением Политбюро, — медленно, подчеркивая каждое слово, про-

и шес тот, кого Борис Никитич почти подсознательно определил как заплечных дел мастера, «расстрельщика».

— В Политбюро, кажется, еще нет врачей, — ответил он пренебрежительным тоном. — Для чего, в конце концов, меня вызвали на консилиум?

«Расстрельщик» впился немигающими глазами в лицо — почти нестерпимо.

— Становясь на такую позицию, Градов, вы увеличиваете накопившееся к вам недоверие.

— «Накопившееся недоверие...» — Теперь уже он весь покрылся потом, чувствовал, как стекает влага из-под мышек, и понимал, что потливость вызвана не раздражением, но ошеломляющим страхом.

Чекист извлек из портфеля объемистую папку, без всякого сомнения — досье, личное дело Государственного Политического Управления на профессора Б.Н.Градова!

— Давайте уточнять, Градов. Почему вы ни разу не указали в анкетах, что ваш дядя был товарищем министра финансов в Самарском правительстве? Не придавали этому значения? Забыли? И парижский его адрес вам неизвестен — улица Вожирар, номер 88? И ваш друг Пулково не навещал вашего дядю? А вот скажите — встречались вы сами с профессором Устряловым? Какие инструкции привез он вам от вождей эмиграции?

Семь этих вопросов подобны были мощным ударам кнута, и только после седьмого наступила пауза, сродни удушению.

— Что вы говорите, товарищ? Да как же можно так говорить, товарищ...

Любовно отглаженный носовой платок, прижатый к лицу, мгновенно превратился в унижительную тряпку. «Расстрельщик» бешено шарахнул кулаком по столу.

— Тамбовский волк тебе товарищ!

Борис Никитич вбок потянул свой изысканный галстук. Позднее, анализируя это состояние и унижитель-

ные движения, он все оправдывал неожиданностью. Так, очевидно, и было; мог ли он предположить, что в родной клинической обстановке ждет его допрос с пристрастием.

Второй чекист, «либерал», не без некоторого возмущения повернулся к товарищу:

— Возьми себя в руки, Бенедикт! — Тут же приблизился к Градову, мягко притронулся к плечу: — Простите, профессор, у Бенедикта порой нервы шалят. Последствия Гражданской войны... пытки... в белых стенах... Классовая борьба, Борис Никитич, порой принимает очень жестокие формы... что делать, порой мы становимся жертвами истории... вот поэтому и хотелось бы избежать ошибок, рассеять недоверие, накопившееся к вам, а стало быть, увы, чисто механически, и к вашим детям... при всем огромном уважении к вашему врачебному искусству... особенно важно, чтобы ученый с таким именем занял правильную позицию, показал, что ему не безразличны судьбы республики... что он сердцем, сердцем с нами, а не холодным расчетом буржуазного «спеца»... и вот в таком важнейшем деле, как спасение нашего героя командарма Фрунзе, хотелось бы видеть, что вы не прячетесь в кусты ложного объективизма... не отстраняетесь...

Борис Никитич опускал голову, бесповоротно праздновал труса.

— В конце концов, — пробормотал, — я и не говорил, что хирургическое вмешательство противопоказано...

Мягко обласкивающая его плечо рука нажала еще чуть-чуть сильнее; между плечом и рукой возникал своего рода интим.

— В известной степени радикальные меры всегда эффективнее терапии...

Рука отошла. Не поднимая головы, он почувствовал, что чекисты обменялись удовлетворенными взглядами.

Вадим Вуйнович, придерживая хлопающий по бедру планшет, стремительно сбежал по лестнице навстречу

только что подъехавшим Базилевичу и двум его помощникам из штаба Московского военного округа.

— Разрешите доложить, товарищ Базилевич. Нарком принял решение идти на операцию. Предложение Политбюро подкреплено большинством консилиума. Сейчас уже идет подготовка...

Командующий МВО медленно, как будто желая сбить ритм запыхавшегося нервного комполка, расстегивал шинель, обводил взглядом вестибюль, лестницу, окна, в которых в осенней серости выделялись черные стволы деревьев и белые полосы первого снега.

— Караулы ГПУ продублировать нашими людьми, — тихо сказал он одному из своих помощников.

— Есть, — последовал короткий ответ.

Вадим не смог скрыть вздоха облегчения. С приходом Базилевича ему показалось, что все еще может обойтись, мощная логика РККА скажет свое слово, и странная зловещая двусмысленность, собравшаяся под сводами Солдатёнковской больницы, окажется лишь плодом его воображения.

К полуночи добрая половина гостей, то есть respectable публика, разъехалась с дачи Градовых, что навело неиссякающего тамаду Галактиона Гудиашвили на новые грустные размышления о природе «старших братьев», россиян. «С пэчалью я смотрю на этих москвичей, какие-то, понимаешь, стали слишком эвропэйцы, прямо такие нэмцы, нэ умэют гулять», — говорил он, забыв о своих недавних пассажах о скифских варварах. Все-таки он продолжал верховодить за опечаленным столом, стараясь хотя бы оставшихся напоить допьяна.

Еще больше, чем respectable публика, огорчала дядю Галактиона молодежь: она и не разъехалась, и на «вэликолепные» напитки мало обращала внимания. Забыв о том, что молодость в жизни бывает только один раз («Только один раз, Мэри, дорогая, ты знаешь это не хуже меня»), молодежь сгрудилась на кухне

и гаддела, как кинто на базаре, спорила по вопросам осточертевшей всем народам средиземноморского бассейна мировой революции.

Споры эти вспыхнули как бы стихийно, однако никто и не сомневался, что они вспыхнут. Было бы странно, если бы в конце концов не были забыты все второстепенности, флирт и вино, анекдоты, поэзия, театральные сплетни и если бы не вспыхнул на кухне — вот именно и непременно на кухне, среди невымытых тарелок, — характерный для интеллектуальной, партийной и околопартийной молодежи спор на политические темы. Страстные революционеры тут были, разумеется, в полном и подавляющем большинстве, однако сколько голов, столько и разных путей для скорейшего достижения счастья человечества. «Органов» пока эта молодежь не так уж боится, ибо полагает ЧК — ГПУ отрядом своей собственной власти, а потому можно и голосовые связки надрывать, и руками размахивать, и не скрывать симпатий к различным фракциям, к троцкистам ли с их «перманентной революцией», к какой-нибудь до сего вечера неизвестной «платформе Котова — Усаченко», к антибюрократической ли «новой оппозиции» и даже к «твердокаменным» сталинистам, которые даже и при всей их унылости все-таки тоже ведь имеют право высказаться, ведь никому же нельзя зажимать глотку, ребята, ведь в этом-то как раз и состоит смысл партийной демократии.

Из общего шурум-бурума мы вытащим пока всего лишь несколько фраз и предложим читателю вообразить их гулкое эхо, проходящее по студенческим аудиториям того времени.

«...Пора покончить с нэпом, иначе мы задохнемся от сытости...»

«...Социализм погибнет без поддержки Европы!..»

«...Ваша Европа танцует чарльстон!..»

«...ЛЕФ — это фальшивые революционеры! Снобы! Эстеты!..»

«...Бухарин поет под дудку кулаков!..»

«...Слышали, братцы, в Мюнхене появилась партия национал-большевиков? Нет предела мелкобуржуазному вздору!..»

«...Почему от народа скрывают завещание Ленина? Сталин узурпирует власть!»

«...Вы плететесь в хвосте троцкизма!..»

«...Лучше быть в хвосте у льва, чем в заднице у сапожника!..»

«...В старое время за такое бы по морде!»

Время было пока еще «новое», и обошлось без мордобоя, хотя Ниночкин «пролетарский друг» Семен Савельевич Строило не раз вождественно взвешивал в руке непочатую банку «царских рыжиков».

Автоматически растирая щеткой кисти рук и предплечья, профессор Градов старался не смотреть на коллег. Впрочем, и остальные участники операции, Греков, Рагозин, Мартьянов и Очкин, мылись молча и самоутраченно. Никому и в голову не приходило этой ночью продемонстрировать какие-либо излюбленные «профессорские штучки», юморок ли, мычание ли оперной арии, хмыканье, фуканье, все эти чудачества, до которых всегда были охочи московские светила, столь обожаемые средним, полностью женским, хирургическим персоналом. Никогда еще в этих стенах не проходили антисептическую обработку одновременно пять крупнейших хирургов, и никогда еще здесь не было такого напряжения.

Из операционной вышли анестезиологи, доложили, что дача наркоза прошла нормально. Больной заснул. Градов, которому предстояло начать, то есть открыть брюшную полость наркома, распорядился, чтобы ни на минуту не прекращался контроль пульса и кровяного давления. Подготовлены ли все стимуляторы сердечно-сосудистой деятельности? Это главный аспект операции.

Он уже держал на весу руки в резиновых перчатках, когда Рагозин, тоже закончивший обработку, попросил его на секунду в сторону.

— Что с вами, Борис Никитич?

— Все в порядке, — пробормотал Градов.

— Вы мне сегодня не нравитесь, дорогой. У вас дрожат лицевые мышцы. У вас, кажется, и пальцы дрожат...

— Нет, нет, я в порядке. Помилуйте, ничего у меня не дрожит. Не стоит, право, перед началом операции... как-то странно... не очень-то этично...

— Да-да, — проговорил Рагозин, как бы разглядывая его лицо складку за складкой. — Пожалуй, вам не стоит, мой дорогой, непосредственно участвовать. Будьте рядом на случай чего-нибудь непредвиденного, а мы начнем, помолясь...

«Боже, — подумал Градов, — не участвовать в этом». Ничего толком не понимая, замороженный и растерянный, однако уже отстраненный от этого, освобожденный, он пожал плечами, стараясь не выказать своих эмоций.

— Что ж, вы начальник. Прикажете размыться?

— Э, нет, батенька! — жестко проговорил Рагозин. — Начальников здесь нет. Мы все, и вы тоже, равноправные участники операции. Будьте наготове!

Градов сел на диван в углу предоперационной, откинул голову и закрыл глаза. Он уже не видел, как четверо хирургов, держа на весу обработанные руки, будто жрецы какого-то древнего культа, проходили за матовое стекло.

К концу ночи молодежь, персон не менее дюжины, отправилась на берег Москвы-реки. Под ногами хрустели льдинки мелких лужиц. Меж соснами, в прозрачном космосе еще пылали звезды, стоял «и месяц, золотой и юный, ни дней не знающий, ни лет»...

— Я слышал, он читал это недавно в Доме архитекторов, — сказал Степан Калистратов.

— А помнишь, там же! — вскричала Нина. — Никогда не забуду этот голос... «Я буду метаться по табору улицы темной За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...» Семен, ты слышишь, Сема?!

Она как бы влекла под руку, как бы тащила, все время теребила своего долбоватого избранника Стройло, а тот как бы снисходил, как бы просто давал себя влечь, хотя временами Нинины порывы сбивали его шаг и переводили в какую-то недостойную пролетария трусцу. То кочки, то лужи какие-то под ногами — чего поперлись на реку, корни какие-то, стихи этого Мандельштама, бзики профессорских детишек...

— Что это за таборы, капоры, ребусы какие-то? — пробасил он.

— Ну, Семка! — огорченно заскулила Нина. — Это же гений, гений...

— Семен, пожалуй, прав, — сказал Савва Китайгородский. Он шел в длинном черном пальто, накрахмаленная рубашка светилась в ночи. — Черемуха и снег, как-то не сочетается...

«Какое великодушие к сопернику», — лукаво и радостно подумала Нина и крикнула идущему впереди Калистратову:

— А ты как считаешь, Степа?

— С ослами вступать в полемику не желаю! — сказал, не оборачиваясь, поэт.

У Нины едва не перехватило горло от остроты момента. Эти трое, все они влюблены, все это игра вокруг нее, все это... Она отпустила руку Семена, побежала вперед и первая достигла обрыва.

Внизу серебрилась и слегка подзолочивалась излучина реки. За ней в предрассветных сумерках обозначились редкие огни Хорошево и Сокола. До рассвета еще было далеко, однако дальние крыши и колокольни Москвы уже образовали четкий контур, а это означало, что первый день ноября 1925 года будет залит огромным светом нечастого гостя России — звезды, именной Солнцем.

Нина обернулась к подходящей группе. Вот они приближаются, влюбленные и друзья: Семка, Степа, Савва, Любка Фогельман, Миша Канторович, брат Кирилл, кузены Отари и Нугзар, Олечка Лазейкина, Циля

Розенблум, Мириам Бек-Назар... Их лица отчетливо видны, освещенные то ли луной, то ли предстоящим восходом, то ли просто юностью и революцией. «Какое счастье, — хотелось закричать Нине Градовой, — какое счастье, что именно сейчас! Что все это со мной именно сейчас! Что это я... именно сейчас!»

Утро застало их в окрестностях парка Тимирязевской сельскохозяйственной академии, на Инвалидном рынке. Хохоча, пили квас, когда вдруг захрипел на столбе ратруб радиорепродуктора. Сквозь хрипы наконец пробилось: «Гражданам Советского Союза...» Послышались какие-то какофонические шумы, постепенно оформляющиеся в траурную мелодию «Гибели богов» Вагнера. Наконец началось чтение:

«...Обращение ЦК РКП(б)... Ко всем членам партии, ко всем рабочим и крестьянам...

...Не раз и не два уходил товарищ Фрунзе от смертельной опасности. Не раз и не два смерть заносила над ним свою косу. Он вышел невредимым из героических битв Гражданской войны и всю свою кипучую энергию, весь свой созидательный размах отдал делу строительства нашей победоносной Красной Армии...

...И теперь он, поседевший боец, ушел от нас навсегда... Умер большой революционер-коммунист... Умер наш славный боевой товарищ...»

— Кирилл! — закричала Нина брату. — Быстрой! Вон трамвай! Домой! Домой!

Так и всегда, при всех поворотах истории и судьбы, Градовы прежде всего стремились домой, собраться вместе. Только позднее, в тридцатых, дом стал казаться им не крепостью, но западней.

Борис Никитич стоял на крыльце хирургического корпуса в ожидании машины. Его била дрожь, как будто в страшном похмелье, он боялся окинуть взглядом это неожиданно золотое утро. Уже на лестнице его догоняли какие-то люди, в халатах и без оных, совали на подпись какие-то листочки все новых и новых протоко-

тов Он все подписывал, не читая, думал только об одном — домой, скорей домой.

Подошла машина, из нее выпрыгнул красноармеец. Прошел комполка Вуйнович. Градова будто качнула волна от его мощного и враждебного тела. Послышался голос:

— Фокин, отвезешь домой это дерьмо!

Антракт I. Пресса

...Затемнение сознания началось за 40 минут до кончины. Смерть произошла от паралича сердца после операции...

Образована похоронная комиссия в составе: тов. Епукидзе, Уншлихт, Бубнов, Любимов, Михайлов...

...В лице покойного сошел в могилу виднейший член правительства...

...Состоялось заседание Реввоенсовета, председательствовал заместитель тов. Фрунзе Уншлихт, присутствовали члены РВС Ворошилов, Каменев, Бубнов, Буденный, Орджоникидзе, Лашевич, Баранов, Зоф, Егоров, Затонский, Элиава, Хадыр-Алиев...

...В Кронштадте и Севастополе салют произвести из береговых и судовых орудий: в первом — 50 выстрелов, во втором — 25...

...В похоронной церемонии участвовать отряду комполитсостава, авиаотряду МВО и Первой сводной роте Балтфлота. Ответственный — комкор XVII тов. Фабрициус...

...Унынию не должно быть места! Теснее ряды!..

...Из протокола вскрытия: в брюшной полости 200 см³ кровянистой, гноевидной жидкости... Бактериоскопически обнаружен стрептококк... Анатомический диагноз: зажившая круглая язва 12-перстной кишки... Острое гнойное воспаление брюшины... Ненормально большая зубная железа... Операция вызвала обострение хронического воспалительного процесса, тянувшегося с 1916 года после аппендэктомии, что в сочетании с нестойкостью организма в отношении наркоза вызвало быстрый упадок сердечно-сосудистой деятельности и смертельный исход.

Кровотечения последнего времени были следствием поверхностных изъязвлений.

Проводил вскрытие профессор А.И.Абрикосов...

...Телеграмма тов. Троцкого ЦК партии: «Потрясен! Какая жестокая брешь в первой шеренге партии! Какой страшный удар к восьмой годовщине Октября!..»

...После бальзамирования тело перенесено в конференц-залу... В почетном карауле генштабисты, близкие товарищи Рыков, Каменев, Сталин, Зиновьев, Молотов... Охрану несут курсанты школы ВЦИК...

...Соболезнования — японского посольства, исполняющего обязанности турецкого военного атташе г-на Беды-Бей, эстонского военного атташе г-на Курска...

Н. Бухарин: «...Воплощенная мягкость, Фрунзе был громовым полководцем...»

С. Зорин: «...Светящийся след...»

М. Кольцов: «...Ядро большевистской гвардии несет неизгладимый отпечаток царского преследования... ЦК должен обратить серьезное внимание на редущие ряды...»

...Ввиду интереса публики и в связи с разговорами об операции печатаем выписки из истории болезни.

...Консультации шли непрерывно, начиная с 8 октября, при участии Н.А.Семашко, Бурденко, Градова, Мартынова, Рагозина, Ланга, Канеля, Крамера, Левина, Плетнева, Обросова, Александрова и других профессоров... Наклонность к кровотечениям требовала оперативного вмешательства...

...Подъезжают автомобили. Вот приехал китайский генералиссимус Ху Хань Минь... делегации заводов... на крышке гроба золотое оружие... в Колонном зале весь состав Политбюро... «Гибель богов» сменяется «Интернационалом»... Пятого ноября... снег... речь Сталина: «...Товарищи, этот год был для нас проклятьем. Он вырвал из нашей среды целый ряд руководящих товарищей... Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу. К сожалению, не так легко и далеко не так просто подымаются наши молодые товарищи на смену старым... Будем же верить, будем надеяться, что партия и рабо-

чий класс примут все меры к тому, чтобы облегчить выковку новых товарищей на смену старым...»

Тухачевский: «...Дорогой, любимый друг!.. Я встретился с Михаилом Васильевичем в период развала Восточного фронта... Спокойствие, уверенность сквозили во всей славной фигуре тов. Фрунзе... Прощай!..»

...ЦИК СССР постановил назначить наркомвоенмором тов. Ворошилова; первый заместитель М.М.Лашевич, второй заместитель И.С.Уншлихт.

Антракт II. Полет совы

Четырехсотлетний Тохтамыш редко покидал насиженное гнездо под шатром Водовзводной башни. Казалось, одна была задача у старой птицы — пересидеть в сонливой задумчивости все эти столетия. С какой целью их следовало пересиживать, боюсь, ему (ей) самому (самой) было неизвестно. И только тогда, когда в крепости вдруг ломался порядок дней, Тохтамыш по ночам вываливался через одному ему знакомую апертуру в поток московского воздуха и совершал облет стен, как бы желая удостовериться — устоят ли? Так и в ту ночь, уловив какой-то своей ускользнувшей от внимания орнитологии мембраной волнение новых князей, называемых комиссарами, Тохтамыш пустился в свой неслышный, не ахти какой грациозный, однако исполненный онтологической уверенности полет.

Поднявшись саженной на полста — в воздухе, кроме пары заштатных ворон, никого не замечалось, пахло дымком, дерьмом, как обычно, пороху не учуял, — он описал широкий круг над своим пристанищем, потом, снижаясь, миновал Боровицкую, пролетел, если не проплыл, над Оружейной палатой и Потешным дворцом, приблизился к Арсеналу...

Все было тихо, вязко и сыровато, караулы на местах, двери на запорах, внешне ничто не выдавало волнения комиссаров, которое Тохтамыш уловил своей таинственной мембраной, и только во дворе Арсенала металось нечто.

Тохтамыш опустился на желоб водостока, брезгливо отвернулся от валявшегося там воробьиного трупика — он уже лет сто пятьдесят не жрал падаль — и уставился на мечущее-

ся нечто, а именно на здешнего придворного поэта Демьяна, который называл себя «бедным», хотя и был богаче многих.

Сыч уже видел как-то мельком этого человечка, невзлюбил его сразу и запомнил. Мышиную суетливость свою Демьян прикрывал, анамсыгымтуганда, революционной романтикой, бездарность виршей — актуальностью.

Что же это он так мечется, будто барсук, нажравшийся волчьей ягоды? Ах да, вдохновение! В громовые дни набега, еще в том, прежнем обличье, Тохтамыш отличался остротой слуха. Сейчас он попробовал к ней вернуться и уловил бормотание.

«...Друг, милый друг... — бормотал Демьян, заламывая руки и подымая горé мясистое лицо, то ли ища луну, то ли принимая два светящихся совиных глаза за ободряющее созвездие. — Давно ль?.. Так ясно вспоминаю (аю, аю, аю): агитку настрочив в один присест (сест, сест, сест), я врангелевский тебе читаю (аю, аю, аю) манифест (фест, фест, фест)... Их фанге ан, я нашаю... Как над противником смеялись мы вдвоем (ем, ем, ем)! Их фанге ан!.. Ну, до чего ж похоже (оже, оже, оже)! Ты весь сиял: у нас среди бойцов подъем (ем, ем, ем)! Через недели две мы «нашаем» тоже (оже, оже, оже)... Потом... мы на море смотрели в телескоп (коп, коп, коп)... Железною рукой в советские скрижали вписал ты «Красный Перекоп» (коп, коп, коп)... А где же жали-жали-жали?..

...Потом, потом, сейчас главное — не упустить вдохновения, рифмы потом... И вот... неожиданно роковое свершилось что-то... Не пойму (му, му, му), я к мертвому лицу склоняюсь твоему (му, му, му) и вижу перед собой лицо... какое?.. живое! (вое, вое, вое)... Стыдливо-целомудренный герой (рой, рой, рой), и скорбных мыслей рой (ой, ой, ой)... совсем неплохо, по-пушкински получается... нет сил облечь в слова прощального привета... звонить в «Правду» немедленно... (ета, ета, ета)...»

Больше такого надругательства над ночными словосочетаниями Тохтамыш терпеть не мог и потому нырнул вниз, овеял поэта страшноватым крылом, дабы заткнулась грязная пасть.

ГЛАВА III

Лечение Шопеном



Год завершился в шелесте вечно двусмысленных газет, в грохоте все расширяющейся трамвайной сети Москвы, в кружении будто обугленных обитателей московского неба, во все нарастающих синкопах чарльстона, бросающего вызов триумфальному, хоть иногда и расползающемуся, словно мазут, гулу пролетарских труб.

Пришли снега, и сошли снега, накрылись и прошумели сады перед тем, как в начале октября 1926 года наше повествование вновь, вслед за молочницей Петровной, въехало на дачу Градовых в Серебряном Бору.

Двери всех комнат внизу открыты. Пусто, чисто, светло. Из библиотеки разносится Шопен. Мэри Вахтанговна играла, как всегда, бурно, с вдохновением, как бы придавая средневропейским равнинным пассажам некое кавказское стаккато. Время от времени, однако, она бросала быстрые внимательные взгляды на мужа, который сидел в глубоком кресле, закрыв глаза ладонью.

Рядом с хозяином в классической позе молодого послушного пса сидел Пифагор. Его высокие уши тоже улавливали поток непротивных звуков. Иногда неслышно, в шерстяных носках проходила по комнатам Агаша, раскладывала по полкам чистое белье, поглядывала

вала на хозяина, вытирала платочком уголки глаз.

Борис Никитич в щелку между пальцами созерцал вдохновенный профиль жены. «Странно, — думал он, — ее княжеский профиль меня никогда эротически не тревожил. Но вот когда она поворачивалась ко мне лицом, с этими высокими крестьянскими скулами и пухлыми губами... Почему я думаю об этом в прошедшем времени, мы еще молоды в конце концов, наше либидо еще...»

Молочница Петровна с тяжелыми бидонами, корзиной и ведром шумно размахалась дверьми и увидела утреннюю идиллию. «Ишь ты, — с умилением подумала она, — жив буржуй».

— Господь с тобой, тише, Петровна! — бросилась к ней Агаша. — Пошли, пошли на кухню!

На кухне, выгружая сметану и творог, Петровна поинтересовалась:

— Чего-сь тут у вас такое?

— Профессор музыкой лечится, — значительно пояснила Агаша.

— Простыл, что ли?

— Ах, Петровна, Петровна, — покачала головой утонченная Агаша.

— А мой-то от всего стаканом лечится, — вздохнула Петровна. — Не поможет стакан, второй берет. Тогда порядок.

— Ну, иди-иди, Петровна.

Сунув деньги, Агаша спровадила пышущую здоровьем и чистотой бабу за дверь, а сама остановилась у притолоки — внимать.

Мэри закончила концерт блестящим глоссандо и встала.

— Как ты себя чувствуешь, Бо?

Борис Никитич тоже поднялся из кресла.

— Спасибо, Мэри! Ты же знаешь, мне этот прелюд всегда помогает. — Он подошел к жене и обнял ее за плечи, деликатнейшим образом стараясь повернуть ее к себе лицом. Мэри Вахтанговна уклонилась и показала в окно.

— Смотри, Пулково уже приехал!

От калитки к дому под пролетающими желтыми листьями не торопясь шел Леонид Валентинович Пулково в своем английском «шерлок-холмсовском» пальто.

— При всем своем разгильдяйстве Ленька всегда точен, — улыбнулся профессор.

— Ну, отправляйтесь все гулять, — распорядилась Мэри Вахтанговна. — Пифагор, ты тоже идешь с папочкой.

Пес радостно закружился вокруг, временами, будто заяц, поджимая задние ноги.

Агаша уже стояла в дверях с пальто и шляпой для профессора.

— Позвольте напомнить, Боренька и Мэричка, Никитушка и Вероникочка к ужину прибывают прямо с вокзала, — сказала она.

— Да-да, Бо, ты не забыл? Через два часа у нас полный сбор, — строго, пытаясь сдержать какое-то экстатическое чувство цельности, произнесла Мэри Вахтанговна.

Пес не мог сдержать, очевидно, очень похожего чувства, подпрыгнул и лизнул хозяйку в подбородок.

— Да-да, Пифа, ты не забыл! — восхитилась она. — Я вижу, вижу! Напомни в крайнем случае своему папочке, если он вместо оздоровительной прогулки отправится со своим другом на ипподром.

Весь прошлый год Борис Никитич, невзирая на сильнейшие приступы уныния, работал как оглашенный. За операционным столом он уже, по сути дела, не знал себе равных — то, что называется мастерством, давно ушло, уступив место высочайшему классу, виртуозности. Он и в самом деле ощущал себя с ланцетом и кохером в руках чем-то вроде дирижера и скрипача-солиста одновременно. В минуты вдохновения — да-да, он испытывал иной раз истинное хирургическое вдохновение! — ему казалось, что вся сфера жизни, находящаяся в этот момент под его господством — ассистенты, сестры, инструменты, распростертый пациент, — в

эти минуты вся жизнь улавливает не только его слова, хмыканья, покашливания, малейшие жесты, но и мысли, никак не выраженные, чтобы немедленно им подчиниться, и не ради подчинения, а ради общего согласного звучания, то есть гармонии.

Лекции его всегда собирали «битковую» аудиторию. Врачи из столичных клиник и из провинции ссорились со студентами из-за мест. Говорили, что даже университетские филологи приезжают, якобы для того, чтобы удостовериться на его примере в жизнеспособности и идейной цельности сохранившейся части российской интеллигенции.

Еще большие успехи были достигнуты в теории и создании школы. Статьи, направленные на развитие его оригинальной концепции хирургического вмешательства, вызывали немедленные живые дискуссии на заседаниях Общества и в печати, как отечественной, так и, да-с, зарубежной. Молодые врачи, идущие по его стопам, и среди них прежде всего талантливый Савва Кнгайгородский, гордо называли себя «градовцами». Словом... да что там... как бы там ни было... ах, черт возьми...

Кто из этих «градовцев», кроме, может быть, Саввы, когда-либо догадывался, что их кумир время от времени со стоном и скрежетом зубовным валится на диван, набок, скатывается по кожаной наклонности на ковер, стоит там на коленях, дико исподлбья оглядывает углы, умоляюще скидывает бородку к потолку, будто ищет икону, коих по наследственному позитивизму уж, почитай, столетие Градовы в доме не держат. Еще и еще раз спрашивает он себя: что же тогда произошло в Солдатёнковской больнице? «Ничего не произошло, я просто был отстранен, со мной не считались, — говорит он себе сначала в дерзкой гордыне, — как угодно, мол, считайте, Ваша Честь Верховный Судия, но я себя ни лжецом, ни трусом не признаю».

Повыв, однако, немного и подергавшись, если Мэри вовремя не войдет и не ринется к роялю, он начинает понемногу сдавать позиции. Ну, спраздновал труса,

да; ну, испугался Чека, но кто ж этих извергов не боится, ну... Ну вот и все, Милосердный! И только уж на третьей фазе, опять же если Мэри умудрится прохлопать развитие кризиса, Борис Никитич позволял себе кое-какое рукоприкладство к своему гардеробу — то рубашку рванет на груди, как кронштадтский матрос, то располосует жилет — и громко выкликает: «Соучастник! Соучастник!»

Да, в эти минуты он себя полагал прямым соучастником убийства главкома Фрунзе, и тут уж Мэри непременно появлялась с настойкой брома, со своей теплой грудью и со спасительным Шопеном.

И не потому, конечно, так казнился Борис Никитич, что убит был нарком, герой, могучий человек государства — ничем он был не лучше их всех, такой же изверг, расстреливал пленных, — а потому, что это был пациент, святое для врачебной совести тело.

К счастью, приступы такой несправедливости, вот именно несправедливости по отношению к самому себе становились все реже. В спокойные же дни если и вспоминал профессор Градов про ту октябрьскую ночь прошлого года, то думал только о том, что же фактически сделали Рагозин и другие, чтобы отправить командарма в нереальные реальности. Даже и сейчас, невзирая на почти неприкрытый цинизм этих людей, коему он был свидетель, он не мог допустить, что кто-нибудь из коллег оказался способен попросту, скажем, пересечь артерию. Ведь не буденновцы все-таки, врачи же все-таки, врачи!

Зазвенел отдаленный трамвай. Счастливые дети проskalьзывали на велосипедах. Менее счастливые, но все-таки счастливые донельзя разгоняли самодельные самокаты. С шумом взлетает грай грачей, мгновенно порождая вихрь листопада.

Два друга с гимназических лет, профессор Борис Никитич Градов и Леонид Валентинович Пулково, прогуливаются в классическом стиле московской

интеллигенции — шляпы чуть сдвинуты назад, пальто расстегнуты, руки за спиной, лица освещены мыслью и обоюдной симпатией. Они то идут вдоль долгих заборов, то удаляются в рощи, то выходят к трамвайной линии и тогда подзывают Пифагора — тот тут же подсакивает с раскрытой лукавой пастью — и берут его на поводок.

— Да, Бо, — чуть приостановился Пулково, — третьего дня натолкнулся в «Вечерке» на сообщение о тебе. Что же ты не хвастаешься? Назначен главным хирургом РККА! Ну, не гигант ли?

Градов слегка поморщился, однако принял предложенный гимназический тон.

— Да-с, милостисдарь, мы теперь в генеральских чинах, не вам чета. Мое превосходительство! Ты, жалкий физик, не можешь велосипеда себе купить, а у меня «персоналка» с шофером-красноармейцем! Слопал? На здоровье!

Пулково залез безил вокруг с услужливой шляпой подхалима:

— Мы, ваше превосходительство, это дело даже очень понимаем и уважаем, с нашим полным уважением...

Градов вдруг остановился и сердито ткнул тростью в ствол ближайшей сосны:

— Я знаю, что ты имеешь в виду, Лё! Эти мои внезапные выдвижения последнего года! Вчера еще без всяких чинов, а нынче уже и завкафедрой, и главный консультант наркомздрава, вот теперь и РККА... — Он все больше волновался и обращался уже вроде бы не к своему закадычному Лё, а как бы бросал вызов некоей большой аудитории. — Ты, надеюсь, понимаешь, что мне плевать на все эти чины?! Я всего лишь врач, только лишь русский врач, как мой отец, и дед, и прадед! Ничего дурного я не сделал, решительно ничего героического, но я всего лишь врач, а не... не...

Пулково ухватил друга под руку, повлек дальше по пустынной аллее. Слева уже кружил, подпрыгивая и заглядывая в лицо, Пифагор.

— Ну, что ты так разволновался, Бо? От тебя не грех и сройства ждут, а добра, помощи...

Градов с благодарностью посмотрел на Пулково: этот всегда найдет нужное слово.

— Вот именно, — сказал он уже мягче. — Вот только оттого я и принимаю эти посты, ради больных. Ради медицины, Лё, ты понимаешь, и, в частности, ради продвижения моей системы местной анестезии при полостных операциях. Ты понимаешь, как это важно?

— Объясни, пожалуйста, — серьезно, как ученый ученому, сказал Пулково.

Градов мгновенно увлекся, в лучших традициях ухватил друга за пуговицу, потащил.

— Понимаешь, общий наркоз, во всяком случае, в том виде, как он сейчас у нас применяется, весьма опасная штука. Малейшая передозировка, и последствия могут быть... — Он вдруг осекся, будто пораженный догадкой... — малейшая передозировка, и... — Он оперся плечом о ствол сосны и тяжело задышал.

«Как это я раньше не догадался, — думал он. — Эфир в смеси с хлороформом. Вогнали в своего командарма лишнюю бутылку проклятущей смеси, и дело было сделано. Да-да, припоминаю, тогда еще мелькнуло, что пахнет эфиром сильнее, чем обычно, но...»

Теперь уже опять Пулково тянул его.

— Ну, пойдем, пойдем, Бо! Давай-ка просто подышим, помаршируем, разомнем старые кости!

Не менее четверти часа они быстро шли по просеке и не разговаривали. Потом свернули в редкий березняк и разошлись среди высоких белых стволов. Пифагор сновал между ними, как бы поддерживая коммуникацию. Вскоре, впрочем, и другая коммуникация возникла, звуковая. Ее завел Леонид Валентинович, явно напоминая Борису Никитичу те времена, когда они, гимназисты, вот так же бродили по лесу, время от времени затевая оперные дуэты.

— Дай руку мне, красотка, — гулким басом запрашивал Пулково.

— Нет, вам не даст красotka, — тенорком ответил Градов, ну, суший Собинов.

Лес вскоре кончился. Оказавшись на обрыве над Москвой-рекой, они пошли по его краю в сторону дома. Пулково, как с чувством выполненного долга — находился, мол, надыхался, — теперь раскуривал трубочку.

— Ну, а что у тебя, Лё? — спросил Градов.

— Со мной происходят странные вещи, — усмехнулся Пулково. — С некоторого времени стал замечать за собой хвост.

— Хвост женщин, как всегда? — тепло улыбнулся Градов. Вечный холостяк, физик пользовался в их кругу устойчивой репутацией сердцееда, хотя никто не мог бы вспомнить никаких особенных фактов сердцеедства с его стороны.

— Если бы женщины, — усмехнулся снова Пулково. — Пока что за мной ходят мужчины с явным отпечатком Лубянки на лицах. Впрочем, может быть, у них есть и женщины для этой цели.

— Они! Опять они! — воскликнул Градов. — Какого черта им надо от тебя, Лё?

Физик пожал плечами:

— Просто понятия не имею. Неужто моя поездка в Англию, переписка с Резерфордом? Право, смешно. Кого в ГПУ интересуют теоремы атомного ядра?

Борис Никитич посмотрел сбоку на своего всегда такого уверенного в себе и ироничного друга и вдруг подумал, что у того, возможно, нет никого ближе, чем он, на свете.

— Слушай, Лё, хочешь я поговорю с кем-нибудь там у них, наверху, попытаюсь узнать?

— Нет-нет, Бо, не нужно... Я, собственно, просто так тебе сказал. Ну, на всякий пожарный...

— Слушай, Лё, почему бы тебе к нам не переехать? Скажем, на полгода? Пусть они увидят, что ты не один, что у тебя большая семья.

Лсонид Валентинович растроганно положил руку на плечо друга:

— Спасибо, Бо, но это уже лишнее. Сейчас все-таки не военный коммунизм.

Вечером на даче состоялся один из тех ужинов, что становились как бы вехами в жизни маленького клана, — полный сбор. Чаще всего он объявлялся в связи с приездом из Минска комбрига Никиты и Вероники; однако возможность всем увидеться была только внешним поводом. Каждый понимал, что главная ценность полного сбора состоит в проверке прочности основ, в оживлении того чувства цельности, от которого у мамы Мэри иногда просто перехватывало дыхание.

Итак, все уже, или почти все, собрались вокруг стола, нет только Нинки; эгоза, разумеется, опаздывает.

— Где же эта чертова Нинка? — надувает губы капризная Вероника.

Красавица за истекший год весьма раздулась, еле помещается в широченном, специально сшитом полесском платье. Губы и нос у нее припухли, каждую минуту она готова заплакать.

«Я старше Нинки на каких-нибудь несколько лет, — думает она, — а вот сижу тут брюхатая, как деревенская дура, а Нинка небось где-нибудь слушает Пастернака или у Мейерхольда крутится... И все Никита, это все он, эгоист противный...»

Борис Никитич, сияя, потянулся к невестке, кольнул бородашкой в щеку, поднял бокал, обращаясь к ее огромному животу:

— Уважаемый сэр Борис Четвертый! Надеюсь, вы меня слышите и готовы подтвердить, что в отличие от нынешнего поколения революционеров вы собираетесь восстановить и продолжить градовскую династию врачей!

Вероника скривила рот — шутка тестя показалась ей тошнотворней всей расставленной на столе великолепной кулинарии. Никита встревоженно к ней повернулся, но она все же преодолела отвращение и вдруг неожиданно для себя ответила тестю вполне сносной, в позитивном ключе, шуткой же:

— Он спрашивает, в какой медицинский институт поступать, в Московский или Ленинградский?

Все вокруг замечательно захохотали.

— Что за вопрос?! — грозно взревел Борис III, то есть профессор Градов. — В мой институт, конечно, к деду под крыло!

Все стали шумно чокаяться и закусывать, а Вероника, опять же к полному собственному изумлению, вдруг взалкала маринованных помидоров и придвинула к себе целое блюдо.

Тут захлопали входные двери, протопали быстрые шаги, и в столовую вбежала Нина; темно-каштановые волосы растрепаны, ярко-синие глаза пылают в застойном юношеском вдохновении, воротник пальто поднят, под мышкой портфель, на плече рюкзак с книгами.

— Привет, семейство!

Взвизгнув, бросилась к Веронике, поцелуй в губки и животик, плюхнулась на коленки к брату-командиру, с трагической серьезностью пожала руку брату-партработнику — «Наше вам, товарищи твердокаменные!» — будто английская леди, протянула руку для поцелуя Леониду Валентиновичу Пулково и, наконец, всех остальных одарила поцелуями. Самый нежный поцелуй достался, конечно, Пифочке, Пифагору.

— Хотя бы по случаю приезда брата могла прийти вовремя, — проворчала Мэри Вахтанговна.

Нина, еще не отдышавшись то ли от бега, то ли от буффонады, а может быть, от «исторического возбуждения», вытащила из рюкзака свежий номер «Нового мира», швырнула его на стол — пироги подпрыгнули.

— Ну-с, какво?! В городе дикий скандал! Сталинисты рычат от ярости. Вообразите, ребята, весь тираж «Нового мира» с «Непогашенной луной» конфискован! Совсем с ума посходили! У них почва уходит из-под ног, вот в чем дело!

Все собравшиеся улыбались, глядя на возбужденную девчонку. Даже мама Мэри хмурилась только при-

творно, с трудом скрывая обожание. Всерьез хмурился лишь Кирилл. Он сурово постукивал пальцами по столу и смотрел на сестру суженными глазами, едва ли не в стиле следователей ГПУ.

Нина же с изумлением вдруг поняла, что присутствующие, что называется, «не в курсе». То, что буквально ярило факультет, да и вообще всю «молодую Москву», здесь, в Серебряном Бору, было лишь каким-то отдаленным звуком, вроде погромохивания трамвая.

— Позвольте узнать, мисс, что это за «Луна», что наделала такого шума? — поинтересовался Пулково.

— Повесть Пильняка, неужели не слышали?

— А о чем эта повесть, малыш? — спросил отец.

— Ну, вы даете, народы! — захохотала Нина. — Помните, прошлой осенью? Смерть командарма Фрунзе в Солдатёнковской больнице? Ну вот, я еще не читала, но повесть именно об этом, Пильняк намекает на подозрительные обстоятельства...

Она осклась, заметив вдруг, что все лица за столом окаменели.

— Что такое с вами, народы?

За столом воцарилось неуклюжес молчание. Нина переводила взгляд с одного на другого. Отец сидел неподвижно, глаза его были закрыты. Мать тревожно смотрела на него, дрожащим голосом бормотала что-то растерянное, можно было уловить: «...какие, право, неуместные... странные... такой вздор... глупые сплетни...» Пулково застыл с не донесенной до рта рюмочкой водки. Тихо поскуливал Пифагор. Агаша с поджатыми губами терла полотенцем совершенно чистое блюдо. Кирилл углубился в тарелку с винегретом. У Никиты на лице было написано почти открытое страдание. В глазах беременной красавицы быстро скапливалась влага.

Напряжение было прервано звонком в дверь. Агаша просеменила открывать и вернулась с дюжим и румяным военным. Тот стукнул каблуками, прямо по-старорежимному, отдал честь, заорал:

— Младший командир Слабопстуховский! По вашему приказанию, товарищ профессор, машина из Первого военного госпиталя!

Борис Никитич посмотрел на часы, слабо вздохнул.

— Ой, уже половина восьмого, — встал, поцеловал Мэри Вахтанговну. — Я вернусь сразу после операции.

Младший командир Слабопетуховский направился к выходу, на ходу подкрутив карикатурный ус, что-то шепнул тут же зардевшейся старой девушке Агафье. Профессор вышел за ним.

Мэри Вахтанговна, гордо подняв подрагивающий подбородок, демонстративно не смотрела в сторону дочери.

— Какая жестокость, — проговорила она. — Какая самовлюбленность! Так ничего не замечать! Отец жертвует всем ради своих больных, ради своего подвижничества! Не знает ни дня, ни ночи...

— Да что, в конце концов, происходит?! — воскликнула Нина. — Что за МХАТ тут разыгрывается?

Никита положил сестре на плечо свою весомую руку с шевроном.

— Спокойно, Нинка. — Он повернулся к матери и мягко спросил: — Мама, может быть, мы должны объяснить Нинке?..

Мэри Вахтанговна резко встала из-за стола.

— Не вижу никакой необходимости! Нет ничего, что нуждается в объяснении! — Драматически сжав руки на груди, она быстро вышла из столовой.

Никита, шепнув сестре: «Поговорим завтра», пошел вслед за матерью. Весело начавшийся ужин дымился в развалинах.

Кирилл как бы с некоторой брезгливостью кончиками пальцев оттолкнул от себя номер «Нового мира» и исподлобья уставился на Нину.

— Если этот клеветнический номер был запрещен, где ты его достала, позволь спросить?

Нина схватила журнал, выпалила прямо брату в лицо:

Не твое дело, сталинский подголосок!

Кирилл совсем уже в партийном стиле шархнул кунаком по столу:

— Ты считаешь себя идейной троцкисткой?! Дура! Пиши лучше свои стишки и не лезь в оппозицию!

Отшвырнув стулья, оба молодых отпрыска Градовых вылетели из столовой в разные стороны.

Агаша, вскрикнув уже даже и не в стиле МХАТа, а прямо в своей природной замосквореченской, то есть Малого театра, манере, скрылась на кухне.

В полной растерянности разъехался четырьмя ланями по паркету Пифагор.

За недавно еще густо населенным столом остались только Пулково и Вероника. Она приложила платок к глазам, стараясь не расплакаться, но потом высморкалась в этот платок и неожиданно рассмеялась.

— Наш Кирка совсем уже очумел по партийной линии, — сказала она.

Пулково налил себе рюмочку и подцепил треугольничек соленого груздя.

— Мда-с, и всюду страсти роковые, — произнес он как раз то, что и должен был произнести холостяк джентльмен, глядя на ссору в большом семействе.

Вероника улыбнулась ему, показывая, что помнит, как год назад в этом доме они едва ли не флиртовали.

— Вот видите, Леонид Валентинович, еще год назад здесь, помните, Мэричкин день рождения, я крутилась, кокетничала, а сейчас... — Она показала ладонями, будто крылышками, на живот. — Вот видите, как изуродовалась.

— Ваша красота, Вероника Александровна, немедленно восстановится после родов, — сказал он.

— Вы думаете? — совсем по-детски спросила она и тут же накуксилась. — Ох, какая дура!

Пулково глянул на часы, встал прощаться, взял руку Вероники в обе ладони.

— Между прочим, я сейчас часто играю на бильярде с одним интересным военным, комполка Вадимом

Георгиевичем Вуйновичем. Он нередко вспоминает вас с Никитой... вас особенно...

— Не говорите ему, что мы приехали! — воскликнула она.

В следующий момент оба вздрогнули: из кабинета начали разноситься бурные драматические пассажи рояля. Пифагор бросился к дверям, ударил в них передними лапами. Выскочила Агаша, схватила его за ошейник:

— Тише, Пифочка, тише! Теперь наша мамочка сама лечатся!

Мэри Вахтанговна музицировала весь остаток вечера. Нине в ее комнате наверху иногда казалось, что рояль обращается прямо к ней, то требует, то просит сойти вниз и объясниться. Она злилась на эти воображаемые призывы: сами что-то скрывают от нее, а потом устраивают сцены. Обвиняют в равнодушии, а самим наплевать на жизнь дочери! Разве хоть раз мать или отец, не говоря уже о братьях, спросили, что происходит в «Синей блузе», в «Лито», в отношениях с друзьями, с Семеном... Все разговаривают с ней только каким-то раз навсегда усвоенным дурашливым тоном, как будто она не взрослеет, не мучается проблемами революции. Да и что для них революция? Они просто счастливы, что она отходит на задний план в жизни страны, что прежняя их комфортная обыденщина так быстро восстанавливается. Чем, по сути дела, мои родители отличаются от нэпачей, от какого-нибудь Нариман-хана из «Московского Восточного общества взаимного кредита», о котором недавно писал Михаил Кольцов? Тот ликует в своем банке под защитой швейцаров в зеленой униформе, здесь — дворянские фортепианные страдания, вечерние туалеты для выездов в оперу... «Нормальная жизнь» возвращается, какое счастье!

Не раздеваясь, она валялась на своей кровати, пытаясь читать «Непогашенную луну», но не читалось никак, строки ускользали, набегали одна за другой досад-

ные мысли: «Как-то не так я живу, что-то не то я делаю, почему я позволяю Семену так себя вести со мной, почему я стесняюсь своей романтики, своих стихов, почему я не откровенна сама с собой и не могу сказать себе, что на ячейке мне скучно, почему...»

Она заснула с открытой книжкой «Нового мира» на животе и очнулась только от шума подъезжающего автомобиля. Хлопнула калитка. Нина выглянула в окно и увидела своего любимого отца. Веселый, в распахнутом пальто, он шел в свете луны по тропинке к дому. Значит, операция прошла удачно. Стукнула дверь, застучали каблучки. Любимая мать побежала навстречу мужу. Слышны их веселые голоса.

Нина погасила лампу, но продолжала сидеть, прижавшись лбом к стеклу. Луна парила в чистом небе над серебряноборскими соснами. По тропинке к дому теперь шествовал, поводя гвардейскими плечами, младший командир Слабопетуховский. Послышался его паровозный голос: «А я гляжу, печка-то у вас на кухне малость дымит, Агафья Власьевна». — «Ой, не говорите, товарищ Слабопетуховский! — отвечал пронзительный от счастья голос Агаши. — Не печь, а чистый бегемот! Сажень дров на неделю!»

Нина вытащила тоненькую книжечку Пастернака, открыла наугад и прочла:

Представьте дом, где пятен лишена
И только шагом схожая с гепардом,
В одной из крайних комнат тишина,
Облапив шар, ложится под бильярдом.

Тишина в конце концов действительно улеглась. Сквозь дремоту Нине почудилось, что по соседству, в спальне родителей, кто-то занимается любовью. «Но этого же не может быть», — улыбнулась она и заснула.



ГЛАВА IV

Генеральная линия

Северное бабье лето наутро обернулось сильным холодным дождем, лишенным какого-либо поэтического контекста. Кирилл Градов в кургузом пальтишке и рабочей кепочке, спасая книги за пазухой, быстро шел по улице поселка к трамвайному кольцу. На полпути его догнала легковая машина. Рядом с водителем сидел старший брат, Никита, в полной форме комдива. Машина притормозила, Никита открыл дверь и пригласил Кирилла:

— Слушай, я еду в наркомат. Садись, подвезу!

Не замедляя шага, Кирилл махнул рукой:

— Нет, спасибо! Я на трамвае!

Никита сделал знак шоферу, и автомобиль медленно поехал вровень с идущим. Красный командир с улыбкой смотрел на нахохленного партработника.

— Перестань дурить, Кирка! Ты же промокнешь!

— Ничего, ничего, — пробормотал Кирилл и вдруг осерчал: — Езжайте, езжайте, ваше превосходительство! Мы к генеральским авто не приучены!

Никита тогда тоже немного разозлился:

— Ух ты, какие гордые нынче у нас марксисты! Да ведь ты и сам сейчас в ранге градоначальника, шутка ли, второй секретарь Краснопресненского райкома!

Не ответив, Кирилл резко свернул за угол. Шофер посмотрел на комдива: прямо или направо? Никита показал — езжайте за ним! Автомобиль повернул за Кириллом, невзначай пересек большую лужу, обдав идущего мутной водой. Никита не поленился наполовину вылезти и встать правой ногой на подножку.

— Послушай, Кирка, я давно тебе хотел сказать. Зачем ты культивируешь этот псевдопролетарский стиль? Ну, где ты откопал этот пальтукан? Дома висят без дела по крайней мере три хороших драповых пальто, а ты ходишь в рогоже! Штаны у тебя на задку так вытерлись, что можно как в зеркало смотреться! Кому и что ты хочешь доказать?

— Ровным счетом ничего и решительно никому! — рявкнул в ответ младший брат. — Оставьте вы все меня в покое! Я получаю партмаксимум сто двадцать три рубля в месяц и должен одеваться и питаться в соответствии с этим. В партии еще сохранился здравый смысл! Мы не пойдем за теми, кто внедряет в РККА дух старорежимного офицера.

Задетый за живое, Никита вызывающе захохотал. Он даже забыл о присутствии шофера с треугольничками в петлицах.

— Ха-ха, ты думаешь, твои любимые вожди такие же аскеты, как ты?

Кирилл ткнул в его сторону гневным указательным:

— Повторяешь мелкобуржуазные сплетни, комдив!

В этот момент в конце улицы появился трамвай, несся на борту рекламу известного лэфовца Александра Родченко: «Не грустили, вкусно ели Макароны-Вермишели!» Не глядя больше на брата, Кирилл опрометью пропустил к кольцу. Никита сердито захлопнул дверцу машины. Проезжая мимо остановки, он смотрел, как граждане бросаются в вагон, стремясь захватить сидячие места. Признаться, он уже забыл, как это делается.

В сухую погоду в трамвае, несмотря на давку, все шелестят газетами, умудряются их разворачивать над головами или между ног. Нынче намочшие газеты не

шелестели и не спешили разворачиваться, однако граждане все равно хорошо читали. Прогрессивные иностранцы постоянно отмечают, что в СССР самая читающая публика. Кирилл недавно дискутировал вопрос о печати с помощником отца Саввой Китайгородским. Собственно говоря, он даже не дискутировал — что можно дискутировать с типичным буржуазным либералом? — а проверял на Савве правильность партийных установок.

Естественно, мусье Китайгородский недоволен. Чего стоят все послабления нэпа, если печать осталась в руках у правящей партии, если ни одна дореволюционная газета не восстановлена?

Вот чего они хотят: не только нэповских лавок, но разнузданной прессы. Значит, в этом направлении мы держим правильный курс. Никаких поблажек. Пресса — здесь Троцкий прав — острейшее оружие партии!

Кирилл стоял в углу трясущегося вагона, зажатый с трех сторон мокрыми, хмурыми пассажирами такого же, как и у него, пролетарского обличья. Газетные заголовки маячили у него перед глазами. Пресса партии богата событиями. И очень хорошо, что они даются в партийной интерпретации: человека не бросают в одиночку на съедение факту, наоборот, учат потреблять факты, оценивать их с классовых позиций.

Расстрел за растрату; избирательного права лишены кулаки, служители культа, бывшие царские чиновники; увеличивается экспорт леса; за покупку жилплощади — выселение; «Рычи, Китай!»; Футбол: сборная сахарников и совторга бьет «Пролетарскую кузницу»; центральный аэродром им. т. Троцкого, новые аэропланы «Наркомвоенмор», «Л.Б.Красин», «Имени тов. Нетте», полет шара, аэронавт — слушатель академии воздухофлота тов. Федоров... Много, много фактов, жизнь в красной республике бурлит; вот еще — отповедь Пилсудскому; а вот вам и реклама — краски, хна-басма, «Тройной» одеколон, вежеталь... на потребу мещанству...

Отвернувшись к окну, Кирилл вытащил свое чтение — толстую книгу. Он делал вид, что не замечает, как две его постоянные попутчицы, девчущки лет двадцати, совсем не противные на вид секретарши-машинистки, поглядывают на него и хихикают.

— Все-таки он очень хорошенький, не находишь? — сказала одна.

— Очень уж серьезный, — сказала другая. — Что же он читает? — Она вполне бесцеремонно заглянула Кириллу под локоть. — Ну и ну, «Учебник хинди»!

Кирилл молчал, стискивал зубы, хиндусские слова мельтешили перед ним без всякого смысла, будто только добавляли вздору в общий вздор вокруг его столь цельной личности: споры с Нинкой и Никиткой, мокрая, гнусная одежда, идиотизм газет, волнение и трусость от близости двух этих девиц.

Трамвай подходил к Песчаным, там пересадка. Пассажиры готовились к еще одной атаке.

Причина, по которой комдива Градова в этот раз вызвали в Москву, была, с его точки зрения, несколько надуманной. Новый наркомвоенмор Климент Ефремович Ворошилов делал большой доклад о современной военной стратегии, что ж, прекрасно, в добрый час, но зачем же отрывать такое количество командиров на местах от неотложных практических дел, в частности от отработки взаимодействия кавалерии и танкеток в условиях наступательных действий на лесостепной равнине? Да и в личном смысле эта поездка была в высшей степени не ко времени — Вероника на последнем месяце беременности. Никита надеялся, что она на этот раз останется в Минске под присмотром привычных и вполне опытных врачей окружного госпиталя, которые к тому же знали все ее «бзики», но она и слышать ничего не хотела: «Упустить поездку в родную Москву, в бурлящую столицу, вырваться хоть на неделю из этого затхлого Минска; даже не думай об этом!»

Провинциальное прозябание, бессмысленная трата «лучших лет» были едва ли не главными темами их домашних разговоров. В лучшие дни он шутил с женой, называя ее «четвертой чеховской сестрой» с этим их вечным журавлиным кличем: «В Москву, в Москву!»; в худшие, когда она впадала в крошечный мрак, Никита иной раз попросту выскакивал из дома и отправлялся без всякого дела в штаб, где часто сидел в темном кабинете и отгонял свои собственные, кронштадтские мраки.

И вот теперь он сидит в большом конференц-зале наркомата, смотрит на лоснящуюся физиономию докладчика, а думает только о жене, о том, что, не дай Бог, это начнется у нее в каких-нибудь Петровских линиях или в Лубянском пассаже, куда она, конечно же, отправилась инспектировать модные лавки.

Ворошилов, похоже, просто наслаждался своей ролью главнокомандующего, военного философа и стратега. Плотненький, цветущий, с маленькими аккуратными усиками, он даже в своей идеальной, явно сшитой на заказ форме выглядел преуспевающим купчиком с Кузнецкого моста. При внимательном наблюдении в его лице со смысленными глазками можно было уловить промельки исключительной глупости. Время от времени, как бы напоминая о себе, кто он такой, Климент Ефремович на мгновение застывал, фиксировал монументальность.

После лекции в коридоре Никиту окликнули трое бравых командиров. Одного из них он сразу узнал — Охотников! Они обнялись. Охотников бросил взгляд на его петлицы:

— Ого, ты уже комдив, Никита!

— Вот уж не ожидал тебя увидеть, Яков, — сказал Никита. — Давно из Закавказья?

— Да я сейчас на курсах, в академии. Набираюсь премудрости, — смеялся Охотников. — Знакомься с моими однокашниками. Аркадий Геллер, Володя Петенко.

По манере рукопожатия Никита с удовольствием опознал кадровых крепких бойцов.

— Очень рад. Позвольте, Аркадий, а вам не кажется, что мы уже встречались?

— Конечно, — сказал Геллер. — На Польском фронте, в октябре двадцатого. Бронепоезд «Гроза Октября».

— Совершенно верно! — воскликнул Никита.

Из конференц-зала в этот момент вышел в сопровождении высших чинов Ворошилов. Под мышкой у него была папка с только что прочитанным докладом. Круглая физиономия поворачивалась, очевидно ожидая восторженных взглядов со стороны курящих в коридоре командиров. Охотников довольно небрежно махнул головой в сторону наркома:

— Ну, как тебе доклад нового командующего?

Никита дипломатически пожал плечами.

— Ну, не новый ли Карл Клаузевиц? — насмешливо процедил Геллер.

— Бо-о-льшой теоретик! — хохотнул Петенко.

Никита засмеялся:

— Я вижу, друзья, Москва и на вас действует своей крамолой.

Охотников взял его под руку, заглянул в лицо:

— А что же? Оппозиция, конечно, слишком горлопанит, но во многом она права. Армия лучше других знает хватку бюрократов.

Вспоминая потом этот короткий разговор, Никита пришел к выводу, что он открыл ему сразу несколько важных тем, которые бередили столицу. «Бюрократами» здесь называли сталинистов, то есть большинство существующего Политбюро. Слушатели Военной академии имени М.В.Фрунзе близки к высшим военным кругам. Высказывания Охотникова, Геллера и Петенко явно показывают, что в этих кругах зреет раздражение против навязывания РККА «бюрократического» стиля руководства. Если эти круги еще не стали союзниками оппозиции, то, во всяком случае, они сим-

патизируют ей, хотя бы уж потому, что она выступает против тех, кто после двух блестящих личностей, Троцкого и Фрунзе, продвинул на высший военный пост страны бездарного Ворошилова. Ну, а симпатии армии — это всегда достаточно серьезно.

По сути дела, разговор прервался в самом интересном месте, сожалел потом Никита. Он увидел проходящего мимо по коридору комполка Вуйновича. Он даже столкнулся с ним взглядом, но тот немедленно отвернулся, не проявляя ни малейшего желания остановиться.

— Вадим! — крикнул Никита.

Вуйнович, не оборачиваясь, прошел по коридору и свернул за угол.

— Вадим, черт тебя дерит!

Оставив «академиков», Никита побежал по коридору, тоже повернул за угол и остановился. Теперь они были одни в пустом крыле здания. По паркету четко стучали удаляющиеся шаги Вуйновича.

«Как это глупо, — думал Никита, — порвать с лучшим другом из-за какой-то двусмысленной ситуации, в которую попал отец друга. Даже если бы он был замешан в то темное дело, то я тут при чем? А он к тому же и не замешан вовсе, а просто, просто... Эх, как это глупо!»

— Вадим, это глупо! Давай поговорим!

Не оборачиваясь, Вуйнович открыл дверь на лестницу и исчез.

Секретарши, делопроизводители и охрана Московского городского комитета ВКП(б) без излишнего восторга, мягко говоря, взирали на вторжение рабочих партийных масс в кожанках и коротайках, кепках и красных косынках. В учреждении давно уже все было доведено до вполне приличного уровня — паркет натерт, ковровые дорожки расстелены и на мраморных лестницах закреплены медными прутьями, буфетчицы в белых наколках разносили по кабинетам чай и свежайшие бутерброды, разговоры велись приглушенно, пепельницы немедленно очищались, бюсты великого Ле-

нина протирались самым тщательным образом, может быть, даже лучше, чем предшествовавшие им мраморные нимфы Коммерческого общества, и вдруг явился пролетариат, как еще иначе скажешь, громко окликают друг друга, топают, сморкаются, с подошв сметают ошметки грязи, распространяется запах неумытости и махры; как будто военный коммунизм вернулся.

Конференц-зал на третьем этаже забит работниками горкома и райкомов, партактивом крупнейших предприятий. Кирилл Градов в своей вечной затрапезе, люстриновом «спинжаке» и ситцевой косовороточке, по внешнему виду гораздо ближе к людям окраин, чем к холеным людям центра, и этим он чрезвычайно доволен. Впрочем, старшие товарищи высоко ценят его теоретическую подкованность, а к маленьким псевдодемократическим чудачествам относятся снисходительно: у молодого человека впереди достаточно времени, чтобы постичь неписанные правила партийного этикета. Державший речь секретарь МК как раз являл собой идеальный тип растущего партийца середины двадцатых годов: сталинского фасона френч, рыковская борода, бухаринская всезнающая усмешечка.

— Товарищи, — говорил он, — оппозиция предпринимает отчаянные усилия обратиться к рабочим через голову партии. Группа их лидеров явилась в ячейку завода «Авиаприбор», была предпринята попытка прямого срыва партийных решений. Другие организовали собрание ячейки группы тяги Рязанской железной дороги, и рабочие вынуждены были принять председательство таких сомнительных товарищей, как Ткачев и Сопронов! Там выступал член Политбюро Троцкий. В ячейке Наркомфина выступал Рейнгольд.

Оппозиция также разослала своих гастролеров по заводам «Богатырь», «Каучук», «Морзе» и «Икар». С прискорбием следует заметить, что Госплан и Институт красной профессуры стали настоящими форпостами оппозиции, их люди совершают постоянные вылазки и агитируют рабочих Трампарка и Завода Ильича.

То же самое происходит в Ленинграде, но это сейчас не наша забота. Главная задача коммунистов Москвы — пресечь все контакты вождей оппозиции с рабочими. Говоря откровенно, лучшим решением вопроса было бы подключение органов ГПУ, но мы сейчас не можем пойти на это: поднимется страшный вой. Сегодня мы должны разослать группы нашего актива по всем предприятиям, где, по надежным сведениям...

Секретарь МК ухмыльнулся. «Красноречивая ухмылка, — подумал Кирилл, — сугубо чекистская, все- сильная, наглая и темная ухмылка». Он вдруг почувствовал, что ненавидит этого человека, но тут же отогнал это предательское «либеральное» чувство. Зачем видеть в нем гадкого человека, вообще отдельного человека? Это представитель партии, и сейчас у нас одна задача — не допустить раскола!

— ...По надежным сведениям, — продолжал секретарь МК, — вечером будут предприняты новые попытки срыва партийных решений. Товарищ Самоха, немедленно приступайте к распределению товарищей по группам.

Закончив выступление, секретарь МК спустился к массам, ответил на несколько вопросов, в основном отсылая спрашивающих к товарищу Самохе, потом с явным облегчением удалился во внутренние покои. Там, за дверью, мелькнул дивный, располагающий к отдыху диван.

Товарищ Самоха, жилистый чекистский оперативник в традиционной кожанке, которую он явно донашивал со времен более веселых, деловито распределял путевки по заводам. Протянув Кириллу бумагу со штампом ВЦСПС (узаконенная липа, на случай оппозиционных провокаций, будто МК и ГПУ организовали обструкцию), он без церемоний сказал:

— Ты, Градов, со своей группой отправишься на объединенное собрание тяги, пути и электротехники Рязанской жэдэ. Там к вам подойдут наши товарищи из Управления. Положение напряженное. Могут появиться-

ся высшие вожди оппозиции. Среди рабочих там брожение, а всем известно, что Лев Давыдович на толпу действует гипнотически. Вы должны провалить их резолюции! Любыми методами! Постоянный контакт с ГПУ! Как можно больше личных бесед с рабочими! Запоминайте колеблющихся. Все ясно?

Кирилл подумал: «Вот и моя война начинается, обходные маневры, обманные действия, дымовые завесы».

— Все ясно, товарищ Самоха!

После раздачи путевок актив был приглашен на обед в горкомовскую столовую. Делегаты отправились туда не без удовольствия: обещались разносолы вроде семги, тушеного гуся, заливного поросенка. Кирилл, однако, остался верен себе. Товарищи могут смеяться над уравниловкой, но мне с моим буржуазным благополучным прошлым надо держаться своих принципов.

Он вышел из МК и на Солянке засел в дешевой столовке. Мясные щи, макароны по-флотски и кисель стоили ему меньше рубля, точнее 87 коп. Сидя у окна со своей едой, он смотрел на едоков в сводчатом зале столовки и в окна на москвичей, вся жизнь которых, казалось, вертелась вокруг трамваев: прыгают в трамвай, выпрыгивают из трамвая, смотрят на часы в ожидании своих «Аннушек» и «Букашек», разбегаются с остановок, чтобы пересесть на другие трамваи. В Москве в последние годы установилась почему-то немыслимая спешка, все бегут, впрыгивают, выпрыгивают, кричат друг другу «ну, пока!», «всего!»; и никто не догадывается, что сегодня произойдут события, которые, может быть, определят будущее страны на данный конкретный период реконструкции.

Ранним вечером того же дня Вероника Градова, молоденькая комдивша, сидела в сквере, что на углу Кузнецкого и Петровки. Весь день она ходила по лавкам, приценивалась, примерить, увы, ничего уже было нельзя, кроме шляпок. В конце концов она даже купила

себе кое-что, глубоко заветное, а именно контрабандную польскую жакетку. Недавно как раз прочла сатирические строчки Маяковского в «Известиях»: «Знаю я — в жакетках этих на Петровке бабья банда. Эти польские жакетки к нам привозят контрабандой» — и зажглась в своем Минске — непременно, непременно оказаться на Петровке и заполучить польскую жакетку. Не все же время брюхатиной буду ковылять, скоро уж и обтяну жакеткой осиную талию, примкну к этой «бабьей банде» на Петровке. Сатирик, сам того не желая, из негативного образа сделал какой-то клан посвященных, дерзких москвичек в «польских жакетках». Пока что все-таки придется пребывать в ничтожестве.

Она вдруг поняла, что ее больше всего ранит — отсутствие или полное равнодушие мужских взглядов. Раньше у каждого мужчины при виде красавицы появлялось в глазах некоторое обалдение, и не было ни одного, буквально ни одного, который не посмотрел бы вслед. Теперь никто не смотрит, все утрачено, беременность — это преждевременная старость.

Она нервно посматривала на часы: Никита опаздывал, а Борис IV толкнул пару раз ножкой. Почему все так уверены, что будет мальчик? Градовская патриархальщина. Вот возьму и рожу девчонку, а потом брошу своего солдафона и уеду в Париж, к дяде. Выращу французенку, звезду экрана, новую Грету Гарбо... уеду с ней еще дальше, в Голливуд... Вот так когда-нибудь мое лицо — ее лицо — вернется в эту паршивую Москву, как плакат Мэри Пикфорд на афишной тумбе.

Ей стало не по себе, она приложила руку к животу под широченным пальто, дыхание сбивалось. Не дай Бог, начну прямо здесь. За афишной тумбой с именами Пикфорд, Фербенкса и Джекки Кугана, а также гимнастов Ларионова — Дьяболло остановился извозчик. С дрожек соскочил военный. Она не сразу сообразила, что это Никита.

— Ну, наконец-то! — вскричала она, когда он приблизился, весь в своих нашивках и бранденбурах.

Никита с улыбкой поцеловал ее.

— В вашем положении, сударыня, в постельке надо лежать, а не назначать свидания господам офицерам!

Вероника тут же разнервничалась, закуксилась, чуть не расплакалась.

— Неужели ты не понимаешь, что я не могу без Москвы? Да для меня просто пройтись по Столешникову — истинное счастье! Что же, в кои-то вски приехать в Москву и сидеть в этом вашем Серебряном Бору, выращивать градовского наследника? Ну уж, это просто издевательство!

Никита стал целовать ее в щеки, в припухший нос.

— Спокойно, спокойно, милая. Скоро все уже будет позади!

Вероника отворачивалась.

— Ты только и боишься за своего детеныша, а на меня тебе наплевать!

— Ну, Никочка, ну, деточка!

Она вытерла лицо, спросила чуть поспокойнее:

— Ну, что там, в этом вашем дурацком наркомате? Перевели тебя наконец в Москву?

— Напротив, меня назначили замначштаба Запада.

— Значит, опять этот вонючий Минск, — с унынием протянула Вероника. — Если бы хоть Варшава была наша.

Никита вздрогнул. Легкомысленная женщина вдруг воткнула булавку в сердцевину тайных стратегических совещаний.

— Что ты говоришь, Ника! Варшава?

— Ну, а что? Все-таки какая-никакая, а столица, Европа. — Она уже сообразила, что коснулась чего-то самого запретного, и теперь не без прежнего наслаждения лукавила, дурачилась: — А что? Надо взять наконец Варшаву, пожить там немного, а потом уйти. Предложи в наркомате.

Никита уже хохотал:

— Киса, киса, ну, перестань валять дурака! Посмотри, какой у меня для тебя сюрприз — билеты к Мейерхольду!

Вероника была поражена.

— Билеты к Мейерхольду?! Да еще и на «Мандат»? Ну, Никита, ты превзошел самое себя! — Давно он уже не видел ее такой сияющей. — Когда это? Сегодня? — Вдруг набежала мгновенная туча. — Но я же не успею одеться!

Никита опять зацеловал все ее щеки и нос.

— Ну, Викочка, ну, Никочка, ну, зачем тебе как-то особенно одеваться? Ты и так вполне одета для... — Тут он сообразил, что чуть-чуть не ляпнул бестактность, и поправился: — Для революционного театра в конце концов. Мы еще успеем поужинать в «Национале», и ты увидишь, там все ахнут от твоего платья с белорусскими мотивами.

Вероника заворчала с неожиданным добродушием:

— Ты просто хотел сказать, что для моего пуза и так сойдет. Знаешь, Никита, из всех этих гнусных мужей ты не самый худший. Господи, как же я мечтала сходить к Мейерхольду!

Объединенное собрание ячеек Рязанской железной дороги состоялось в огромном депо по ремонту паровозов. Депо было настолько огромным, что многосотенному собранию хватило одного угла, где была воздвигнута временная платформа и подвешен на кабеле мостового крана портрет бессмертного Ильича. За спинами аудитории между тем зиждились молчаливые паровозы, что придавало событию некий восточно-мистический оттенок, будто боевые слоны замыкали выходы с какой-нибудь площади Вавилона.

Аудитория была по большей части в спецовках — еще не успели переодеться после смены; большинство голов накрыто кепками, косынками. Проинструктированные сегодня в горкомс депутаты вперемежку с «кожаными куртками» сидели кучками, зорко оглядыва-

лись. Иной раз появлялись личности в обиходных пиджаках с галстуками. На таких смотрели с подозрением, особенно если туалет дополнялся шляпой, а тем паче очками.

В общем, было сыро и мерзко, и, несмотря на внутреннюю разгоряченность, собрание иногда прошибал лошадиный пот: цех не бездействовал, беспартийные рабочие открывали гигантские или, так скажем, циклопические ворота, присвистывала позднесентябрьская непогода.

«Почему я не занялся лингвистикой? — вдруг с тоской подумал Кирилл Градов. — Ведь я так люблю языки! Сидел бы сейчас в библиотеке. Однако кто же будет бороться за истинный социализм, если вся интеллигенция разойдется, попрячется в лингвистике, в микробиологии?...»

В президиуме собрания под портретом Ленина сидело несколько представителей оппозиции и «генеральной линии». На трибуне ораторствовал Карл Радек, личность, российскому пролетариату глубоко чуждая, если не подозрительная. Не было недели, чтобы по Москве не начинали расползаться новые радековские шуточки о головоотяпстве советской бюрократии, и звучали они оскорбительно не только для сталинистов, но в некоторой степени и для масс, как бы намекая на извечную косность русского народа. Радек говорил по-русски грамматически правильно, но с очень сильным акцентом, а главное, с какой-то сбивающей с толку интонацией.

От одного только слова «това'истчи» рабочие службы тяги начинали с ухмылкой переглядываться. Конечно, как сознательные члены партии, интернационалисты, они о национальности оратора не высказывались, но уж можно поручиться, что каждому пришло в голову что-то вроде: «слишком жидовствующего жида прислали», или «что-то очень уж еврейский этот еврей», или уж в крайнем случае «какой-то не наш этот товарищ еврей».

Оратор между тем продолжал развивать свои логически убийственные тезисы:

— ...Идея нынешнего ЦК о построении коммунизма в одной отдельно взятой стране разит затхлостью пошехонской старины. Ей-ей, това'истчи («ей-ей» в его устах прозвучало не в смысле «ей-ей», а в смысле «ой-ой»), этот тезис по своей нелепости не может не напомнить сочинений писателя-сатирика Салтыкова-Щедрина о различных старороссийских уездных тугодумах.

Товарищи, сталинский ЦК потчует рабочих гулливеровскими дозами квасного патриотизма, а между тем Советы теряют рабочее ядро, индустриализация тормозится частным капиталом, на международной арене мы буксуем, теряем авторитет среди революционных масс! Товарищи, вождь мирового пролетариата товарищ Троцкий вместе с другими соратниками Ильича призывают вас — вдохнем новую жизнь в нашу революцию!

Радек сошел с трибуны разочарованный — железнодорожников за неделю будто подменили. Поначалу еще слышны были жиденькие аплодисменты и возгласы: «Правильно», «Ура!», «Долой центристов!», но вскоре эти хлопки и выкрики потонули в шиканье, свисте, бешеных воплях: «Долой троцкистов!», «Тащи его из президиума, братцы!», «Никаких компромиссов с оппозицией!», «Заткнуть рты!», «Вон из партии!». Потом уже ничего нельзя было различить, сплошная «буря негодования». Он понял, что тут успели здорово поработать, что было ошибкой вот так легкомысленно ехать в это депо, выступать вот в таком духе, со всеми этими «щедриными» и «гулливерами», да и вообще не было ли ошибкой примыкать сейчас к антисталинскому крылу, вот так активно высовываться?

Кирилл Градов вместе с большинством негодовал, вскакивал со стула, потрясал кулаком, выкрикивая что-то уже не очень-то связное. Его распирало блаженное, вдохновляющее чувство единства. Вот это и есть классовое чувство, говорил он себе, вот оно наконец пришло.

На задах собрания возле одного из ремонтируемых паровозов стояла группа гэпэушников во главе с Самохой. К этим «классовое чувство» в данный момент явно не пришло, потому что оно их никогда и не покидало. Они деловито озирали аудиторию железнодорожников-партийцев, иногда перешептывались. Пока все шло, как задумано.

Из своего третьего ряда Кирилл Градов закричал в президиум:

— Требую слова!

Председательствующий поднял руку со звоночком. И жест, и звук выглядели смехотворно среди ревущей толпы в паровозном депо. Наконец голос председательствующего пробился сквозь крики:

— Товарищи, внимание! Прения продолжаются! В списке записавшихся у нас сейчас очередь товарища Преображенского!

Преображенский, один из лидеров оппозиции, решительно встал из-за стола президиума и, заправив за спину, за ремень складки своей хорошего сукна гимнастерки, направился к трибуне.

— Требую слова в порядке ведения! — кричал между тем Кирилл.

Вдруг на платформу запрыгнули два парня в кепалях, по виду скорее не рабочие, а марьянорошинские мазурики. Криво улыбаясь и распахивая руки, они преградили путь оппозиционеру. Крепыш Преображенский мощно пытался пробиться к трибуне, парни же висели на нем, с ног не сбивая, но не давая сделать и шагу.

— Что за безобразие?! Негодяи! — кричал Преображенский.

Лошадиный хохот гулко разносился в ответ по гигантскому помещению.

Кирилл в этот момент вспрыгнул на платформу с другой стороны и занял трибуну.

— Товарищи, прошу минутку внимания! — что есть силы закричал он.

Собрание чуть-чуть утихло, хотя свист и шиканье все еще слышались то там, то здесь.

— Товарищи, я молодой коммунист, — продолжал Кирилл. — Единство партии — вот что для нас важнее воздуха! Предлагаю осудить раскольнические и высокомерно-вождистские действия товарищей Троцкого, Зиновьева, Пятакова! Предлагаю вынести резолюцию о прекращении дискуссии с оппозицией!

Бурный подъем в зале. Огромное большинство кричало, с шапками в кулаках:

— Правильно! Довольно трепать партию! Трещины не допустим! Долой дискуссию!

Преображенский наконец отделался от своих «кепариков», подошел к трибуне и стукнул кулаком.

— Что здесь происходит?! Организованная провокация?! Я требую, чтобы мне дали слово!

Кирилл, не глядя на стоявшего вплотную к нему человека с бурно вздымающейся грудью, с потоками пота, катящимися по лицу и шее, закричал в зал:

— Предлагаю слова товарищу Преображенскому не давать!

Ответом был новый взрыв антиоппозиционных страстей. Долой! Долой! Долой!

Преображенский махнул рукой и пошел на свое место.

Собрание все-таки продолжалось еще не менее двух часов и закончилось ночью. Оппозиция была разбита в пух и прах.

Расходясь в темноте, спотыкаясь о рельсы, партийцы еще продолжали переругиваться. Преображенский шел в группе своих товарищей и молчал. Почему-то этот ночной проход через железнодорожную территорию напомнил ему что-то из дореволюционных, эмигрантских времен. «Нас выталкивают отсюда, — думал он. — Мы становимся чужими. Как бы снова не оказаться в эмиграции». Обернувшись, он заметил издали юнца, который перехватил у него трибуну. Отстав от товарищей, он дождался его.

Градов, можно вас на минуточку?

Следы неподдельного вдохновения все еще как бы трепстали на молодом лице, если это только не были следы стыда, что вряд ли. Кирилл приостановился.

— В чем дело, товарищ Преображенский?

Преображенский предложил ему папиросу, закурил сам.

— Скажите, неужели вы всерьез не понимаете смысла происходящего? Не понимаете, что оппозиция — это просто попытка остановить Сталина?

— Сталин борется за единство партии, и довольно об этом! — парировал Кирилл.

Преображенский внимательно вглядывался в его лицо.

— Ваш отец — хирург Градов?

— Да. Какое отношение это имеет к дискуссии? — дернулся Кирилл.

Преображенский уронил папиросу и пошел прочь.

— До свидания, товарищ Градов, — бросил он не оборачиваясь.





ГЛАВА V

Театральный авангард

В тот вечер, когда Вероника и Никита Градовы отправились на «Мандат», в репетиционном зале Театра Мейерхольда проходило собрание труппы и актива. Актеры, занятые в сегодняшнем спектакле, были уже в гриме и костюмах, остальные — в модных кофтах и свитерах и, разумеется, в шарфах, длинных, разноцветных, брошенных на плечи, за спину, обмотанных вокруг шеи, — все это составляло впечатляющую гамму: дивная богема Москвы.

Что касается «актива», занимающего задние ряды, теснящегося вдоль стен и даже сидящего на полу в проходах, то большинство его состояло из учащейся молодежи.

Собрание, разумеется, только называлось собранием, на самом деле это было одно из редких «явлений Мастера народу».

Мейерхольд и Зинаида Райх только что вернулись из европейской поездки. «Первая леди» была ослепительна и в чудном великодушном настроении. Изделия высших парижских кутюрье, представленные сейчас в Москве, даже и зависти у театральных дам не вызывали, так космически были недоступны, одно лишь восхищение. В зале различались и жадные взоры мужчин, явно желавших навести беспорядок в роскошном туалете.

Мейерхольд, облаченный в серый, широкий, тоже чертовски заграничный, «в селедочную косточку» костюм, являл собой некоторую сумрачность. Он уже узнал, что недавняя премьера «Ревизора» вызвала сущую свистопляску враждебной прессы. Небрежно отмахивая фразы длинной кистью правой руки, почетный красноармеец Отдельного московского стрелкового полка рассказывал о заграничных впечатлениях.

В театрах Европы полный застой. Дальше Рейнгарда граница не ушла. Постановки на уровне Малого театра, декорации примитивно реалистические. Полное отсутствие стиля, эксперимента. Не просто боязнь эксперимента, но непонимание его смысла. Даже в Италии упадок. Театр Пиранделло еле влачит существование на субсидиях.

Все-таки есть и кое-что интересное. Великолепные церковные церемонии, например. Вот театр! Или негры, джаз, диксиленд, Германия потрясена, огромный успех. наших цыган хорошо бы организовать в эдакую гастрольную труппу. Пока что я стараюсь заполнить негров к себе. Спокойно, спокойно, еще ничего не известно, идут переговоры. Французы поначалу не хотели давать нам визы, боятся «красной заразы». Между тем именно в Париже, да еще, пожалуй, в Лондоне, в левых артистических кругах огромный интерес к нашему театру.

Москва для этих людей становится театральной Меккой. Наша школа провозглашается единственно живым направлением. В этой связи высказывания наших газет о «Ревизоре» выглядят как бездарный заговор смердящей буржуазии. Чего стоят, например, вот такие стишата в «Известиях»...

Он взял со столика газету, с гадливостью потрянул ее за край, газета развернулась, и он прочел:

— «Убийца. Эпиграмма-рецензия на мейерхольдовскую постановку «Ревизора».

Гнилая красота над скрытой костоедой...
О Мейерхольд, ты стал вне брани и похвал.

Ты увенчал себя чудовищной победой,
«Смех», «гоголевский смех» убил ты наповал!

Усталый, несколько надменный мэтр пропал, произошло одно из бесчисленных маленьких чудес мейерхольдовских репетиций. Дурацкая эпиграмма была прочитана таким образом, что все присутствующие разразились хохотом, как бы воочию увидев советского тугодума-сочинителя. Мейерхольд улыбался, довольный. Он рад был вернуться в Москву, к «своим ребятам».

В толпе «актива» на задах залы стояла и Нина Градова, пылающие от восхищения щеки, сверкающие в беспрерывном движении глаза и зубы, взлохмаченная башка. Мейерхольд был ее богом. Видеть и слышать его было не то что счастьем, но каким-то олимпийским озарением. Конечно, она уже забыла, что сегодняшний приход в театр не прост, что среди них сам Альбов, лидер подпольной троцкистской ячейки, что готовится «акция».

Пьеса Николая Эрдмана «Мандат» с самого начала оказалась своего рода бутылкой керосина для и без того раскаленных до грани пожара партийно-комсомольской и интеллектуально-артистической сфер Москвы. Говорили, что буквально каждую реплику в ней надо понимать двояко, что в каждой мизансцене заключены не только сатира и шутовство, но прямая атака против обюрократившихся чекистов, чекистов, центристов, всей этой нечисти, постепенно, но упорно искоряющей всю романтику революции.

На премьере в Театре Мейерхольда в прошлом году так и казалось, что с каждой фразой брызгают керосинчиком на пышущие жаром угли. Часть зала взрывалась восторженным хохотом, аплодисментами, другая пребывала в возмущенном шипении, в шиканье, исторгала возгласы: «Позор!», «Издевательство!», топала ногами, потрясала партийным кулаком, о котором недавно совсем ошалевший (по мнению прежних эстетствующих

щих поклонников) Маяковский сказал так впечатляюще, что мороз пошел по коже: «Партия — рука миллионная, сжатая в один громающий кулак!»

Такое возможно было, пожалуй, в те времена только в Москве, чтобы авангардистский спектакль стал ареной противостояния двух политических сил, оппозиции и генеральной линии правительства.

В тот вечер «Мандат» давался уже в который раз и ничего особенного не предвиделось, хотя зал, как всегда, чутко отвечал на исходящие со сцены дерзостные инспирации. Вот, к примеру, Пьяный Шарманщик на кривых ногах ковыляет в просцениум, вещает косым ртом: «Павлуша, бывалочка, еще маленькой крошкой, сидючи у меня на коленях, все повторял: «Люблю пролетариат, дядя! Ох, как люблю!»

Зал хохочет, аплодирует, атмосфера веселого заговора возбуждает зрителей. Забыв о своем «пузе», весело смеется Вероника, хлопает стальными ладонями ее муж, комдив РККА, Никита Градов.

Вдруг резкий девичий голос с верхнего яруса прорезал карнавальную атмосферу:

— Позор сталинским лицемерам!

Сразу в нескольких местах зала поднялись плотные группы молодежи. Будто под команду дирижерской палочки они начали скандировать:

— Прочь коварство, тупость, злоба!

— Убирайся к черту, Коба!

— Долой жуликов-бюрократов! Долой Сталина!

Никита посмотрел на ярус и шепнул жене:

— Клянусь, там среди них наша Нинка!

— О Боже мой, — ужаснулась Вероника.

В зале воцарился сущий хаос. Многие зрители шумно возмущались: «Безобразия! Хулиганство! Митингуйте в своих вузах, не лезьте в театр! Срывают спектакль! Надо милицию позвать!» Другие поддерживали оппозиционеров: «Правильно! Долой сталинских ставленников! Надоело!» Третьи просто смеялись: весело, дерзко, уж не сам ли Мейерхольд придумал?

Четвертые сгорали от любопытства — что дальше будет? Пятые благоразумно пытались выбраться из зала. Кое-где началась свалка. Старший капельдинер, держась за голову, пробежал вверх по проходу. Навстречу ему к сцене, бурно хохоча и явно не по трезвому делу, валила к сцене поэтическая ватага во главе со Степой Калистратовым.

Степан кричал на сцену какому-то дружку, занятому в спектакле:

— Гошка, поздравляю! Сегодня даже лучше, чем на премьере! Так и должно быть! В этом смысл современного театра! В скандале! Театр — это скандал!

Произнеся эту исключительную новацию, о которой знал еще Грибоедов, Степан бросил через плечо своему подголоску Фомке Фрухту:

— Запиши!

— Готово! Записано! — тут же отозвался подголосок.

Суматоха усиливалась. Никита, вглядываясь в бурлящую толпу, забыл на мгновение о жене. Когда же посмотрел на нее, похолодел, закричал будто гимназист, а не комдив:

— Что делать?! Что делать?!

У Вероники вдруг начались схватки. Она то сжимала зубы, то хватала воздух ртом. Пот ручьями стекал по лицу. Платье было совсем мокрым. Кляня себя за идиотское легкомыслие, Никита подхватил жену под мышки, стал пробираться к выходу.

— Пропустите, граждане! Пропустите! Жена рожает! «Скорую помощь»! Пожалуйста!

В свалке захохотал, тыча в них пальцем, какой-то богемного вида юнец:

— Смотрите, смотрите, только у нас! Комдив свою бабу тащит! Баба рожает от Мейерхольда!

Озверев, Никита ударил юнца ногой в зад.

— Пропустите же, мерзавцы! — В остервенении вытаскивал из кобуры револьвер. — Расступись! Стрелять буду!

Тут уж граждане, еще не забывшие подобных возгласов, немедленно очистили путь. Он подхватил кричащую от боли Веронику и устремился к выходу.

Степа Калистратов на одной из лестниц театра перехватил кубарем летящую вниз Нинку Градову.

— Привет, гражданка! Слушай, тут армяне приехали, поэты, будет сабантуй. Айда шампанское сажать?!

Нинка хохотала в его руках. «Ну, не счастье ли, — мелькнуло в Степкиной башке, — держать в руках такую хохочущую, вот именно, нимфу?»

Нимфа, увы, тут же выскользнула, отстранилась.

— Ты, Степан, неисправимый декадент и богемщик!

«Ну, что ж, — подумал он, — нельзя же век держать в руках такую хохочущую и полную небесного огня». И за этот миг спасибо, Провидение.

С лестницы солидно спускался пролетарий Семен Стройло.

— А ты все еще с этим Стойло? — усмехнулся поэт.

Нинка немедленно разозлилась:

— Не Стойло, а Стройло, от слова «строить», с вашего позволения!

Тут же она прилепилась к своему избраннику и далее вниз по лестнице путешествовала, как бы частично свисая с его плеча, что давало ей возможность иной раз оглядываться на обескураженного Степана.

И все-таки спасибо тебе, Провидение, подумал поэт.

Мимо валили люди из Нинкиной группы. Среди них выделялся мужчина за тридцать, львиная грива, теоретические очки: Альбов.

— Акция удалась, — коротко резюмировал он.

Под утро к агонизирующему в приемной роддома Грауэрмана Никите Градову вышел дежурный врач — уже было известно, что роженица — жена комдива, сына профессора Градова, — и сообщил, что родился сын. И вес, и рост основательные, бутуз что надо. «Так что идите домой, товарищ комдив, поспите и приезжайте пополудни, мы вам покажем вашего первенца».

Никита, ничего не соображая, в распахнутой шинели, в сдвинутой на затылок буденновке, вышел на улицу, зашагал куда-то, почему-то все ускоряя шаги, резко срезая углы, хватаясь за водосточные трубы. Одна, ржавая, прогнулась под его рукой.

Арбатские переулки были пустынно и темны, только далеко в перспективе слабо светилась витрина, и там был виден большой глобус. Этот глобус как бы вдруг взвинтил комдива, он весь встряхнулся и осознал всю эту ночь, в течение которой любимая женщина, страдая, родила ему сына.

— Сын родился! — заорал он вдруг и побежал по направлению к глобусу. В витрине он видел свое приближающееся отражение, разлетающиеся полы длинной шинели, блестящие высокие сапоги. Он выскочил на Арбат. За крышами виднелся уцелевший крест небольшой церкви. «Сын, сын... родился сын!» Он перекрестился, раз, другой, но потом отдернул щепоть ото лба, от своей красной звезды. Тогда вытащил револьвер и пальнул в воздух. Ура!

— Не стреляйте! — послышался голос поблизости. Никита посмотрел и увидел в подворотне фигуру старика с палкой в руке. Дворник, должно быть.

— Не бойтесь, ничего страшного, просто у меня сын родился, Борис Четвертый Градов, русский врач.

— Все-таки это еще не повод, чтобы стрелять, — сказал старик, вышел из подворотни и прошел мимо Никиты, оказавшись вовсе не стариком, а средних лет странным господином с тростью, в старомодном дорогом пальто. Поблескивали крутой лоб и лысая макушка. Просвечивая, трепеща, вилась вокруг этих фундаментальных высот эфемерная золотовато-серебристая флора. Уж не Андрей ли Белый?



ГЛАВА VI

√РКП(б)



Под вечер погожего октябрьского дня — бабье лето в полном разгаре! — инструктор районного Осоавиахима Семен Стройло подждал Нинку Градову в кабинете наглядных пособий, что располагался на втором этаже Дома культуры Краснопресненского района.

Луч солнца, падающий через узкое окно, подчеркивал обилие пыли, лежащей на пособиях и тренировочных материалах, гранатах, противогазах, парашютных ранцах, а стало быть, он подчеркивал и некоторую ленцу уважаемого товарища инструктора.

Семен всю эту туфту терпеть не мог, ни черта в ней не понимал. Пост свой он получил в порядке «выдвиженства» как человек с незапятнанной анкетой, однако долго здесь задерживаться не собирался: впереди большая дорога. Пока что он был доволен — работа не бей лежачего, а главное, ключи от трех кабинетов, большое удобство для встреч с девчонкой.

В середине комнаты на столе, демонстрируя свои железные кишки, стояла продольно распиленная половинка станкового пулемета «максим». На стенах висели пропагандистские плакаты, по которым иногда Семен все же проходил тряпкой. Гигантский пролетарский кулак дробит английский дреднот, похожий на жалкую ящерицу:

«Наш ответ Керзону!» Косяк дирижаблей в небе под сиянием серпа и молота: «Построим эскадру дирижаблей имени Ленина!»...

В комнате было жарко. Семен лежал на кушетке в одной майке с эмблемой «Буревестника». Он курил, отпивал из горлышка портвейн «Три семерки» — папаня именуется этот напиток «три топорика» — и читал замуколенную книжонку «Принцесса Казино».

Вот она придет, зараза, думал он, увидит, как я тут лежу в одной майке, пью напиток, читаю бульварщину, и восхитится — ах, какой простой, какой свободный! Зараза такая!

Роман с профессорской дочкой, изнеженной Ничочкой Градовой, с одной стороны, восхищал Семена Стройло, с другой же стороны, по-страшному его раздражал: приходилось как бы постоянно играть роль, навязанную ему воображением избалованной фифки. Она увидела в нем идеал пролетария, простого, свободного, без околичностей берущего в руки все имущество мира, потому что оно отныне принадлежит ему, он строит будущее. Значит, надо было постоянно показывать простоту, городскую народность, уверенность и даже некоторую косолапость неторопливых движений, каменность гиревых мышц. Между тем по сути своей Семен Стройло был скорее суетлив, извилист в мыслях, не очень даже и могуч физически, гири ненавидел. Короче, она смотрела на него скорее как на игрушку пролетария, чем на истинного пролетария, которым он в общем-то, несмотря на чистоту анкеты, никогда не был. Ни папаня, ни дедка матценностей не создавали, происходя из марьинорощинских складских. Ну, в общем, обижаться все-таки не приходится: девчонка сладкая, и польза от нее идет пребоольшая, однако...

Из коридора, с лестницы долетел полет шагов — идет, зараза, минута в минуту!

Нина пробежала через вестибюль и всякий, кто встретился ей в обширном помещении, останавливал-

ся в изумлении: чего, мол, девица так сияет, откуда, мол, такой оптимизм на десятом году революции?

Уборщица хмыкнула ей вслед и кривым большим пальцем показала сторожу:

— Вишь, к инструктору на свиданку побежала!

Сторож чмокнул, утерся рукавом.

— Пряткая, гладкая... Эхма...

Нина пролетела по коридору, рванула дверь с надписью «Наглядные пособия». Ворвалась в комнату, потрясая свежим выпуском журнала «Красная новь».

— Семен, вставай! Лодырь! Смотри, мои стихи в «Красной нови»!

Открыла журнал, облокотилась на полупулемет, с силой прочла:

Могла ли я в стремительных мгновеньях
Не вспомнить, Одиссей, ни глаз твоих, ни губ,
Полночных кораблей жасминное цветенье,
И тени крепостей, и звук далеких труб?..

Семен намеренно зевнул, подумав: демонстрируется пролетарская пасть.

— Про что это?

Нина не ответила, глядя в какую-то невидимую точку.

— Про что стихоза? — повторил вопрос Семен.

— Про ночь, — сказала она.

Семен бросил под кушетку «Принцессу Казино» и встал, потягиваясь.

— Хочешь шамать, Нинка?

Он показал на открытую банку мясных консервов и булку московского хлеба.

Нина отрицательно помотала головой.

— Не хочешь отличной шамовки? — удивился он. — Портвейну хошь? Ну, ты даешь, сестра, от «Трех семерок» отказываешься!

Сладкая тяга прошла по его телу, он расстегнул пояс брюк.

— Ну, ладно, нэ-хош-как-хош-хады-галодна, иди сюда!

Нина отшатнулась от него, как бы в досаде, хотя сама уже жаждала только одного, этого акта с ним, таким простым.

— Да ну тебя, Семка! Я к тебе со стихами, а ты сразу...

Он притянул ее к себе, по-хозяйски поднял юбку.

— Давай, давай... Кончай эти плюссе-мюссе! Сколько раз тебе говорено, будь проще, Нинка!

Закрыв глаза, она уступала ему все больше, бормоча: «Да-да, ты прав, моя любовь... быть проще...» — но на самом-то деле, как всегда, воображая себя жертвой пролетарского насилия, трофеем класса-победителя.

Уборщица приволоклась со шваброй в коридор, чтобы послушать сильный и долгий скрип кушетки. Пришлепал и сторож.

В наступивших сумерках Нина долго еще ползала губами по его щекам и шее, гладила мокрые волосы усталого повелителя.

— Ты мой Царь Осоавиахим, — шептала она.

Семен гудел, довольный:

— Кончай, кончай эти телячьи нежности!

Он глотнул портвейну, закурил папиросу.

— Я тебе, Нинка, должен сделать одно замечание. Ты, конечно, девка хорошая, однако немного больше активности тебе не помешает. Вот когда момент подходит, тебе вот так надо делать. — Он показал рукой, как надо делать, — эдакая волна со всплеском. — А ты, уважаемая, этого не делаешь!

Она засмеялась, нисколько не обидевшись:

— Ой, Семка, Семка, какой ты балда!

Он встал с кушетки, натянул штаны и юнгштурмовку, сел верхом на стул.

— А вот еще одно замечание, уважаемая, на этот раз от кружка, то есть от самого Альбова. Он велел мне сказать, что тобой недовольны. Слишком мало време-

ни кружку, слишком много этому... — Брезгливо потряс «Красную новь». — Полночных кораблей жасминное цветенье, во дает... ты все ж таки комсомолка, тебе с этими попутчиками вроде Степки Калистратова все ж таки не по пути!

Нина расхохоталась:

— Да ты ревнуешь, Осоавиахим!

Семен пристукнул кулаком по столу. Кулачок у него был не очень-то массивный, но в такие моменты он ему самому казался кувалдой.

— Чего-о? Я тебе всерьез, а ты опять плюсссе-миоссе? Никак с кисейным воспитанием не расстанешься!

Нина села на кушетке.

— На самом деле Альбов говорил?

Он кивнул:

— Факт. Работасм, можно сказать, в подполье, сказал он, а Градова по лэфовским вечеринкам порхает.

Нина посмотрела на часы, вскочила. В затхлом воздухе Осоавиахима пролетели один за другим предметы туалета — юбка, блузка, свитер, шарф. Мгновские — и она уже одета, как будто и не предавалась только что грехопадению под языческим божком распиленного красноармейского пулемета.

— Семка, мы же опаздываем в университет!

Товарищ Стройло уже вытаскивал из-под стола толстенную сумку с печатным материалом.

На Манежную прискакали через полчаса, пришлось брать извозчика за счет ячейки, иначе бы вся затея рухнула по причинам явно не уважительным.

Вечер был в полном разгаре, московский час пик. Мимо здания университета, названивая и рассыпая с проводов ворохи искр, волоклись перегруженные трамваи. Резко кричали торговки студенческой отрадой — горячими пирожками с требухой, или, по современной терминологии, с субпродуктом. Иной раз мелькала студенческая физиономия с полузасунутым в рот пирожком и с обалделыми от вкусового шторма гляделками.

Возле университетских ворот под фонарем подвешено было объявление:

«Коммунистическая аудитория. Сегодня, 8 часов вечера. ЛЕФ!

«Алгебра революции!» Читает поэт Сергей Третьяков.

Также выступают:

Поэт Степан Калистратов, «Неназванное»;

Конструктор Владимир Татлин с рассказом об аппарате «Летатлин».

Стройло и Нина, бросив взгляд на плакат, быстро прошли в ворота, пересекли двор мимо памятника Ломоносову и бегом взлетели по торжественной лестнице.

Когда Нина и Семен вошли, амфитеатр Коммунистической аудитории был еще пуст, хотя над кафедрой загодя к вечеру уже была подвешена модель похожего на птеродактиля футуристического летательного аппарата.

— Успели. Слава Труду, никого, — прошептала Нина.

— Давай за дело! — скомандовал Семен.

Они побежали вверх по ступенькам, разбрасывая по рядам пачки листовок. Дело было закончено быстро, после чего молодые люди устроились поближе к сцене, в первом ряду, и открыли учебники, изображая прилежное чтение в ожидании концерта. Время от времени они поглядывали друг на друга и хихикали.

«Кроме всего прочего, — подумала Нина, как бы отвечая кому-то, — мы с Семкой — боевые друзья». — «Ишь ты, — подумал про нее Семен, — глазища-то!»

Через несколько минут аудитория стала быстро заполняться студентами. Кто-то уже нашел листовку и громко прочитал: «Спасение революции в ваших руках! Долой Сталина!»

Из другого ряда зачитывали иной вариант: «Остановим попытку Термидора! Позор сталинскому ЦК!»

Подрывные листовки троцкистов и оппозиции были студентам не в новинку. Их находили и в общагах, и

в столовках, иной раз приклепнутыми к стене, иной раз пачками с призывом «Раздай товарищам». Многие сочувствовали, многим было наплевать. Иной раз вспыхивали митинги, а другой раз можно было заметить студента, несущегося в уборную с листовкой в кулаке. В этот раз студенты вроде бы воспламенились сперва, начали выкрикивать: «Долой!», «Позор!», но потом нашлись шутники-пересмешники — уж как не поидиотничать вечером перед девочками? — которые стали умножать: «Двойной долой!», «Тройной позор!», «Долой в квадрате!» «Плюс позор в кубе!». Пошел хохот. «Вот так алгебра революции!» Настроение сегодня было явно не очень-то политическим.

Между тем Коммунистическая была уже заполнена до отказа. Стояли в проходах и дверях. Среди опоздавших был ассистент профессора Градова, молодой врач Савва Китайгородский. Его затерли в проходе, и он дрейфовал, пока не приткнулся в уголке, где можно было даже слегка опереться плечом о стену.

Поэт Сергей Третьяков был уже на сцене, но Савва туда не смотрел. Взгляд его выискивал нужное лицо в зале. Наконец нужное лицо было найдено — Нина Градова! Пусть, как всегда, со своим остолопом, но зато это она воочию! «Вхожу я в темные храмы, совершаю свой бедный обряд...» Молодой врач тоже не был чужд поэзии, хотя застрял на символистах и дальше не желал продвигаться.

Амфитеатр рыкнул, разразился, притих. Популярный Сергей Третьяков, друг Маяковского, вышел к краю сцены — читать. Он был очень большого роста, не ниже самого Маяка, однако внешностью трибуна не обладал, скорее уж было в нем что-то общее с людьми типа Саввы Китайгородского, интеллигентными: очки, костюм-тройка... У Маяковского это всегда был «костюмище»; у Третьякова — костюмчик. Поэтому и левовский напор выглядел в его исполнении немного неуместным: эти рычания и взмахи кулакастой рукой.

В общем, он читал:

Корень квадратный
из РКП!
Делим на:
Вперед! В упор глаза!
Жми! И ни шагу назад!
Плюс:
Электрификация!
Смык!
Тренаж!
Плюс:
Мы хотим, чтобы мир стал —
Наш!
Минус:
Брех!
Минус:
Грязь!
Минус:
Дрянь!
Равняется:
Это
 Путь
 Октября!

Финальный выкрик ударного стиха выгодно подчеркивал корневую рифму «грязь» — «ябрь», чем поэт явно гордился, не задумываясь о двусмысленности, возникающей при сопоставлении слов. Филфакловцы восторженно взревели: «Браво, Сергей! Браво, ЛЕФ!»

Стоявшая рядом с Саввой «литдевичка» — подбривтый затылок, длинная косая челка, вот коняга! — повернулась к нему:

— Вам нравится?

Савва пожал плечами. «Литдевичка» рассмеялась:

— Мне тоже не очень. Какая же это алгебра? Чистая арифметика для четвертого класса!

Толпу качнуло. Ее бедро прижалось к его бедру. Прошел весьма неуместный ток. «Литдевичка» усмехнулась с притворным смущением:

— Простите.

Савва заерзал, пытаясь создать пространство между двумя разнополюмыми телами.

— Да, так тесно...

В своем ряду Нина теребила Семена за рукав.

— Ну, вот такая поэзия тебе ближе? Ну, скажи, Семка, ну! Мне это очень важно!

Стройло забасил пренебрежительно в своем «пролетарском стиле»:

— А-а-а, говна. У меня вот мочпузырь щас лопнет, пойду отолью.

Он стал пробираться через ноги соседей к выходу. Нина успела шепнуть ему вслед: «Милый, постой!» Он обернулся, гаркнул «Кончай!» — потом огрызнулся на недовольных студентов:

— По ногам, говоришь, хожу? А что же, по башкам, что ли, вашим ходить?

Стройло вошел в просторную, с высоченным потолком, облицованную кафелем уборную старого университета и увидел стоящего у окна молодого человека в полувоенной одежде, который, возможно, сего-то тут и поджидал. Взялся за свое дело. Молодой человек приблизился.

Стройло, салют!

— Физкульт-привет! — отвечивал Стройло, отряхиваясь.

— Заскочим в партком? — спросил очень положительный молодой человек.

— Айда! — сказал Стройло, завершая диалог полностью в стиле своего поколения.

Комната парткома была по масштабам ничуть не меньше уборной. Народу там в этот час не было, только в глубине у настольной лампы сидел человек средних лет, перебирая бумажки. Царил со стены из богатого багета Владимир Ильич Ульянов (Ленин).

При виде вошедших юношей сидящий встал и пошел навстречу.

— Здравствуйте, товарищ Стройло! Давайте сразу быка за рога. Сколько человек было последний раз на заседании кружка?

— Девятнадцать, товарищ комиссар, — четко ответил Стройло, отстегнул клапан и вынул бумажку. — Вот список.

Комиссар взял список, прочел несколько фамилий вслух: «Альбов, Брехно, Градова, Галат...» — сунул список в карман и крепко пожал руку Стройло.

— Спасибо, Семен! Большое, очень нужное нам всем дело делаешь!

С просиявшей и оттого несколько истуканистой физиономией Стройло вытянулся.

— Служу трудовому народу!

В аудитории тем временем Сергея Третьякова сменил Степан Калистратов — мятая вельветовая блуза, закинутый за спину шарф, непокорная, что называется, «еснинская» шевелюра. Как всегда, было неясно, насколько пьян Степан в данный момент — порядком, основательно или почти «в лоскуты». Так или иначе, он читал с мрачным вдохновением:

Гудки вблизи и в отдаленье.
Земля пустынна и плоска.
Одно лишь вахтенное бденье,
Ни ангельского голоса...
Нам остаются в утешенье
Ночных трактиров откровенья
Да «Арзамасская тоска»...

Нина Градова смотрела на него заворуженно. Степан нравился публике, особенно девушкам, пожалуй, даже больше, чем Третьяков. Каждый его стих сопровождался восторженными аплодисментами.

Может быть, единственным человеком в аудитории, кто почти не обращал внимания на поэта, был Савва Китайгородский. Он не отрывал взгляда от задумчивого, будто светящегося изнутри лица Нины. Когда с ней

рядом нет «пролетария», она немедленно меняется, вот именно так вот освещается, и именно в этом, в этом, милостивые государи, ее суть!

Шепот «литдевички» по соседству отвлек Савву от этих мыслей.

— Вы знаете, Калистратов на грани разрыва с ЛЕФом!

Савва даже вздрогнул:

— Да что вы говорите? А как же революция?

Она с улыбкой посмотрела на него через плечо:

— Некоторым уже надоела.

Из публики кто-то бросил Степану букет цветов. С ловкостью, удивительной для вечно пьяноватого богемщика, он не дал им упасть на пол, а, подхватив в воздухе, прижал к груди и затем передал в первый ряд Нине Градовой.

Студенты выкрутили башки, весь зал высматривал, кому достался привет поэта. Нинины щеки пылали среди гвоздик.

«Литдевичка» сказала Савве прямо в ухо:

— А эту особу знаете? Молодая поэтесса Нина Градова. Говорят, что...

— Простите, — торопливо перебил ее Савва и стал пробираться к выходу.

Между тем к Нине, совсем уже не обращая внимания на ноги окружающих, возвращался Семен Стройло. Плюхнувшись на свое место, он, ни слова не говоря, вырвал у нее букет и швырнул его за спину, выше по амфитеатру.

Степан в это время, с каждой строфой раздувая легкие все больше и больше, гудел свое самое известное стихотворение «Танец матросов».

Глубокой ночью в доме Градовых не спал только могучий, но нежный душою молодой Пифагор. Стараясь не очень постукивать когтями по полу, он прохаживался по пустым комнатам, освещенным лишь полосками лунного света из-за штор. Иногда он направлял-

ся на кухню, вставал на задние лапы и смотрел в незашторенное окно. Наконец он увидел то, что так рьяно высматривал, побежал ко входной двери и сел рядом, тихонько скуля.

Повернулся ключ, вошла, вернее, пробралась Нина и сразу стала снимать туфли — чтобы легчайшим полетом на цыпочках не разбудить домашних, а лишь навеять им мирные сны. Пес бросился к любимой сестре целоваться. Она раскрыла ему объятия.

— Спасибо, Пифочка, что ждал и не залаял.

В сопровождении Пифагора она прошла через столовую и гостиную и вдруг заметила, что в глубине кабинета горит маленькая лампа. Заглянула туда и увидела отца. В халате и шлепанцах он сидел на диване и читал «Новый мир» с «Повестью непогашенной луны».

Папочка, милый, любимый, тихо растрогалась Нина и хотела уже пройти к лестнице, когда он вдруг поднял голову и заметил две славных рожи: одна с большущими глазами, другая с большущими ушами. Он отложил журнал.

— Нинка, посиди со мной немного.

Она села на ковер у его ног. Он взъерошил ее короткую гривку.

— Эта повесть, что ты тогда притащила... вот случайно попала... мда-с... В общем-то довольно абстрактное сочинение... хотя при желании... — Так он мямлил некоторое время, но потом вдруг твердо сказал: — Ты должна знать, что я там не был. Я был отстранен в последнюю минуту. И конечно, если бы я там был, то... Ты понимаешь, что я хочу сказать?

Нина взяла его руку и прижалась к ней щекой.

— Понимаю, папка. Теперь я все понимаю. Я верю, что ты там совсем не был...

Он вздохнул:

— Увы, это не совсем так. Я расскажу обо всем позднее... но... они, конечно, считают меня чужим. Они продвигают меня на верха, как бы завязывают в один общий узел, награждают, но все же прекрасно

понимают, что я им чужд, и вся моя школа, мы просто русские врачи, даже и молодежь вроде Саввы Китайгородского.

— Кстати, как он, этот Савва? — спросила Нина явно небезразличным тоном.

«Как чудесно она о нем спросила, — подумал отец. — Хотел бы я знать, спрашивала ли когда-нибудь обо мне вот такая какая-нибудь девчушка».

— О, — сказал он. — Савва — это будущее светило, поверь мне. Мы здорово работаем вместе над местной анестезией. Ему, знаешь ли, туго приходится: тянет семью сестры, а жалованье у молодых врачей мизерное. Подрабатывает на «скорой помощи».

— А что же он перестал... ну... у нас бывать? — спросила Нина, и отец опять восхитился, на этот раз какому-то чудному лукавству в ее голосе.

Он засмеялся:

— Ты прекрасно знаешь, лисица, почему. Потому что ты среди чужих.

Она ласкалась к его руке, как котенок.

— Вот уж чепуховина!

Лежащий рядом Пифагор активно лизал ее ногу.

Сверху, из спальни, тихо спустилась Мэри Вахтанговна. Остановилась в дверях кабинета, глядя на мужа и дочь. Те не замечали ее.

— Эх, если бы мы все родились лет на пятьдесят раньше! — вздохнул профессор.

Нина вдруг воспламенилась, бросила отцовскую руку:

— Вот уж нет! Хочешь верь, хочешь не верь, но я счастлива, что живу именно сейчас! Что я молода именно сейчас, в двадцатые годы двадцатого века! Все времена бледнеют перед нашим!

Отец погладил ее по голове:

— Ты только не кричи, Нинка, но мне кажется, что тебе нужно временно уехать из Москвы.

Нина, конечно, тут же закричала:

— Ты с ума сошел, папка?! Куда еще уехать?

В этот момент мать села рядом с ней и обняла за плечи.

— Хотя бы в Тифлис, к дяде Галактиону, — мягчайшим тоном прожурчала она. — Дочка, ты зашла слишком далеко в своем пристрастии к политике. Вах, папин шофер, младший командир Слабопетуховский, на днях по секрету сказал Агаше, что тобой интересуются в ГПУ.

Нина, хоть у нее и екнуло внутри, весело рассмеялась:

— Ах, все это вздор! Нашли кому верить — Слабопетуховскому! Конечно, в ГПУ полно балбесов, но у нас все-таки не режим Муссолини!

Она вдруг вскочила и потянула мать за руку:

— Ты лучше поиграй нам, мамочка!

Мэри Вахтанговна улыбнулась:

— Сейчас нельзя играть по ночам. У нас ребенок. Мы разбудим Бореньку.

Нина настаивала, тянула:

— Ну, я тебя прошу, ну, тихонечко! Ну, как раз тот ноктюрн шопеновский, тот самый... — И уже почти добилась своего, мать стала подниматься с ковра.

Смеясь, она присела к роялю:

— Да ведь это же стародворянская романтика, ведь ты же это отвергаешь, ведь ты же любишь джаз и додекафон...

Она заиграла еле слышно. Муж и дочь благоговейно слушали, переглядывались любовно. Пифагор тоже стал слушать, сидя в позе идеально послушного пса, поводил ушами. Появилась и встала в дверях Агаша. Из спальни наверху вышли Никита и Вероника, которая немедленно после родов взялась за свое привычное дело — сиять красотой. Кирилл, как оказалось, давно уже сидел на лестнице, глаза его были закрыты. Когда в кабинете были открыты обе его широкие двери, из него как бы просматривался весь объем старого, крепкого дома. Нина обводила глазами этот объем родного гнезда. Господи, как же я их всех люблю, даже дурац-

кого Кирку! Я просто не имею права так сильно их всех любить... В спальне заплакал разбуженный ребенок. Мэри Вахтанговна бросила клавиши:

— Ну, вот, пожалуйста, Борис Четвертый гnevаются!

Первый снег пошел в конце октября. Физик Леонид Валентинович Пулково ехал в трамвае вдоль Чистых прудов, когда в молочно-голубоватом небе начали парить эти почти невесомые кристаллы. Автоматически отметив, что бабьему лету конец, он приготовился к выходу. Ему было не до наблюдений за природой: в последние дни слезка за ним стала не просто навязчивой, а какой-то демонстративной. Вот и сейчас на площадке вагона стоит типчик в шляпе, явный сыщик, который не только не скрывается, а, наоборот, как бы желает быть увиденным, показывает, будто играет в фильме, что именно вот как раз этот джентльмен в английском реглане и шапке пирожком из астраханского каракуля как раз и является объектом его забот. Даже ничему не удивляющиеся москвичи с недоумением оборачиваются.

Трамвай тормозил у остановки, и сыщик, опять же рисуясь, подчеркиваясь, высовывался из вагона и показывал кому-то на Пулково — здесь, мол, он, все в порядке! На остановке Пулково ждали уже два типуса. Они тоже не скрывались, отвечали на жестикуляцию из трамвая и смотрели с кривыми улыбками на выходящего профессора.

Пулково, проходя мимо, иронически приподнял свой «пирожок». Типусы гыкнули, хмыкнули, переглянулись и тут же последовали за «недорезанным буржуем», держась на положенном расстоянии, то есть очень близко.

В последние дни Пулково стал жалеть, что не принял приглашения Бо и не переехал в Серебряный Бор. У него уже не было уверенности, что кто-то не проникает без него в его холостяцкую квартиру. Более того,

он не мог бы даже поручиться, что кто-то не ходит по ночам, когда он спит. Он наталкивался на шпигов повсюду — на лестнице, в подворотне, в трамвае, в книжном магазине, возле института и внутри института, даже на концертах в консерватории, которые он посещал неизменно по абонементу уже много лет. Что делать? Обратиться в милицию — смешно, писать жалобу в ГПУ — унинительно.

Он завернул в свой переулок и сразу увидел возле дома, прямо под козырьком матового стекла в стиле арт декор, большой черный автомобиль. На шоферском месте сидел красноармеец. «По мою душу», — подумал он, и ему даже стало легче: наконец-то все выяснится. Двое, один в гражданском пальто, другой в форме ГПУ, вышли из автомобиля.

— Профессор Пулково, Леонид Валентинович? — спросил первый чекист. — Здравствуйте, мы из ОГПУ. Извольте ознакомиться, ордер на обыск вашей квартиры.

Секунду подержав выправленный по всей форме ордер в недрогнувшей (что это было за странное самообладание?) руке, Пулково вернул его предъявителю.

— Что же вы ищете? — спросил он с улыбкой.

Второй чекист выпалил с мрачным автоматизмом:

— Вопросы задаем мы!

За спиной профессора уже стоял красноармеец с увесистым пистолетом на поясе. Джентльменским жестом Пулково пригласил всех присутствующих пройти внутрь.

Обыск подходил к концу. Чекист, копавшийся в письменном столе профессора, закрыл все ящики и присоединился к своему товарищу, возившемуся у высоких книжных полок. Пулково, как и полагается, с трубкой в зубах сидел в глубоком кресле. На коленях у него нежилась кот.

С точки зрения кота, ничего особенного в уютной холостяцкой квартире, где, к сожалению, запах табака

несколько преобладал над его, котовскими, сокровенностями, не происходило. Просто к папе зашли два библиофила. Даже то, что в дверях истуканом стоял солдат, не казалось коту чем-то особенным.

— Ну, вот и все, — сказал первый чекист, тот, что был в хорошей штатской одежде. — Мы ничего не изымаем, кроме вот этого. — Он показал пальцем на висящую на стене карту Англии с флажками, отмечающими путешествия профессора.

— Да зачем вам она? — изумился Пулково.

— Вам все объяснят позднее. А теперь, профессор, вам придется поехать с нами.

— Прикажете понимать как арест? — быстро произнес Пулково фразу, которая все у него вертелась, пока сыщики копались в бумагах и книгах.

Чекист усмехнулся:

— Назовем это «чрезвычайно важной встречей».

Пулково пожал плечами:

— Я могу и не поехать, если это не формальный арест.

— Это исключено, профессор. Вы поедете. — Чекист нагнулся и снял с колен Пулково его роскошного персидского кота.

Вот этого кот не любил. Никто, кроме папы, не имел права брать его под пузик. Он зашипел и царапнул руку библиофила. Второй чекист, тот, что имел одну шпалу в петлице, снял со стены карту Англии и стал скатывать ее в рулон. Только тогда, при виде этого вроде бы вполне простого действия, Пулково как-то неадекватно, почти конвульсивно содрогнулся.

— У вас есть йод? — спросил первый чекист, зажимая оцарапанную руку.

В ранних сумерках машина с Пулково выехала на кишашую извозчиками и грузовиками Лубянскую площадь. Печально знаменитое массивное здание в стиле конца века приближалось сквозь усилившийся снегопад. Нынче, в разгар нэпа, здание это, в котором когда-то помещалась мирная страховая компания, уже

не наводило такого ужаса, как прежде, в дни «красного террора» и «военного коммунизма», однако и теперь здание это в обиходе предпочитали не упоминать, а если и упоминали, то как-то косо, с двусмысленной улыбкой, с мгновенной неуклюжестью в жесте и походке, что, бесспорно, свидетельствовало об укоренившемся страхе. В пивных под сильным градусом московские мужики иной раз толковали о «подвалах Лубянки», о том, что там и сейчас не затихает мокрая работа. Ходили по городу слухи о трех жутких лубянских палачах, которых именовали в духе гоголевского Вия: Рыба, Мага и Гель.

В интеллигентских кругах разное говорили о вновь выплывшем на чекистскую верхушку нынешнем председателе ОГПУ Вячеславе Рудольфовиче Менжинском. Известно было, что он из семьи петербургского сановника шляхетского происхождения, то есть как и предыдущий — отколовшийся в революцию католик. В докатастрофные времена отнюдь не всегда он был твердокаменным ленинцем, иной раз публиковал даже оскорбительные памфлеты по адресу вождя всех трудящихся, однако Ленин именно его за исключительные интеллектуальные способности выдвинул на пост наркома финансов, а потом за какие-то еще исключительные способности — в президиум Чека, где он и сидел веселенькие годы, с девятнадцатого. О личных пристрастиях этого человека молва несла совсем уже противоречивые слухи — то выходил он диким развратником, грозой женщин или мужеложцем, алкоголиком и наркоманом, а то представлял полным аскетом, едва ли не скопцом, как и предыдущий, Феликс Эдмундович.

Машина проехала мимо огромных глухих ворот, ведущих во внутренний двор Лубянки, и остановилась возле парадного входа, что чуть-чуть ободрило Леонида Валентиновича Пулково. По знаку сопровождающего он вылез наружу, посмотрел на фасад и произнес с нервным смешком:

— Ага, вот она, «Россия»!

Чекист сзади сухо пресек неуместный юмор:

— Это Государственное Политическое Управление.

— Только воробьи этого не знают, — продолжал легковесничать Пулково. — Однако мы, старые москвичи, все еще помним ваших предшественников, страховое общество «Россия».

— Следуйте за мной, гражданин Пулково! — сказал чекист.

Леонид Валентинович похолодел и тут же залился горячей испариной. Он вдруг вспомнил, что они ни разу не обратились к нему со своим уважительным «товарищем», называли его только «профессором», а вот теперь этот отчужденный и холодный адрес превратился в зловещего «гражданина»; так они называют арестованных, заключенных, врагов. Цепляясь все-таки за спасительный юморок висельника, он пробормотал:

— Ага, понятно... формулировка, кажется, подходит к завершению...

«Наверное, отправят в Соловки, — думал он, проходя в сопровождении двух агентов по помещениям «Лубы». — Там, говорят, можно уцелеть, много интеллигентных людей... Да ведь не убьют же, в самом деле, не отправят же в подвал к этим рыбам, магам и гелям».

Между тем ничего зловещего на первый взгляд в окружающей обстановке не было. Его провели сначала через огромный вестибюль с портретом Ленина и с пересмеивающейся между собой охраной, которая не обратила на профессора ни малейшего внимания. Потом они поднялись один марш по роскошной лестнице, призванной производить солидное впечатление на клиентов «России», и вошли в лифт.

Вместо ожидаемого подъема лифт пошел вниз. Душа Леонида Валентиновича падала камнем в пучины. Значит, все-таки в подвалы? Лифт остановил-

ся. Вместо мрачных сводов и орудий пытки Пулково увидел ярко освещенный безликий коридор с множеством дверей. Из-за некоторых дверей успокоительно трещали пишущие машинки. Вдруг откуда-то донесся дикий и долгий вопль. Это все-таки был человек под пыткой. Профессора ввели в другой лифт и на этот раз повезли вверх. Наконец, бледный и ошеломленный, он был подведен к большим, с резьбой, дверям мореного дуба.

В кабинете главы страховой компании теперь вполне логически размещался председатель ОГПУ В.Р.Менжинский. Пулково увидел мебель красного дерева, большой персидский ковер, письменный стол, покрытый зеленым сукном, портреты Ленина и Дзержинского.

За столом сидел причесанный на пробор интеллигентный человек. Он встал как бы в приятном удивлении, потом направился с протянутой рукой к вошедшему, вернее, введенному Пулково. Любезнейшим тоном зарокотал:

— Очень рад познакомиться, товарищ Пулково! Спасибо, что приехали. Я — Менжинский.

Пулково пожал руку и, не скрывая облегчения, вынул платок и сильно приложил ко лбу и щекам.

— Мне тоже очень приятно, товарищ Менжинский, — попытался вспомнить тот изначально спасительный юморок, усмехнулся, но получилось довольно жалко. — Признаться, это был довольно долгий путь между его «гражданином», — он показал глазами на агента, — и вашим «товарищем».

Менжинский добродушно рассмеялся:

— Наши товарищи иногда немного переживают. — Взял профессора под руку, повел в глубину, доверительно поделился: — Люди с героическим прошлым, но нервы не всегда в порядке.

Он провел Пулково в угол кабинета, где стояли кресла и маленький столик. После этого повернулся к агентам.

— Товарищи, почему же вы просто не объяснили товарищу Пулково, что я хочу с ним поговорить? К чему эта таинственность? Ну, хорошо, вы свободны.

«Об обыске затевать речь, видимо, бессмысленно», — мелькнуло у Пулково.

Менжинский вернулся к нему.

— Присаживайтесь, Леонид Валентинович. Не хотите ли коньяку?

— Спасибо. Не откажусь.

Менжинский разлил коньяк, показал профессору этикетку.

— Бывший «Шустовский», ныне «Армянский. Пять звездочек». По-моему, бьет «Мартель». Ваше здоровье!

Сделав большой глоток, он придвинул кресло и улыбочиво смотрел несколько секунд, как розовеет и возвращается к жизни лицо его гостя. Затем приступил к делу.

— Много слышал, Леонид Валентинович, о вашем прошлогоднем путешествии в Англию. В правительстве считают, что эта поездка принесет пользу советской науке... В принципе как раз об этом, о некоторых перспективах современной науки, я и собираюсь с вами поговорить, однако прежде чем начать, я хотел бы уточнить нашу информацию о ваших встречах там с некоторыми людьми...

Всё опять вдруг рухнуло внутри неподвижно сидящего, стремительно каменеющего Пулково. Неужели и об этом они пронюхали? Да что же в конце концов в этом? Ведь личное же, сугубо частное... Неужели и это теперь криминал?

— Прежде всего с господином Красиным, — продолжал Менжинский, не спуская с профессора холодных, пытливых, прямо скажем, не особенно джентльменских глаз.

Вздых облегчения, вырвавшийся у Пулково, не прошел незамеченным. Кажется, малейшее подергивание лицевых мышц фиксировалось этим нехорошим взглядом.

— Простите, Вячеслав Рудольфович, вы имеете в виду нашего посла товарища Красина? Того, что скончался несколько месяцев назад?

— Он вовремя скончался, этот господин Красин. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Нет, простите, решительно ничего не понимаю, да ведь и Красин уже был послом во Франции во время моего пребывания. Вот на обратном пути, в Париже, я был действительно представлен...

— Это нам известно, — быстро сказал Менжинский. — А вот в Англии?.. Во время вашего пребывания Красин дважды приезжал в Англию. Он вас не знакомил с какими-нибудь представителями британского правительства?

— Как же он мог меня с кем-то знакомить, если я его там не видел? — пробормотал Пулково

Менжинский деланно засмеялся:

— Хорошо отвечаете, товарищ Пулково.

Пулково вдруг ни к селу ни к городу подумал, что, если бы не революция, Менжинский никоим образом не стал бы главой тайной полиции. Был бы каким-нибудь левым журналистом или биржевым маклером. Может быть, революция любого может сделать чекистом?

— Ваше счастье, Леонид Валентинович, — легко, дружелюбно продолжал беседу Менжинский, — ваше счастье, что вы не встречались с Красиным в Англии, мой дорогой... ни в гостинице по дороге из Лондона в Кембридж, ни в клубе «Атенеум»... хорошо, что не встречались нигде, кроме Парижа... где это было, сейчас не помню, кажется, на приеме в полпредстве?.. Я вам немного приоткрою шторку, если угодно. Видите ли, Красин уже канонизирован, правда о его британских связях никогда не выйдет на поверхность, а вот тем людям, кто имел несчастье с ним связаться в этом контексте, наверняка не поздоровится.

Я вас ценю как ученого, Леонид Валентинович. Немного, знаете ли, по-любительски, интересуюсь со-

временной физикой. За этой наукой будущее. Очень бы не хотелось, чтобы выдающиеся умы ввязывались в темные политические дела. Такие люди, как Красин и его друзья из британских служб, вам не компания, профессор.

Вы уж лучше держитесь своей компании, дорогой. Ну, вот дружите с Эрнестом Резерфордом и дружите на здоровье... Кстати, расскажите мне о нем!

Говоря все это, шеф могущественной конторы дважды подливал коньяку и себе, и гостю и не один раз отхлебывал. Пулково даже показалось, что всепроницающие глаза покрылись некоторой пленочкой. Он стал рассказывать Менжинскому о работах Резерфорда. О чем еще можно рассказывать в связи с гениальным ученым, если не о его работах?

После первого воспроизведения искусственной ядерной реакции Резерфорд уже не выходит из этой области. Он предсказал существование нейтрино и надеется поймать эту частицу в лабораторных экспериментах. Да, мы хорошие друзья, Эрнест с симпатией относится к моим изысканиям в области низких температур, к идее высокочастотных разрядов в плотных газах...

Менжинский внимательно слушал, кивал, потом вдруг хлопнул ладонью Пулково по колену и пьяно захохотал:

— Ну, а как вам нравится Мейерхольд, Леонид? Он нас всех одурачил со своим Гоголем! Знаете, вот отправляюсь, конечно инкогнито, на «Ревизора», ну, естественно, отдохнуть, похохотать... а вместо отдыха со сцены прет чертовщиной какой-то, жуть, серой пахнет... Эге, это не для рабочих и крестьян, как полагаете?

Не дожидаясь ответа, Менжинский встал и пошел к своему столу. По дороге он передумал и переменял направление в сторону маленькой двери в дальнем углу. Тут его основательно качнуло. Достигнув двери, он обернулся к физику.

— Живем, ей-ей, на грани какой-то мистики, — проговорил он. — Недавно я читал, что ваш Резерфорд предполагает планетарное строение атома. Значит ли это, что наша Солнечная система может оказаться просто атомом, а Земля — одним из электрончиков?

— Это не исключено, — сказал Пулково.

— Ха-ха! — вскричал Менжинский. — Впечатляюще! Хохоча, он ушел в смежную комнату.

Несколько минут Пулково сидел в одиночестве, пытаясь собрать убегающие, будто нейтринно, мысли, пытаясь понять, что все это значит и откуда в Чека вдруг объявился интерес к ядерной физике.

Менжинский вернулся совершенно трезвый — да и неизвестно, был ли он пьян хоть на минуту, не актерствовал ли, — и сел рядом с Пулково. Несколько секунд он молча смотрел на него, а потом строго спросил:

— Леонид Валентинович, правда ли, что атомические исследования могут привести к созданию всепоглощающего оружия?

К ночи снег быстро стаял под внезапно приплывшей в район Москвы оттепелью. Дул сильный южный ветер, зонты вырывались из рук. Бо и Лё медленно шли, поддерживая друг друга, по пустынной дачной улице в Серебряном Бору.

— Что же ты ответил ему на вопрос об атомическом оружии? — спросил Градов.

— Я сказал, что на это уйдет не меньше столетия, — пожал плечами Пулково.

Градов усмехнулся:

— Большевики — странные люди. Иногда мне кажется, что при всем материализме их поступками движет какой-то мистицизм. Чего стоит, например, бальзамирование Ленина и выставление останков на поклонение. Что касается времени, то они его, сдается мне, запросто делят на четыре. Вот, возможно, что тебя спас-

ло, Лё, атомическое оружие. Они хотят его иметь через четверть столетия...

Большая фигура в милицейской форме вдруг вылезла из-за забора, нетрезво качнулась и произнесла, подняв ладонь к козырьку:

— Так точно, товарищ профессор! Даешь оружие через четверть столетия!

— Слабопетуховский! — вскричал профессор Градов. — Что вы тут делали? Опять подслушивали? И почему это на вас милицейская форма?

Весьма довольный произведенным эффектом, Слабопетуховский весело доложил:

— Выписался из героической РККА и записался в героическую милицию, товарищ профессор. Агафья Власьевна не даст соврать, третий день у вас участковым уполномоченным на страже благополучия. Позвольте задать личный вопрос. Лишний троячок случайно у вас не завалился в карманчике пальто?

В конце месяца Никита, Вероника и Борис IV возвращались в Минск. Собственно говоря, возвращались-то только родители, в то время как надменный младенец, урожденный москвич, совершал свое первое путешествие.

Среди толкотни и суеты Белорусского вокзала на перроне возле спального, так называемого международного, вагона собиралось семейство Градовых. Мэри приехала из дома вместе с любимым внуком, чуть позднее прибыл Борис Никитич, потом сосредоточенно пришагал Кирилл.

Никита держал на руках Бориса IV. Увесистый крошка чуть посапывал ему в щеку, переполняя все существо комдива неслыханной нежностью. Агаша, бывший младший командир, а ныне участковый уполномоченный Слабопетуховский, а также неизвестный красноармеец, присланный из наркомата, завершали погрузку багажа.

— Почему так много комсостава на перроне? — спросил Кирилл старшего брата. На юном его лице бы-

ло отчетливо написано, что он-то имеет право задать такой вопрос и рассчитывает получить ответ.

Никита это заявление немедленно прочел и ответил как свой своему:

— Большие маневры на польской границе.

— Вах, — сказала тут Мэри. — Дайте мне подержать самого лучшего ребенка в мире.

Борис IV тут же переключал к ней, стал сопеть теперь уже ей в щеку.

— А где же Вероника? — спросил Борис Никитич.

— Пошла купить журналов на дороге, — сказал Никита и поднялся на ступеньку, чтобы сверху высмотреть в толпе жену. — Вон она! Как всегда, в своем репертуаре — забыла обо всем на свете!

Вероника с ворохом журналов медленно двигалась в толпе отъезжающих и провожающих, штатских, военных, крестьян, совслужащих. Погруженная в журналы, она ничего не замечала вокруг, даже подозрительно крутящихся поблизости пацанов-беспризорников.

Вдруг кто-то из толпы тихо обратился к ней:

— Вероника Александровна!

Она подняла глаза и узнала Вадима Вуйновича. Смуглый, широкий в плечах, тонкий в талии, больше похожий на кавказца, чем полугрузин Никита, он смотрел на нее, не скрывая восхищения, вернее, не в силах скрыть его. Казалось, в следующую секунду он просто бросится к ней в любовном головокружении.

Вероника засмеялась:

— Вадим! Вы меня напугали! Шепчет, как шпион: «Вероника Александровна!»

Она давно уже понимала, какого рода чувства испытывает к ней этот человек, и всегда инстинктивно старалась снизить тон, обернуть драматические страсти-мордасти в легкую веселую двусмысленность.

— Простите, я не хотел обращаться к вам, но... но... — бормотал Вадим.

— Тоже едете в Минск? — спросила она. — Заходите в наше купе, мы в «международном». Познакомьтесь с его высочеством Борисом Четвертым.

Никита с подножки вагона видел идущих рядом Вадима и Веронику. Он знал, что бывшему другу нечего тут делать, как только выслеживать его жену. Мрак опустился на него, а тут еще он вдруг увидел бодро шагающий по перрону небольшой отряд, вроде бы полувзвод моряков в их черной форме с блестящими пуговицами, с трепещущими лентами бескозырок; один, в первом ряду, — с боцманской дудкой на широкой груди. Никите вдруг показалось, что в следующий момент отряд возьмет его на прицел, то есть мгновенно и без церемоний отомстит за Кронштадт.

— Нет, я не приду к вам в купе, — тихо сказал Вадим Веронике. — Я просто хотел вам счастья пожелать.

Вероника еще веселее засмеялась и взяла его под руку.

— Такой странный! Счастья пожелать! — Она махнула мужу всей пачкой только что купленных журналов. — Никита, смотри, кого я заарканила!

Вадим освободил свою руку, отступил и исчез в толпе.

Отряд моряков остановился и сделал левый поворот возле «международного» вагона, в котором отбывал не только комдив Градов, но и главком Западного военного округа Тухачевский. Оказалось, что это просто-напросто музыканты. Почти мгновенно они заиграли «По долинам и по взгорьям».

В последний момент перед отходом поезда по перрону, словно скоростная моторка, пронеслась Нина. Она еще успела прыгнуть на шею брата, лобызнуть золовку, подкинуть высокомерного младенца-племянника.

Поезд медленно тронулся. Никита и Вероника стояли в дверях вагона, обнявшись. Смеялись и посылали воздушные поцелуи. Все шло как по маслу под

бравурную интерпретацию красноармейско-белогвардейской песни минувшей войны. Провожающие, как им и полагается, махали руками, платками и шляпами. Мэри Вахтанговна, не в силах видеть удаление любимого детища, уткнулась мужу в мягкий шарф. Участковый уполномоченный Слабопетуховский то и дело доставал из-за голенища четвертинку водки. В его сознании, очевидно, произошел некоторый сдвиг времен.

— Шла дивизия вперед! — кричал он вслед поезду. — Даешь Варшаву!

— Прекратите, Слабопетуховский! — строго сказал ему Кирилл Градов. — Вы что, не понимаете, что вы несете?

Участковый протянул партийцу свою драгоценную четвертинку и очень удивился, когда его щедрая рука была решительно отодвинута.



ГЛАВА VII

На носу очки сияют!



В ноябре 1927 года Тоунсенд Рестон вновь покинул свою штаб-квартиру в Париже для того, чтобы совершить путешествие на «Красный Восток». Повод на этот раз в отличие от первого, два года назад, приезда был более отчетливым — освещение грандиозных празднеств, затеваемых в Москве в связи с десятилетием Октябрьской революции.

Десятилетие невысказанной власти, перед которой даже шабашники чернорубашечников и речи Муссолини кажутся лишь пьеской комедией дель арте! Власть стоит незыблемо и, по всей вероятности, вовсе не думает меняться, то есть утрачивать свою невысказанность, идти в том направлении, которое предсказал тогдашний собеседник Рестона, мистер Юстреллоу, теоретик движения «Смена веков».

В отличие от того профессора-эмигранта Рестон не испытывал никакого священного трепета перед «исторической миссией России», если он вообще когда-нибудь предполагал, что эта миссия действительно существует и с ней цивилизованный мир должен считаться. Он просто видел полную абсурдность и самую наглую беспардонность установившейся в разрушенной империи власти и ни на минуту не сомневался, что они раздавят этот свой

нэп в ту же минуту, как только решат, что он им больше не нужен.

Первая серия «русских» статей Рестона, которую он как раз и построил в форме дискуссии с неким русским, «осоветивающимся» историком, имела успех. После этого Рестон уже не сводил взгляда с Востока. Он знал о проходящей внутривнутрипартийной борьбе и ни на цент не верил ни тем, ни другим. Конечно, Устрялов ухватился бы за тот факт, что генеральная линия одолевает оппозицию с ее ультрареволюционными лозунгами. Вот, сказал бы он, вам и доказательство укрепления идеи нормальной государственности. Сталин — прагматик, ему нужна крепкая держава, а не мировой пожар, ему нужен нэп, нужны крепкие финансы, надежное снабжение, довольный сытый народ. «Bullshit», — бормотал Рестон в ответ на эту воображаемую тезу, коммунизм в этой стране зловеще укрепляется с каждым годом, и укрепляет его генеральная линия, а не болтуны из оппозиции. Оппозиция, при всем ее революционном демонизме, — это все еще отрывка либерализма. Истинный коммунизм начнется со Сталина.

Утром 7 ноября он вышел из «Националя» и пешком направился на Красную площадь, куда ему стараниями ВОКСа был выписан пропуск. Сопровождала его воксовская переводчица Галина, блондинистая молодая особа с повадками плохо тренированного скакуна. Она все время как-то дергалась в разные стороны и озиралась одновременно во всех направлениях.

«Может быть, все-таки переспать с ней? — думал Рестон. — Удовольствие явно будет не высшего сорта, но зато смогу похвастаться перед Хэмом в «Клозери де Лиля», что спал с чекисткой».

Он положил ей руку чуть-чуть ниже талии. Круп Галины немедленно ушел из-под руки, как льдина из-под сапога в ледоход. Крупные боты сбились на нервный галоп.

— Переведите мне, пожалуйста, все эти лозунги, — попросил Рестон.

Манежная площадь на всем протяжении была заполнена отрядами участников парада; они или стояли «вольно», или маршировали на месте, или начинали двигаться по направлению к Кремлю. Серый денек был крепко подогрет повсеместным полыханием одноцветных, то есть кумачовых, знамен. Со стен Исторического музея, Гранд-отеля и здания бывшей Думы смотрели портреты Ленина, Сталина, Бухарина и других членов Политбюро. «В принципе на этих портретах одно и то же лицо», — подумал Рестон. Меняются от вождя к вождю только очертания растительности.

Галина торжественным тоном переводила призывы с огромного полотнища на фасаде Исторического музея:

— «Взвейтесь, красные знамена! Пролетарии мира! Труженики всей земли! Готовьтесь, организуйте победу мировой революции!»

«Вот оно как, — хмыкнул Рестон, — где же ваши принципиальные различия, господин Устрялов?»

Проходившие мимо части Красной Армии демонстрировали новинку — яйцеподобные стальные шлемы. Промаршировал санитарный отряд женщин в голубых косынках. Марширует на месте полк Осоавиахима. Рядом машет сжатыми кулаками полк «Красных фронтовиков Германии», часть из них, несмотря на московский промозглый холод, в коротких баварских штанишках. Здоровенные молочные ляжки. «Фронтовики» вызывают у московской публики. Подвыпивший субъект в пролетарской фураженции плачущим голосом обращается к немцам: «Пулеметиков бы вам, браточки, пулеметиков бы! Показали бы вы тогда Гинденбургу!»

«Зиг хайль!» — ревут хорошо отъевшиеся в Москве немцы.

Через репродукторы по всей площади начинается произносимая с трибуны Мавзолея речь Николая Бухарина. Парад начался. Рестон и переводчица ускоряют шаги.

— Пролетарии! — театральным голосом взывал Бухарин. — Трудящиеся крестьяне! Бойцы Красной Армии и Флота! Пять лет с винтовкой в руке мы сражались против несметных сил врага! Мы разбили их вдребезги! Мы переломили хребет помещику! Мы испровергли банды капиталистов! Пять лет мы сражались против разрухи и нищеты, частного капитала и паразитов! Мы подняли страну из бездны, мы быстро идем вперед! Мы тесним капитал, мы окружаем кулака! Кто мы? Массы! Миллионы! Рабочие, крестьяне-труженики! Да здравствует Великая Октябрьская революция!

«И после таких речей тут люди еще на что-то надеются», — подумал Рестон.

«Почему бы ему не подарить мне эту авторучку? — подумала переводчица, глядя, как гость — «гость непростой, даже опасный», предупредили ее, — не замедляя хода, ставит стенографические закорючки в блокноте своим «монбланом» с золотым пером. — Ах, я была бы без ума от этой авторучки!»

— Скажите, Галина, это правда, что оппозиция сегодня собирается выступить? — спросил Рестон. — Говорят, что будет своего рода параллельная демонстрация, вы не слышали?

Она пошла крупной дрожью. Вот уж правильно предупреджали! Опасный!

— Да как же вы можете это говорить в такой день, господин Рестон?! Всенародный праздник, господин Рестон! Разве вы не симпатизируете нашей стране?

— Нет, не симпатизирую, — буркнул он.

В десять утра на Кремлевской стене вспыхнула огненная цифра «X». Из ворот Спасской башни на белом коне выехал наркомвоенмор Ворошилов. Всадник он был явно неплохой, в седле сидел вольготно, видно было, что наслаждался сегодняшней миссией: тысячи глаз устремлены на него, «первого красного офицера»! После завершения церемонии принятия рапортов мимо Мав-

волея пошла кавалерия: всадники в остроконечных «буденновских» шлемах держали пики с разноцветными флажками.

«Странная униформа, — строчил Рестон в свой блокнот. — Армия Хаоса. Гог и Магог».

Будто для того чтобы усилить это впечатление «опасного гостя», через площадь на всем скаку прошел национальный полк Кавказа. Летели черные бурки и голубые башлыки.

На трибунах для иностранных гостей, где преобладали разноплеменные коммунистические делегации, воцарился полный восторг. Оглядываясь, Рестон видел горящие глаза и поднятые в пролетарском приветствии кулаки.

Кто-то, кажется группа испанцев, запел «Интернационал». Тут же на разных языках загремела вся трибуна. Кто-то, принимая за своего, положил Рестону руку на плечо. «Мерзавцы», — думал журналист, улыбаясь, показывая все тридцать два американских зуба.

За трибуной Мавзолея в комнате отдыха был сервирован большой стол с вином, закусками и огромным самоваром. Здесь наблюдалась постоянная циркуляция вождей, среди которых мельтешили Молотов, Калинин, Томский, Енукидзе, Клара Цеткин, Галахер, Вайян-Кутюрье... В открытые двери доносились музыка и гром парада.

Сталин и Бухарин пили чай в уголке. Стаканчик слегка дребезжал о подстаканник в непролетарской лапке Николая Ивановича. Иосиф Виссарионович олицетворял стабильность, кусок за куском ел бутерброд с икрой. Как все грузины, он умел есть. Бухарин, истый наследник бездарной позитивистской интеллигенции, хлебал неаппетитно, шептал:

— Иосиф, есть точные сведения, что оппозиция выступит по крайней мере в Москве и Ленинграде.

Сталин улыбался, то есть слегка распуская рот под усами:

— Не волнуйся, Николай. Рабочий класс не допустит бесчинства кучки негодяев.

— Менжинский в курсе дела? — нервно интересовался Бухарин.

Сталин хмыкнул:

— Не волнуйся, дорогой.

Характер шума за дверьми между тем изменился. Мерное уханье маршировки увядало. Вразнобой играло несколько оркестров. Многотысячное шарканье подошв. Хаотическая многоголосица. Выкрики любви к правительству. Начиналась демонстрация трудящихся столицы.

Рестон допытывался у переводчицы, что это за дикие карикатурные фигуры плывут над колоннами. Та сначала вздыхала, закатывала глаза: ну это так, ну, в общем, политическая сатира, но потом, закусив губу, с некоторой даже злостью — вот, мол, вам за гадкое любопытство — выложила:

— Вожди британского империализма Макдональд и Чемберлен!

Ага, понятно, Рестон теперь и сам уже начинал разбираться. Вот плывет огромная фанерная фигура мирового рабочего с кувалдой. Перед ним оскаленные злоецие рожи империалистов в цилиндрах и с сигарами. Ражие парни, хохоча, тянут веревку. Рабочий вздымает кувалду и обрушивает ее на цилиндры. После справедливого наказания кувалда снова вздымается, а цилиндры выпрямляются. «Смешно, что он не может нанести окончательно сокрушающего удара, иначе провалится все шоу», — зловредничал в записной книжке Рестон.

Вдруг пошла какая-то необозримая колонна китайцев. Над ней на ходулях вышагивали империалистические чучела. Сатирический мотив затем схлынул. Колонны московских предприятий плакатами и передвижными радостными диаграммами рапортовали о своих достижениях. Тут и там проплывали портреты Сталина, Калинина, Рыкова. Представители колонн кричали в большие из оцинкованной жести рупоры:

- Да здравствует Сталин!
- Да здравствует всесоюзный староста!
- Да здравствует наше родное Советское правительство!

Рабочие завода имени Ильича развернули широкий транспарант: «За ленинизм, против троцкизма!»

Главная улица Москвы Тверская с ее гостиницами, ресторанами и магазинами была запружена медленно продвигающимися в сторону Красной площади колоннами демонстрантов. Погода в целом благоприятствовала излианию чувств, как, впрочем, и возлиянию ободряющих напитков. Бодрили и оркестры, шлось хорошо.

Над демонстрантами, на балконе гостиницы «Париж», стояли шесть фигур руководящего состава. Они приветствовали колонны, выкрикивали в рупоры лозунги революционного характера, бросали праздничные листовки. Проходящие под балконом «михельсоновцы» отвечали громким «ура» и аплодисментами.

— Кому вы аплодируете, товарищи?! — надрывался Кирилл Градов. — Ведь это же оппозиция! Троцкисты! Раскольники!

Он стоял на платформе грузовика с откинутыми бортами. Вместе с ним орали во все стороны несколько других агитаторов Краснопресненского райкома ВКП(б).

«Михельсоновцы» сначала и их просто награждали аплодисментами, потом стали соображать — что-то не по-праздничному базлают товарищи. Потом стали внимательнее приглядываться к «Парижу», пошел в ход классовый прищур — и впрямь что-то не то: в окнах гостиницы портреты Троцкого и Зиновьева, с балкона, если разобраться, доносится несуразное «Долой сталинский бюрократизм!»... а вон листовочка парит, пймай ее, Петро, да прочти! Прочешь мало, тут карикатура на нашу партию, товарищи. Вот гляньте: «ВКП(б) за решеткой».

«Во влипли, братцы!» — захохотал кто-то. Другой кто-то яростно заорал, потрясая кулаком: «Надули, сукины дети, испортили праздник!» Из переулка вырвалась группа молодых, краснощеких, пошла пулять яблоками по балкону: «Бей гадов!»

У входа в гостиницу стояла довольно плотная, не менее двух сотен, толпа оппозиционеров, преобладали люди студенческого и интеллигентного вида, было, однако, немало и рабочих. Покачивалось несколько расколнических лозунгов: «Да здравствует оппозиция!», «Да здравствуют вожди мирового пролетариата товарищи Троцкий и Зиновьев!» Все новые и новые группы молодых выскакивали из переулков, разрезали колонны, теснили митингующих, выхватывали то одного, то другого, сильно давали по шее или под дых, швыряли на мостовую. В ораторов на балконе все гуще летели паршивые яблоки, галоши. Оппозиционеры, видя, что каша заваривается вкрутую, пытались соединить руки, выкрикивали хором: «Долой Сталина! Долой сталинизм!» — защищались неумело и ничтожно, будто толстовцы собрались, а не такие же яростные коммунисты.

Подъезжали один за другим милицейские фургоны. Организованных патриотов становилось все больше, к ним присоединялись и демонстранты из проходящих колонн, и вскоре теснение оппозиции превратилось в повальное избиение. Оппозиционеры, бросая плакаты, пытались выбраться из толпы, скрыться в подъездах. Их тут же перехватывала милиция и без церемоний расписывала по фургонам.

Кирилл с райкомовского грузовика не без содрогания смотрел на разворачивающуюся картину. Литературные ассоциации, которыми, естественно, был богат градовский дом, услужливо подталкивали сопоставить происходящее с чем-то из «позорного прошлого», некий повтор, *deja vu*:* налет охотнорядцев на митинг социал-демократов.

* Дословно: уже виденное (*фр.*).

Рядом потирал руки радостно возбужденный товарищ Самоха. Борясь с отвращением, Кирилл взял чекиста за пуговицу.

— Что происходит, Самоха? Вы спустили с цепи Марьину Рошу!

Большой и складный мужик Самоха даже не повернул к юнцу головы.

— Ничего, ничего, — приговаривал он. — Это им пойдет впрок! Не будь интеллигентским хлюпиком, Грацов! История шутить не любит!

«Может быть, он и прав, — подумал Кирилл. — Скорее всего, он прав, пора уж раз и навсегда, как Ленин учил, выбросить белые перчатки. А чем я лучше этого Самохи? Не я ли весело смотрел, как на Преображенском висели двое таких же вот, в шпанских кепариках?»

Вдруг он увидел неподалеку, как двое, как раз двое и как раз «таких же вот», в кепариках с обрезанными под корешок козырьками, тащат женщину с портретом Троцкого в руках. Один сорвал с нее платок, другой ухватил за волосы. Не помня себя, Кирилл спрыгнул с грузовика и бросился на выручку.

Троцкий с переломанной палкой резко вылетел из рук женщины, в последний раз на сотую долю мига косым планом зафиксировался над бурлящей толпой — эх, а ведь совсем еще недавно жарили под тальяночку: «Посмотри-кось ты на стенку, етта Троцкого портрет, на носу очки сияют, буржаузию пугают!» — и свалился в грязь под ноги. Рифленая подошва немедленно прогулялась по легендарному лицу. Бросив женщину, молодчики принялись за Кирилла. Схватили за грудки, придавили к стене. Морды их сияли счастьем: эх, жизнь — прогулка!

Кирилл сопротивлялся, чем еще больше их веселил. Теперь один давил ему на шею, пригибая голову к земле, а второй заворачивал руку за спину.

— Пустите! — отчаянно завопил Кирилл. — Я не... я не троцкист! Я за... генеральную линию партии!

Ребята заржали:

— Ты за генеральную, а мы за солдатскую!

Неторопливо подошедший к возящейся тройце «рыцарь революции» Самоха в своих кожаных доспехах — явно не спешил, чтобы и хлюпику Градову кое-что пошло впрок, — показал уркаганам красную книжечку ОГПУ и освободил марксиста.

Между тем в другом районе столицы, на углу Моховой и Воздвиженки, откуда уже была видна пузатая Кутафья башня Кремля, события развивались несколько иным образом. Здесь оппозиции удалось лучше организовать. Митинг был гораздо многочисленнее и спокойнее. Никто не посягал на раскольнические плакаты и лозунги. Фасад Четвертого Дома Советов был украшен большим портретом Троцкого. Неподалеку от портрета в открытом окне время от времени появлялся оригинал, взмахивал пачкой тезисов, пламенно, в лучшем стиле Южного фронта тысяча девятьсот двадцатого года, бросал в толпу:

— Вопрос стоит просто, товарищи: или Революция, или Термидор!

В ответ неслись оглушительные аплодисменты и приветствия. Троцкий фиксировал историческую позу, отворачиваясь от окна, глотал аспирин. Голова трещала. «Надо было действовать три года назад, — в который раз корил он себя. — К пулеметчикам надо было обращаться, а не к студентам».

По периферии митинга по направлению к Красной площади медленно проходили колонны основной демонстрации. Демонстранты глазели на митинг, никак не выражая своего отношения к лозунгам. При появлении Троцкого в окне все, конечно, ахали. Вождь морщился. Ахают от любопытства, а не из солидарности. Не меньше, наверное, ахали бы, а может быть, и больше, если бы появлялся Шаляпин.

В одной из колонн продвигалась большая группа молодежи. Внимательно присмотревшись к этой груп-

не, можно было бы предположить, что она скорее принадлежит к оппозиции, чем к демонстрации послушного большинства. Между тем она двигалась смиренно и даже как бы апатично, стараясь не обращать внимания на зажигательные кличи из Четвертого Дома Советов. Семен Строило нес плакат «Слава Октябрю!», Нина Градова — портрет «всесоюзного старосты», похотливого козлобородого Калинина, руководитель же подпольного кружка Альбов не постеснялся вооружиться физиономией самого ненавистного Кобы. Им надо было во что бы то ни стало благополучно достичь Красной площади.

Движение колонн опять застопорилось, и группа Альбова, не менее сотни юных троцкистов, остановилась как раз напротив Четвертого Дома Советов. Волсей-неволей ребята теперь смотрели издали на своих, на портрет любимого вождя и открытое окно, в котором только что промелькнул оригинал. Альбов с тревогой озирает дрожащих от возбуждения соратников: только бы не сорвались!

Нина Градова, оглянувшись по сторонам, прошептала на ухо Семену:

— Ручаюсь, здесь полно агентов Сталина! Посмотри, Семка, вон шныряют шакалы!

— Факт. Где же им еще быть? — натужно пробасил Семен и левой рукой обнял ее за плечи, как бы передавая свое классовое, уверенное в своей правоте спокойствие. Ему еле удавалось сохранять широту и размеренность движений, то есть свой главный маскарад. Все у него внутри трепетало и звало как раз к полной противоположности — юлить, оглядываться, прятать взгляд. Скоро все выяснится. Почти наверняка она поймет наконец, кто он такой, вот тогда и увидим: любишь или не любишь, профессорская дочка? Вот тогда и проверится искренность твоих чувств, что тебе дороже: троцкизм твой говенный или любимый мужик. В новую жизнь ведь тебя могу провести гордой поступью!

Из-за плакатов, как из-за мейерхольдовских декораций, вынырнуло красивое лицо Олечки Лазейкиной, послышался ее горячий шепот:

— Ребята, он! Смотрите, Лев Давидович!

В окне и в самом деле вновь возник Троцкий. Застыл на мгновение с поднятой рукой, потом начал швырять вниз призывы:

— Мы за немедленную индустриализацию! Мы за партийную демократию! Товарищи, пламя революции вот-вот охватит Европу и Индию! Китай уже рычит! Бюрократия — это оковы на ногах мировой революции!

Митинг под окнами опять взорвался криками и аплодисментами, вверх полетели шапки. Трудящиеся из колонн по-прежнему глазели на все происходящее, как на спектакль. Началось медленное движение к Кремлю. Альбов шептал своим:

— Спокойно, ребята! Мы проходим тихо. Наша цель — Красная площадь.

Вдруг все замерли на Воздвиженке. С крыши Четвертого Дома Советов спускался крюк. Из слухового окна две пары чьих-то рук дергали толстую веревку, стараясь подвести крюк под край портрета Троцкого. Оппозиция возмущенно взревела. В колоннах кто-то восторженно взвизгнул:

— Глянь, портрет хотят стащить!

Троцкий некоторое время еще швырял призывы, явно не понимая, что происходит, потом опять исторически застыл. Распахнулось соседнее окно, и в нем появился ближайший сподвижник Муралов с длинной половой щеткой. Наполовину высовываясь из окна, он елозил щеткой по стене, пытался перехватить зловердный гэгэушный снаряд.

— Ура! — вопили теперь восторженно в топчущихся колоннах.

Борьба щетки и крюка захватила всех. Троцкий отступил от окна и сказал приближенным:

— Мы проиграли. Массы инертны.

Между тем дело обстояло как раз наоборот: под давлением щетки крюк позорно ретировался. Массы с энтузиазмом аплодировали. Отсутствие чувства юмора помешало вождю перманентной революции использовать свой единственный шанс.

Парад продолжался весь день. В приемной на задах Мавзолея прислуга уже в десятый раз заново сервировала стол. Иногда открывалась дверь на трибуны, и тогда становились видны коренастые фигуры вождей, неутомимо приветствующих демонстрантов. Слышался шум проходящих колонн, рев оркестров, возгласы любви.

Охрану внутри Мавзолея несла кавказская стража самого Сталина. Два джигита, вооруженные револьверами и кинжалами, стояли у дверей подземного тоннеля, ведущего за кремлевскую ограду. Вдруг одному из них послышалось что-то подозрительное. Он открыл дверь и увидел в тоннеле троих стремительно приближавшихся командиров РККА.

— Кто пропустил?! — взвизгнул охранник. — Стой! Стрелять буду!

Подбежали еще два кавказца, руки на рукоятках кинжалов. Командиры подошли уже вплотную, напирали, размахивали пропусками. Один из них гулко ба-сил:

— Какого черта?! Нас послал начальник академии Роберт Петрович Эйдеман для охраны правительства! Вот пропуска! Комполка Охотников, комбаты Геллер и Петенко! Прочь с дороги!

Охранник забрал пропуска, начал их разглядывать. Командиры как-то странно пружинились, взгляды их обшаривали буфетную залу, словно кого-то выискивая среди входящих и выходящих вождей. Осетин-охранник поднял рысией взгляд на басистого Охотникова, от напряжения приподнялся на носки, будто гончая перед рывком.

— Неправильная печать на ваш пропуска! Почему?

Он еще колебался, предположить ли самое нехорошее, однако инстинкт ему говорил: надо действовать немедленно, в следующую секунду, иначе будет поздно.

Петенко вырвал у него из рук пропуска.

— Без печати ты не видишь кто мы? Орденов наших не видишь, дикарь?!

Охранник засвистел в свисток. Буфетная наполнилась охранниками, работниками секретариата. Прогрел голос: «Сдать оружие!» Открылась дверь с трибуны, вошли Сталин, Рыков и Енукидзе. Кто-то из них удивленно воскликнул: «Что здесь происходит, товарищи?!»

При виде Сталина Охотников, Геллер и Петенко бросились головами вперед. Кавказцы повисли на них. Все выглядело очень нелепо: опрокидывающиеся столы, разлетающиеся вдребезги бутылки и тарелки, съехавший в угол и извергающий пар самовар, перепуганные вожди, возящаяся вокруг возмущенно орущих командиров кавказская охрана; над всем царил крепкий до тошнотворности запах разлившегося коньяка.

Все это продолжалось несколько секунд, и в течение этих секунд Сталин понял: происходит что-то очень нехорошее, может быть, то самое, что иногда снится во сне со всеми подробностями, то самое, что не дает спать по ночам. То самое происходит среди бела дня, над священным телом революции. Надо немедленно бежать. Не имею права рисковать собой.

В следующую секунду Охотникову удалось отшвырнуть двух охранников. Он подскочил к Сталину и со всего размаха ударил его кулаком по голове. Сапоги Сталина разъехали в коньячной луже, он упал в угол, мелькнуло: «Конец революции!», и потерял сознание. Осетин достал сзади Охотникова кинжалом в плечо. Брызнула кровь.

— Возьмите их живьем! — орал Енукидзе.

Сталин в нелепой позе лежал в углу, вокруг были разбросаны слетевшие со столов закуски. Охотников зажимал рану правой рукой, вся левая часть спины была в крови, в левой руке он теперь держал револьвер. В

мельтешне он никак не мог прицелиться в Сталина. Что-то мешало ему, красному герою-головорезу, стрелять в тех, кто ни при чем.

Еще через несколько секунд командирам с пистолетами в руках удалось протиснуться в тоннель и пуститься в бегство. За Кремлевской стеной их ждали две мотоциклетки.

— Ушли, мерзавцы! Иосиф, как ты? — участливо склонился Рыков.

Сталин сидел сморщившись, будто уксусу хватанул по ошибке. Он расстегнул пуговицы, чтобы оправить собравшуюся на животе шинель.

— Далеко не уйдут, — пробурчал он.

Демонстрация между тем продолжалась. «Мы — красная кавалерия, и про нас былинные речистые ведут рассказ», — голосили девчата в косынках. Колонна, в которую затесалась группа Альбова, вступала на Красную площадь, демонстрируя все, что полагается: огромный гроб «русского капитализма», гидру контрреволюции с головой Чемберлена, макет будущего Днепрогэса. Проходя мимо фасада Верхних торговых рядов, колонна обтекала памятник Минину и Пожарскому. В этом именно месте Альбов выбежал из ряда и, широко размахнувшись, швырнул на торцовую мостовую портрет Сталина. Усатой физией вверх портрет проскользнул по слизи в сторону цепи красноармейцев, выстроившихся перед Мавзолеем.

— Пора, товарищи! — закричал Альбов своим.

Троцкисты уже отшвыривали официальные плакаты и разворачивали над головами припрятанный до этого момента транспарант «Долой термидорианцев!». Такой же лозунг спускался на огромном полотнище из окон Верхних торговых рядов прямо на обозрение правительственным трибунам и почетным гостям: «Долой термидорианцев!»

«Долой! Долой!» — скандировали юнцы. Нина то размахивала руками, то вцеплялась в плечо Семена.

«Долой! Долой!» — морозные волны восторга окаты-вали и воспламеняли ее. В такую минуту на пулеметы побежать, погибнуть, испариться! «Долой!»

Власти немедленно начали принимать меры. Рота пехотинцев бежала через площадь, стаскивая винтовки и отмыкая штыки. Приказ был — лупить прикладами, не жалея. В тыл колонны врезался эскадрон кавалерии. Честные трудящиеся расступались, показывая конникам: «Это не мы, братцы, это вон там, жи-довня!» Махали вслед кулаками, выражали гнев: «Бей гадов!» У конницы задача, однако, была не бить, а от-теснить группу с площади на зады Верхних торговых рядов. Разрозненно, со свистками, создавая дикую па-нику, подбегали со всех сторон милиционеры: «Лови предателей!»

Сцепив руки, группа Альбова защищала свой транс-парант, пока могучие лошади и летящие в лица при-клады не вдавили ее под темную арку проходного дво-ра. «Наше дело сделано! Все врассыпную!» — донесся откуда-то голос предводителя.

Рассыпаться, увы, было уже некуда. Через несколь-ко минут группа оказалась в узком Ветошном проезде, отделенном от Красной площади массивным зданием рядов. Здесь уже началось настоящее избиение. Мили-ция и красноармейцы орудовали палками, прикладами и шашками в ножнах. Мелькали окровавленные, обез-ображенные лица. «Фашисты! Убийцы!» — истошно кричали троцкисты. Их сбивали с ног, волокли к тю-ремным фургонам. Кое-кто еще пытался бежать, сме-шаться с толпой зевак. Их опознавали и вытаскивали на избиение. Творился сущий бедлам.

Двое красноармейцев, гогоча, волокли Нину Гра-дову. Один обхватил ее сзади, другой рвал пуговицы на пальто.

— Вот сейчас мы тебя, сучка, заделаем! Вот тащи ее, Коляй, за бочки! Там мы ее заделаем!

Разрываясь от крика: «Семен! Семен!», Нина пыта-лась освободиться от пронзительно-вонючих ублюдков.

Налетела волна воющих людей и всадников, разорвала сцепление, отшвырнула Нину к дверям какой-то москательной лавки. Дверь приотворилась, масляная рожица вынырнула из темноты.

— Влезай, барышня, спасайся!

Она в ужасе отшатнулась, снова закричала: «Семен! Семен!» — и вдруг увидела его.

Среди всей этой мрачной свалки инструктор Осоавиахима был светел, даже лучист. Покуривая, он стоял на высоком крыльце торговых рядов и показывал гэпэушникам, кого брать в толпе. Не веря своим глазам, она стала пробираться по стенке поближе к крыльцу. «Семен!» — еще раз крикнула она, и тут он ее услышал, усмехнулся, протянул руку, сквозь вопли до нес донеслось: «Игра окончена, Нина Борисовна! Влезай сюда!» Она увидела, как один из гэпэушников в этот момент подтолкнул Семена и вопросительно показал на кого-то в бурлящей толпе: «Этот?» — и как Семен торопливо закивал: «Этот, этот».

— Доносчик?! — истерически закричала Нина. — Семен, ты доносчик!

Толпа еще раз крутанула ее и отнесла прочь. Оглянувшись, она еще заметила, что Семен и на нее показывает гэпэушникам: вот эта, мол, тоже. В следующий момент какой-то конник дотянулся до ее головы древком своей парадной пики. Нина потеряла сознание и свалилась под ноги толпе.

Сражение было окончено. Милиция запикивала измочаленных троцкистов в фургоны. Толсторожий и задастый мильтон за руку тащил бесчувственную Нину к углу Никольской улицы. На углу вдруг уличный сброд, нищие и торговки горячей снедью окружили блюстителя порядка.

— Глянь, глянь, народ, девчонку убили, изверги! Бандиты, мазурики, кровопийцы, школьницу-красавицу порешили!

Мильтон растерянно озирался:

— Ну, чего, чего?! Живая она! Под арест попала, троцкистка ж!

Какая-то торговка швырнула в него черствым пирогом, полетел недопроданный товар, бабы и нищие завопили:

— Сам ты троцкист! Морда бесстыжая! Креста на вас нет! Под суд пойдешь, участковый!

Мильтон плюнул, бросил Нину, выбрался из толпы деклассированного элемента. Бабы подняли Нину, увидели: и впрямь живая, протерли платком затекшее и рассеченное лицо, прикрывая от милиции, повели ее в глубь Никольской, где стояло наготове несколько карет «скорой помощи». Вдруг из одной кареты спрыгнул доктор-блондин, рукастый, ногастый, ахнул, зашатался, чуть сам не сыграл.

— Нина! — кричит. — Нина!

Все сошлось. Разбой в Китай-городе и Савва Китайгородский с избитой принцессой на руках.

Внутри машины Савва уложил Нину на носилки, сделал ей укол морфина, протер лицо марлей, прижег йодом порезы и места содранной кожи, перебинтовал разбитую кисть руки. По дороге в Шереметьевскую больницу Нина то отключалась, то вдруг выныривала, тихонько стонала, хоть боли и не чувствовала из-за морфина, ей хотелось, чтобы Савва приблизил к ней свое лицо.

Что за лицо в самом деле! Лицо такой тонкости и чистоты: ни усищ каких-нибудь, ни бородавок, просто чистое человеческое лицо, я таких лиц никогда не видела в жизни!

Она не понимала, что с ней происходит и куда ее везут, однако чувствовала уют, покой и себя предметом заботы, маленькой хныкалкой.

— Савва, Савва, это ты, не уходи, пожалуйста...

Савва, сам еле жив от счастья и нежности, приткнулся рядом на полу трясушей кареты, держал ее руку, бормотал:

— Ниночка, потерпите еще немножко, сейчас все будет хорошо...

Вдруг она вспомнила гнусные морды красноармейцев, летящие в лицо приклады, дико вскрикнула, приподнялась на локте.

— А-а-а, что они сделали с нами! Охотнорядцы! Фашисты! Савва, Савва, революция уничтожена!

«Да и черт с ней, с вашей проклятой тираншей-революционеркой, — думал Савва. — Единственное доброе дело, что она сделала, — это привела тебя ко мне!»

— Успокойтесь, Ниночка, — умолял он. — Ведь вы-то сами живы, не так ли? Ведь молодость-то ваша, ваша поэзия живы!

Она снова откинулась на носилках, наркотическая улыбка опять овладела ее лицом.

— Какое у тебя лицо, Савва, — шептала она. — Сравни два лица, твое и мое. Мое — рожа, а твое лицо с большой буквы. Ты можешь своим лицом поцеловать мою рожу? Поцелуй туда, где не разбито!

Он осторожно выискал неразбитое место на ее лице чуть выше угла подбородка и прикоснулся к нему губами.

На трибунах для иностранных гостей возле Мавзолея творилось явное замешательство. Многие заметили, что нечто странное происходит среди правительства, куда-то исчезли Сталин и Рыков, Бухарин все время пугливо озирается. Через некоторое время Сталин занял свое место посередине, но он был явно не в себе, лицо почернело. Потом на другом конце огромной площади произошло какое-то завихрение, туда проскакал отряд кавалерии. На фасаде тяжеловесного здания напротив трибуны косо повис какой-то короткий лозунг, вокруг него явно шла борьба: какие-то люди пытались его стащить, другие не давали.

Рестон злился, его переводчица умудрилась где-то затеряться в самую ответственную минуту, а может быть, и нарочно скрылась, чтобы не переводить зло-

вредный лозунг. Он пытался что-то понять среди непостижимой кириллицы, и вдруг, как ни странно, кое-что удалось, он сообразил, что второе слово происходит от французского «Le termidor» и это имеет отношение к троцкистскому вызову в адрес правящего крыла партии. Значит, оппозиция и вправду выступила, а он тут торчит на дурацкой трибуне среди сборища красных олухов и теряет исторические минуты.

Он пошел вверх по проходу, пытаясь найти кого-нибудь из коллег, «журналистов империалистической прессы». Вокруг с некоторой уже заунывностью звучали «Бандьера росса» и «Ди Фане хох!», энтузиазм вытеснялся промозглостью и двусмысленностью ситуации. Вдруг лицом к лицу столкнулся со знакомым господином в хорошем твидовом реглане.

— Ба, профессор Устрялов! Вот удача! Узнаете меня?

Устрялов приостановился явно без большой охоты. Конечно же, узнал немедленно, но делал вид, что припоминает, вот-вот, секунду, да, да... быстрый взгляд через плечо назад, ах да...

— А-а, это вы... простите... ах да, Рестон... Вы из Чикаго, кажется?

Рестон запанибратски, чтоб перестал валять дурака, крепко взял его под руку.

— Что тут происходит, Устрялов? Говорят, идет какая-то другая демонстрация?

— Я знаю, ей-ей, не больше вас. — Устрялов попытался высвободиться.

— Можете дать короткое интервью? Пять минут возле Мавзолея два года спустя. Неплохо, а? — продолжал давить Рестон.

Устрялов высвободил руку, глаза его все время отклонялись, как бы не очень-то и замечая американца, с которым он вел столь содержательную беседу два года назад.

— Простите, сейчас об этом не может быть и речи... Еще раз извините, я спешу...

Он побежал по деревянным ступеням вниз и даже на часы посмотрел: спешу, мол. Рестон, как истый «шакал пера», все-таки крикнул ему вслед «a provocative question»* :

— Значит, ваша теория рушится, Устрялов?

Профессор чуточку споткнулся, пробежал еще несколько шагов, потом все-таки обернулся и крикнул, вызвав удивление делегации голландской компартии:

— Ничуть! Происходит дальнейшее укрепление российской государственности!

Рестон устало положил в карман перо и блокнот. Появилась Галина с двумя дурацкими воздушными шариками, на которых красовалась цифра «X». Рестону в этот момент крайнего раздражения эти два «X» показались зловещей угрозой — «экс-экс»: больше я сюда не ездук, хватит, есть много других тем, поеду в Испанию, там хотя бы я не завишу от переводчиков.

— Где здесь выход? — спросил он Галину. — Я устал.

— Товарищ Рестон! — обиженно воскликнула девица.

— Какой я вам, к черту, товарищ, — буркнул он.

Троцкистский лозунг давно уже исчез с фасада ГУМа. Нескончаемое шествие продолжало вливаться на Красную площадь. Рестон смотрел на выплывающие один за другим из-за Исторического музея портреты Сталина. Потом достал блокнот и написал в нем два слова: «Увертюра закончена». После этого немного повеселел: заголовок ему нравился.

Антракт III. Пресса

За покупку жилплощади подлежат выселению из Москвы: трудовые элементы в один месяц, нетрудовые элементы в одну неделю.

* Провокационный вопрос (англ.).

«Религиозники» подлежат прохождению через специальную комиссию по уклонению от военной службы.

В Театре Вс. Мейерхольда — «Рычи, Китай!», пьеса С.Третьякова.

В цирке Ник-Дьяволо — «Мертвая петля на велосипеде».

В кино звезды экрана: Глория Свенсон, Джекки Куган, Ксения Десни, Чарли Чаплин.

Избирательного права лишены: кулаки, служители культа, бывшие царские чиновники, подозрительные лица свободных профессий.

Громилы проникли в магазин Михайлова и Лейн (Покровка, 20).

Семашко вскрыл причину растущего хулиганства: наша молодежь росла в период самодержавия.

Исчез Николай Сергеевич Лоренц, 29 лет.

Тихо скончался протоиерей, профессор богословия Н.И. Боголюбский.

Возвратился из отпуска член коллегии Наркоминдела г. Ротштейн.

Всемирно известная паста «Хлородонт»! Хна-басма! «Тройной» одеколон! Кровати!

Отдел снабжения дивизии. Торги. Капуста и картошка пудами.

Разоблачено и обезврежено 49 латвийских шпионов.

«Межрабпом — Русь». Картина собственного производства «Мать» (тема заимствована у Горького). В гл. ролях В.Барановская, Н.Баталов. Режиссер Пудовкин, оператор А.Головня.

Новое поражение Сун Чуан Фана.

Избиение фельетониста в Одессе.

«Сухая Америка», карикатура: из книги законов льется струя самогона.

Гвозди. Пробки. Пилы. Белье.

Тезисы тов. А.И.Рыкова к XIV партконференции «О хозяйственном положении страны и задачах партии».

50-летие смерти Михаила Бакунина. Зал МГУ переполнен. Ораторы: ректор МГУ А.Я.Вышинский, нарком просвещения А.В.Луначарский... «Мы не отрекаемся от своих предшественников!»

Академик П.П.Лазарев: «Гениальные исследования Лобачевского доказали существование новых видов пространств, отличных по своим свойствам от пространств, в которых мы живем...»

Поэма Л.Овалова «Стальной пропагандист». Посвящается Алексею Ивановичу Рыкову.

Михаил Кольцов. Искусство или Партия? Много вопросов возникает в Москве у рабфаковца с потертыми сзади, как зеркало, штанами. Вот его актив: 23 рубля стипендии, котлеты с гречневой кашей, вера во всемирную революцию, кипяток в общежитии, три фунта сала от отчима, случайные билеты на что-то.

Вот его пассив: учебная нагрузка, партнагрузка, профнагрузка, авиахимнагрузка, мучительные слепящие витрины, неоплаченные членские взносы, ожоги мороза сквозь соглашательские сапоги.

Тов. Н.Поморский о Нью-Йорке: «...К нашему удивлению, статуя Свободы оказалась пустой внутри... В центре Нью-Йорка ощущается исключительная газолиновая вонь... Нью-Йорк с его самыми высокими небоскребами (до 58 этажей!) поднимает в душе огромную злобу... Рабочая революция должна будет ликвидировать этот уродливый город...»

«Союз рабочих и науки, слившихся воедино, раздавит в своих железных объятиях все препятствия на пути к прогрессу!» Лассаль.

«...Дух Ленина витает над сухими колонками цифр!» Л.Троцкий.

Михаил Кольцов: «Не может быть и речи о возвращении нашей торговли на заезженные рельсы капитализма... государство не может допустить анархии рыночного оборота, «свободной игры цен»... ничего ззорного нет в том, что соответствующие органы призовут кое-кого к порядку...»

Антракт IV. Пляска пса

Юный князь Андрей, ошибочно названный его пынешними родителями Пифагором, в своем обычном великолепном настроении бегал среди сосен, лаял на вороп, гонял белок. Вид у него издали был грозный: широкая черная грудь, черная шерсть вдоль длинной спины, мощные светло-серые лапы, большие чутко стоящие вверх уши, пасть, наполненная дивным сверкающим оружием. Белки должны были до смерти бояться этой налетающей бури, мчаться прочь, взлетать по стволам сосен к самым верхним веткам, и они мчались и взлетали, но, кажется, не боялись. Следует признать, что они взлетали не к самым верхним, а к самым нижним ветвям и оттуда смотрели на князя Андрея. Иногда ему казалось, что они просто играют с ним, вот в чем дело.

«Что я буду делать, если догоню одну из них? — иногда думал он. — Зубами брать нельзя, может пострадать шкурка невинной твари. Что делать, — вздыхал он иной раз, сидя под сосной, — мой бег слишком быстр, по сути дела, догнать их мне ничего не стоит».

Однажды случилось так, что ему и догонять не пришлось. Стремительно несущаяся впереди белка вдруг остановилась и оглянулась на него взглядом той чухонки, что повстречалась в поле под Дерптом во время первого Ливонского похода. И как тогда он осадил коня, так и сейчас присел на задние лапы. Волна любовной жажды, радостной робости и молодого ликования окатила его. Белка смотрела на него без страха, как та девушка в холщовом платье смотрела на сверкающего русского витязя. Потом животное начало потонуло в ней, как пружина, и она мгновенно унеслась под недоступную макушку сосны.

Князь Андрей был уверен в том, что это была та девушка, так же как и в том, что он, трехлетний немецкий овчар Пифагор Градов, когда-то прошел уже через эту землю в

образе русского князя. Вот где-то она сейчас прыгает по веткам со своими товарками, совокупляется со своим самцом и иногда смотрит на него вниз своими псевдобессмысленными глазами. Вряд ли она понимает до конца, кем была тогда и когда это было, так же, впрочем, как и он не вполне отчетливо осознает понятия «князь», «Россия», «царь Иваш»... Князь Андрей, разумеется, не знал своего имени, может быть, потому, что был опять чрезмерно молод. Он любил, когда старшие называли его ошибочно Пифагором, а еще больше — Пифочкой, что, казалось ему, вообще устраняло ошибку.

Он любил всю свою семью: мать Мэри, отца Бо и дядю Лё, вторую мать Агафью и второго дядю Слабопетуховского (всякий раз, как произносилось это имя, ему хотелось его со смехом повторить), старших братьев Никиту и Кирилла, сестру Веронику, принесшую в дом недавно неплохого щенка Бориску IV, ну и, конечно, больше всего сестренку Нинку, которая, к сожалению, мало с ним играет.

Все, что напоминало ему о прежнем, пока что представляло перед ним лишь яркими вспышками счастья: большие окоемы перед последним приступом на Казань или сверкающая масса воды, когда впервые с конной дружиной прорвался к Балтике, моменты утоления голода или жажды, встречи с женскими людьми и этот жест задергивания полога шатра, взгляд друга, еще не ставшего извергом...

В этом месте, когда вдруг выплывал взгляд друга или сам друг, «еще не ставший...», князь Андрей легонько рычал, тряс ушами, чтобы отогнать дальнейшее, и пускался вскачь вокруг сосен или вокруг мебели, снова весь в радостных бликах нынешнего и тогдашнего.

Однажды утром Савва, который хотел войти в семью князя Андрея, привез на машине Нинку и вынес ее из машины на руках, говоря, что ей нельзя оставаться в больнице. Мать страшно закричала: «Что случилось?!» Нину понесли вверх в ее комнату. Князю Андрею удалось проскользнуть впереди всех и распластаться под кроватью. Он наотрез отказался выходить оттуда и даже немного зарычал, когда вторая мать взяла его было за ошейник. Тогда отец сказал: «Оставьте его».

Мрак и пожарище вдруг возникли перед ним, поле после боя, тени мародеров, черные хлопья нежизни, взлетающие вороньем над невыносимым запахом злодеяния. Он

чувствовал, что эти хлопья все гуще собираются над любимой сестрой, а стало быть, и над ним самим. Оттуда, из прежнего, стала надвигаться череда ужасного: горизонты закрылись, мир сужался в клетки, в застенки, в каменные колодцы, оттуда вытаскивали, но не для спасения, а на самую страшную муку, и застывшее лицо изверга, бывшего друга, царя Ивана.

Сколько времени прошло, князь Андрей не знал, да он и не задавался этим вопросом. Он старался не скулить, хотя только скулеж ему бы мог помочь сейчас. Вдруг Нинина рука упала с кровати и повисла прямо перед его носом. Он тронул ее носом, она была холодна даже для его вечно холодного влажного носа. Он начал жарко ее лизать своим вечно жарким и длинным, будто поток вулканической лавы, языком. Вдруг рука поднялась и взяла его сразу за оба уха. «Пифочка, милый», — прошептал голос сестры.

Хлопья нежизни разлетелись, будто вспугнутые крылатым всадником. Пес плясал под луной или под солнцем, что там было в тот миг в наличии. Казематы вдруг раскрылись, будто выдавленные мощным воздухом. Юность звала назад. День бегства летел вокруг к зеленым холмам Литвы.



ГЛАВА VIII

Село Горелово, колхоз «Луч»



Ранней осенью тысяча девятьсот тридцатого года, однажды под вечер, строго по расписанию или почти строго, словом, к радости всех ожидающих, на Казанском вокзале Москвы началась посадка в пассажирский поезд Москва — Тамбов.

Советских людей тех времен при посадке в поезд неизбежно охватывала нервозность на грани паники. Исправно работающая транспортная система все еще казалась чудом, тем более что опять пошли крутые времена и за многими предметами ширпотреба, что при нэпе имелись в любой лавке, приходилось ездить в Москву. Тамбовские крестьянки, обвешанные поперх своих парадных плюшевых жакеток мешками и сумками, уже вступая под гигантские своды вокзала, призванного напоминать о XXI веке, но напоминающего только лишь совсем недавний «мирискуснический» модерн, готовились к бою за свой вагон и за свою полку. Старухи неслись сквозь толпу на перрон с исключительной скоростью, успевая покрикивать еще на своих товаров: «Давай, давай!.. Маша, не отставай!.. Чей ребенок, кто ребенка потерял?» Вслед им московский люд, представленный на вокзале не лучшей своей частью, а именно носильщиками, посылал отменнейшие напутствия. Дореволюционную

благочинность на этом вокзале восстановить пока не удалось, да, видно, никогда и не удастся. Стойбища татар и чувашей почти полностью покрывали кафельный пол. В туалетах шла посильная постирушка. В воздухе стоял неизбывный запах Казанского вокзала: смесь хлорки, мочи, размокшего урюка и отторгнутого ви-негрета.

Братья Градовы не спешили. С уверенностью молодых мужчин, занимающих твердые позиции в обществе, они медленно шли по перрону, не обращая ни на кого внимания, занятые только друг другом. Никита только сегодня утром прибыл с семейством из Минска и, когда узнал, что младший брат отбывает в Тамбов, вызвался проводить. Кирилл не возражал.

За прошедшие два года он как-то смягчился в своем ригоризме и даже не возразил, когда брат вызвал машину из наркомата. Даже и черты его лица несколько смягчились, и теперь уже трудно было, несмотря на одежду мастерового, не опознать в нем молодого человека «из хорошей семьи». Впрочем, может быть, этому он был обязан новой детали своего облика — очкам в тонкой металлической оправе. Они немедленно выдавали его непролетарское происхождение.

Никита, как всегда, был в форме высшего командира РККА, все подогнано до последней складочки. Эта вот подогнанность и классный покррой были тем, что немедленно отличало высших командиров от средних и младших. Вроде бы все то же самое — гимнастерки, ремни, галифе, сапоги, а между тем высшего командира всегда можно было издали распознать и не вглядываясь в петлицы.

В последние годы братья виделись редко, еще реже общались, разве только за столом в Серебряном Бору. Ссоры, всякий раз возникавшие, как говорится, на пустом месте, но вспыхивавшие буйным пламенем, то из-за Кронштадта, то из-за привилегий командного состава, отдалили их друг от друга. Нынешние проходы на Казанском вокзале, разумеется, были попыт-

кой преодолеть отчуждение, и во взглядах Никиты на Кирилла отчетливо читалось: «Ну, Кирка, перестань дуться», а в ответных взглядах Кирилла на Никиту: «С чего ты взял, что я дуюсь?» — то есть опять восставали их вечные отношения: любовно-снисходительные со стороны Никиты и любовно-оборонительные от Кирилла.

Младший старшего обожал еще с тех времен, когда маменькин баловень Ника вдруг резко и бесповоротно ушел к красным, проскакал героем все фронты Гражданской войны и сделал головокружительную военную карьеру. Никогда бы и самому себе Кирилл не признался, что именно этот выбор старшего брата толкнул его в объятия «самого передового учения». Совсем не в этом дело, а в том, что у него и у самого достало ума понять, в каком направлении идет корабль истории. И разве страннейшая эволюция Никиты, эта нынешняя как бы пестуемая им безыдейность не доказывают полной самостоятельности Кирилла?

Посадка на тамбовский поезд стала уже напоминать штурм Зимнего дворца. Спасаясь от проносящихся мешков и чемоданов, Никита и Кирилл остановились покурить возле фонаря. Как раз в этот момент фонари зажглись по всей станции. В конце перрона на стене вокзала высветился большой портрет Сталина и лозунг: «Да здравствует сталинская пятилетка!» Никита вынул коробку дорогих папирос «Северная Пальмира». Кирилл, однако, уклонился, предпочел свой копеечный «Норд».

— Все-таки чем ты там будешь заниматься, на Тамбовщине? — спросил Никита.

Кирилл ответил не сразу, как бы поглощенный раскуриванием своего тугого «гвоздика», потом пробормotal:

— Там налаживается сеть идеологического просвещения...

— Как раз то, что больше всего нужно мужикам, правда? — усмеялся Никита.

Кирилл не ответил на иронию: ему не хотелось, чтобы разговор опять соскальзывал к серьезным, если не мрачным темам, чтобы опять сталкивались его высокая партийная идейность и нарочитый цинизм военспецов.

— А куда именно на Тамбовщине ты направляешься? — с какой-то особой ноткой в голосе спросил Никита.

— В Горелово и в несколько новых колхозов Гореловского уезда, то есть района, — сказал Кирилл и уже хотел перевести разговор на семейные темы, но тут Никита усмехнулся.

— Новые колхозы в Гореловском уезде! — Он положил руку брату на плечо. — Поосторожней, Кирка, там, в Горелово.

— Что ты имеешь в виду?

— В двадцать первом году все гореловские мужики ушли в антоновскую армию. Нам пришлось брать это село штурмом дважды за один месяц.

— Ну, ты опять за свое! — воскликнул Кирилл с сильной и искренней досадой.

Никита снова усмехнулся, но теперь уже как бы в свой собственный адрес, он явно был смущен.

— Да, братишка, я все еще думаю об этих кошмарах. Как получилось, что мы, армия восставших, так быстро стали армией карателей?

Кирилл уже опять готов был воспламениться: нежность к брату боролась в нем с обидой за свою партию.

— Эх, Ника, десять лет почти прошло, коллективизация идет полным ходом, а ты все думаешь о кронштадтских анархистах и антоновских бандитах!

— Странная наивность, — мрачно произнес старший брат. — Сейчас, мне кажется, самое время об этом вспомнить. Неужели ты думаешь, что народ в восторге от того, что нэп вдруг с бухты-барахты отменили, землю забрали и начали коллективизацию? Разве это не чистой воды троцкизм, черт побери?!

— Наивность?! — вскричал Кирилл. — Скажи, братишка, красный командир, ты прочел за свою жизнь хоть одну книгу Маркса?!

— Еще чего! — вскричал в ответ Никита на той же пламенно-полемиической ноте. — Конечно, не прочел, и читать не буду, и надеюсь, моим глазам еще долго не понадобится такой велосипед! — Указательным пальцем он прижал к переносице Кирилла его предательские очки.

Кирилл сначала оторопел, потом расхохотался. Он был благодарен брату, что тот неожиданно «заюморил» проклятую тему. Никита тоже смеялся, довольный.

— Что слышно о Нинке? — спросил он спустя минуту.

Кирилл пожал плечами:

— Последняя новость — это ее поэма в «Красной нови». Модернистская чепуха. Она защитила там, в Тифлисе, свой диплом еще два месяца назад, но почему-то не спешит возвращаться. Мать не понимает, в чем дело, а я уверен, что какая-нибудь очередная дурацкая влюбленность.

— Ну, а ты? — улыбнулся Никита.

— Что — я? — недоуменно спросил Кирилл.

— Не влюблен еще?

Кирилл опять надулся.

— Я? Влюблен? Что за чушь?

Никита, смеясь, обнял брата за плечи.

— Только после коллективизации, да? После индустриализации, верно? По завершении пятилетки, Кирюха?

Почти одновременно прозвучали свисток паровоза, удар колокола и истошный крик проводника: «Граждане отъезжающие, граждане провожающие, поезд отправляется!» Граждане бросились кто в вагон, кто из вагона, произошла последняя сшибка. Кирилл ввинтился в толпу.

Минут десять еще после этого аврала поезд не трогался с места. Кирилл стоял, притиснутый к мутному

окну, зажатый с трех сторон крестьянскими мешками, фанерными чемоданами на всяких замках, корзинами с приобретенной в столице бакалеей — остро пахнущая кубатура хозмыла, трехлитровые, то есть «четвертные», бутылки растительного масла, вздымающиеся из синей упаковки головы рафинада. Не имея возможности особенно-то шевелить руками, Кирилл мимическими мышцами и подбородком подавал брату соответствующие сигналы: иди, мол, чего стоять, — но брат не уходил, все стоял и улыбался, стройной своей фигурой и гордой осанкой, не говоря уже о форме, резко выделяясь среди убогой толпы пятилетки.

«Какая уж тут безыдейность, какой там «усвоенный военными кругами» цинизм, — подумал Кирилл, — он просто такой же офицер, каким бы был в Англии, или во Франции, или... ну, естественно, в царской армии, в белой русской армии. Как я мог этого раньше не видеть? Несмотря на все свои регалии, Никита попросту русский офицер...»

Поезд наконец тронулся, уплыл Никита, перрон; вокзал с его Сталиным, лозунгом и шпилем растворился в темноте.

По прошествии не менее шестнадцати, а может быть и скорее всего, двадцати часов поезд остановился на полустанке, где была одна лишь будка стрелочника да в сотне метров от нее жалкая хибара того же стрелочника. Измученный путешествием, Кирилл выпрыгнул, если не вывалился со своим баулом из вагона. С блаженством вдохнул холодный осенний воздух пустых российских пространств, снял шапку, подставил лицо ветру. Поезд тут же тронулся дальше, к областному центру — Тамбову, городу, что некогда славился балами в Дворянском собрании. Из пространства, то есть с пологих холмов с брошенными на них темными шнурками перелесков, выделился юный, не старше двадцати лет, крестьянский парень с красной звездочкой на фуражке. Приложил руку к козырьку.

— Товарищ Градов? Здравствуйте! Лично я — Птахин Петр Никанорыч, секретарь комсомольской ячейки в Горелове. Поручено вас трас-пор-ти-ровать.

Как и все «выдвиженцы», Пстя Птахин любил новые иностранные слова. Неудивительно — вся российская идеология нынче была нафарширована чесночком иностранщины. «Пролетариат экспроприирует экспроприаторов», — думали, и не выговорит Пстя Птахин никогда, оказалось — прекрасно выговаривает.

На полпути между полустанком и хибарой стрелочника у колодезного сруба был привязан транспорт — кляча, впряженная в телегу. Для удобства сзды в телегу щедро было брошено соломы.

— Далеко ли схать до Горелова? — спросил Кирилл.

Странное чувство вдруг взяло его в тиски. Глядя на простецкую ряшку Птахина, на подводу, на голые поля с беглым промельком какой-то черной птицы, он словно преисполнился родством к этой юдоли, будто бы в ней был и его собственный исток, но тут же что-то другое, томящее подключалось, похожее на безысходный укор и стыд от невозможности одолеть эту юдоль, хотя бы уже и потому, что она есть место его какой-то невероятно далеской любви, без нес вроде бы и немислимой.

Петя Птахин весело отвязывал лошадь.

— Ехать, товарищ Градов, всего ничего, часа три с гаком будет, так что я вам охотно от-рапор-тую о нашей коллективизации. У нас а-а-громадные достижения, товарищ Градов!

Сумерки сгущались всю дорогу, и в село въехали почти в полной темноте. Все же видны были еще крестьянские домишки по краям ухабистой дороги. Кое-где тлели лампадки, свечечки, как вдруг среди этих жалких источников освещения явился один мощный и жаркий — раскаленное до прозрачности пепелище, розовый дым, еще живые, пляшущие вдоль рухнувших стропил язычки огня. Мрачнейшая тревога охватила Ки-

рилла. «Вот оно и Горелово... — пробормотал он. — Горелово, Неелово, Неурожайка тож...»

Петя Птахин с исключительным интересом смотрел на пожарище, оживленно комментировал:

— А это, товарищ Градов, нонче в обед Федька Сапунов, кулацкая шкура, весь хутор свой поджег, ба-а-льшое хозяйство, чтоб в колхоз не иттить. Всю родню свою и весь скот порешил и сам к своему боженьке отправился, а только к чертям на сковородку попадет, антоновец проклятый!

Пожарище у Сапуновых, очевидно, было главным событием села. Несколько фигур еще маячили в зареве, слышались бабьи причитания. Птахин остановил лошадь неподалеку и смотрел на тлеющие бревна и пробегающие то здесь, то там змейки огня, бормоча почти бессмысленно: «Ба-а-льшое хозяйство, ба-а-льшое хозяйство».

По тому, как дрожали его губы и как он шапкой вытирал себе лоб, Кирилл понял, что с крушением Сапуновых уходит и прошлая жизнь этого захудалого комсомольца.



ГЛАВА IX

Мешки с кислородом



Из разрушающейся среднерусской хлебной цивилизации мы совершаем сейчас скачок в цивилизацию средиземноморскую, оливковую, сливовую, виноградную, все еще с упорством — «достойным лучшего применения», как сказали бы в Институте красной профессуры, — сопротивляющуюся неумолимо наступающим строго пайковым временам.

Вот возьмите горбатые улочки старого Тифлиса. Здесь и в голову бы вам не пришло, что на дворе первая пятилетка. Как сто лет назад, как и двести лет назад, так и сейчас цокают подковы извозчичьих пролеток. С затененных балконов и галерей перекликаются хозяйки. Сказать «гортанно перекликаются» — значит, заплатить дань шаблону, но у них, грузин, и в самом деле в гортани рождается звук, а не в акустически глухом пузе, и оттуда, из гортани, звук бурно бьет вверх, будто струя фонтана, и всегда встречает серебряную горошину в своем полете, то препятствие, преодолеть которое с удовольствием помогает характерный жест руки. Так же, как и встарь, ранней осенью перевешивается через заборы густая листва и в ней висят налитые груши и персики. Точно так же, как и раньше, то есть «до катастрофы», то есть до счастливого присоединения к большевистской России

(по выражению некоторых несознательных фармацевтов), два матовых шара украшают вход в аптеку на маленькой площади, а за большим окном заведения, как всегда, замечается дядя Галактион Гудиашвили, облаченный в белый накрахмаленный халат и внимательно беседующий со своими клиентами, в основном грузинскими женщинами в темных накидках. Вот, правда, вывеска «Аптека Гудиашвили» над входом небрежно замазана (чего же вы еще ждете от новой власти, если не грубости и небрежности), однако прекрасно различается. Во всяком случае, именно ее люди имеют в виду, а не косо подвешенную фанерку с надписью «Аптека № 18 Госздраваптупра». Новые чудища советских слов — Воркутлес, Грузпишмаш, Осоавиахим.

— Остановись у аптеки Гудиашвили, дорогой!

— Слушаюсь, батоно!

Извозчик выполнил приказание. Седок, Ладо Кахабидзе, плотный мужчина за пятьдесят, в кавказской блузе, подпоясанный наборным ремешком, с наслаждением огляделся по сторонам. Несколько лет, выполняя ответственное задание партии, он провел на Севере и вот сейчас вернулся и с удовольствием оглядывается. «В Тифлисе мало что изменилось», — думал он и тут же гасил следующую мысль, которая могла бы выглядеть так: «Здесь мы не все еще разрушили», — если бы он ее вовремя не пригасил и не подумал бы вторично с удовольствием: «В Тифлисе мало что изменилось». И тут же, конечно, опять пригасил неизбежно возникающую вторую мысль.

С легкостью, удивительной для его возраста, Кахабидзе выпрыгнул из коляски и вошел в аптеку. Извозчик — как и все тифлиские извозчики, он не страдал отсутствием любопытства — успел заметить через окно, что прибытие важного начальственного пассажира радостно изумило и восхитило дядю Галактиона. Отбросив вверх прилавок, так что клиентура даже немножко испугалась, он выбежал навстречу с распростертыми руками. Клиентура просияла.

Прибытие Кахабидзе, между прочим, внимательно наблюдалось со второго этажа аптечного здания. Там, в личной квартире аптекаря, а именно в большой, затемненной шторами комнате с зеркалами и портретами предков, то есть в гостиной, или, как говорят на Кавказе, в «салоне», стоял племянник Галактиона Нугзар, некогда поражавший гостей профессора Градова огневой лезгинкой. Сделав себе в шторах узкую щелку, он наблюдал присзд большого партийца, а затем, приотворив дверь на лестницу, прислушивался к приветственным возгласам внизу. Затем в глубине дома возник другой звук — стук каблучков по паркету, и в «салон» вошла Нина Градова. Синяки и порезы, с которыми мы оставили ее три года назад, исчезли без следа с ее лица. Несмотря на огромные исторические события, свершившиеся за это время, сй сейчас было всего двадцать три года. Впрочем, нынешняя цветущая красавица уже лишь отдаленно напоминала заводную синеблузницу из наших первых глав. Не замечая Нугзара, Нина подошла к зеркалу, поправила волосы и бретельки декольтированного платья. Нугзар кашлянул, обнаружился. Она еле удостоила его взором: видно, привычный, может быть, даже назойливый человек в доме.

— Привет, Нина! — сказал он. — Слушай, да ты просто, клянусь Кавказом, неотразима в этом платье! Куда вы собираетесь сегодня, мадемуазель? Ой, пардон, пардон, мадам!

— Паоло празднует свою новую книжку, — сказала Нина. — Все поэты собираются на фуникулере.

Нугзар цокнул языком:

— Паоло Яшвили! С такими людьми дружишь, девушка! Сплошные литературные знаменитости!

Он подошел к ней сзади и остановился за спиной, отражаясь в зеркале.

— Мы неплохо с тобой глядимся, а, Нина?

Она повернулась к нему с некоторым раздражением:

— Я ведь и сама поэт, ты не забыл?

— Для меня ты только женщина, из-за которой я засохну до смерти, — заметил Нугзар с некоторой мрачностью.

Нина расхохоталась с некоторой веселостью:

— Ну и фрукт! Ты просто неисправимый бабник, Нугзар!

Все их отношения держались на некоторой некости, как бы все не всерьез, и можно ли иначе относиться к его постоянным и как бы уже слегка оскорбительным домогательствам. Не устраивать же серьезный скандал! Красивый, избалованный бабами мальчишка, вот и дурит.

— Я — бабник?! — как бы возмутился Нугзар. — Да ты посмотри на меня! Я весь измучился из-за того, что ты мне не даешь!

— Назойливый мальчишка! — вскричала Нина. — Ты, кажется, забыл, что мы близкие родственники?!

Взаимное то ли театральное, то ли подлинное возмущение нарастало.

— Ха-ха-ха! — саркастически расхохотался Нугзар. — И это говорит одна из самых свободомыслящих женщин двадцатого века! А где же «теория стакана воды»? А где же наш идол Александра Коллонтай и ее «любовь пчел трудовых»? Почему для Паоло есть стакан воды, а для Нугзара нет стакана воды? Почему для Тициана есть мед, а для Нугзара нет ни капли? Родственники! Ты мне еще скажи, что ты замужем!

— Да, я замужем, балбес и плут. Кто тебе наплел про Паоло и Тициана?

— Твой муж ни на что не годен, он не мужчина! — вскричал Нугзар.

Дело пошло всерьез. Он бросился на нее и начал целовать плечи и шею. Взбешенная Нина вырвалась и схватила увесистый канделябр. Нугзар, тяжело дыша, ушел в дальний угол комнаты и вдруг резко там обернулся, будто замахнулся саблей.

— А я знаю настоящую причину, почему ты перевелась в Тифлисский университет! Родители заставили,

когда стали выплывать твои странные делишки с троцкистской оппозицией!

— Подонок! — крикнула ему в ответ Нина. — Где ты набираешься грязных сплетен?!

Нугзар уже спохватился, что наговорил лишнего. Заулыбался, «сабля» в его руке уже превратилась в сладкий персик.

— Да я просто шучу, Нина, не обращай внимания. Просто глупая шутка, извини. Ну, ты знаешь, вокруг красивой женщины всегда болтовня, шутки, ну... Я ведь просто ваш паж, ваше величество. «Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж...» Видишь, русская поэзия и грузинским юношам не чужда.

Нина уже направлялась к выходу, но он все как-то перед ней крутился, играя пажу и препятствуя уходу.

— Перестань паясничать и дай мне пройти!

Нугзар, танцуя вокруг на пуантах, как бы оведал ее опахалом.

— А можно я вас отвезу на пир Паоло, ваше величество? Вообразите, вы прибываете на гору Давида в настоящем американском «паккарде» с тремя серебряными горнами! У моего друга есть такой, он одолжит его для вас.

И снова она не выдержала серьезной мины, рассмеялась:

— Подите на конюшню, паж, и скажите, чтоб вам задали плетей! — Быстро обогнула танцующего Нугзара и выбежала.

Она зашла в аптеку, чтобы попрощаться с Галактионом, и увидела его обнимающим какого-то не менее солидного, чем он сам, джентльмена.

— Нина, ты глазам своим не поверишь! — закричал Галактион. — Посмотри, кто приехал, кто вернулся! Это же он, доблестный Кахабидзе! На правах родства ты можешь его называть дядя Ладо!

Нина тут же переключилась на другую оперу — «встреча доблестного Кахабидзе». Жизнь в Тифлисе ей вообще казалась чередованием оперных тем.

— Дядя Ладо! С приездом, дорогой! С возвращением, генацвале! — закричала она и только тогда уже выкатилась на улицу.

Вслед за ней мягко впрыгнул в аптеку Нугзар. Сразу с порога, не дожидаясь представлений, открыл объятия:

— Глазам своим не верю! Дядя Ладо Кахабидзе собственной персоной! Легендарный комиссар! Как узнал, спрашиваете? Да я о вас в газете читал, да я в сотне домов видел ваш портрет!

Нина на углу кликнула извозчика. Нугзар, выйдя из аптеки, быстрой пружинистой походкой стал спускаться к центру с его большими, «французскими», как нередко говорили в городе, отелями.

Между тем в аптеке Галактион и Владимир все еще не могли налюбоваться друг другом, хлопали друг друга по плечам, заглядывали в лица, похохатывали.

— Галактион, разбуди меня! Неужели это действительно ты?

— Ладо, ты здесь, у меня, в моей старой аптеке?! Не надо, не буди меня, пусть сон продолжается!

Кахабидзе обходил аптеку, притрагивался к знакомым с детства (когда-то ведь и отец Галактиона, Вахтанг, владел заведением) вращающимся шкафам с их рядами маленьких ящичков, на каждом рисунок определенной травы, к серебряной кассовой машине «Националь», к покрытым стеклом прилавкам; все вещи добротные, старой российско-немецкой работы.

— Все здесь так, как было, — с удовольствием произнес он и вздохнул. — За исключением лишь того, что ты больше не хозяин, а наш простой советский директор, дорогой Галактион.

Гудиашвили покачал указательным пальцем:

— Ошибаешься, дорогой Ладо, я не директор, а замдиректора. Директором у нас партийный товарищ Бульбенко. Его сюда перебросили из железнодорожного депо, где он тоже был директором. Большой опыт в руководстве замдиректорами.

Кахабидзе смеялся. Он явно наслаждался разговором и остроумием своего школьного друга и родственника, знаменитого аптекаря Гудиашвили.

— Счастливец этот Бульбенко. Вах, если бы у меня на Урале был хотя бы один такой зам, как ты, Галактион! Однако в общем и целом дела идут неплохо, правда?

Галактион вздохнул:

— Так себе. Знаешь, Ладо, я никогда не думал, что в моей аптеке будет не хватать белладонны, ипсикауаны, кальциум хлоратум... Увы, сейчас я иногда только развожу руками: перебои, перебои...

Ладо Кахабидзе притворно нахмурился:

— Нехватка белладонны? Недопоставка ипсикауаны? Да ведь это же позор для нашей социалистической фармакологии! Обещаю тебе, я займусь этим! Увидишь, дорогой дон Базилио, к концу пятилетки наши трудящиеся массы будут наслаждаться избытком белладонны, изобилием ипсикауаны!

Галактион взял себя за живот, похохотал.

— Хочешь честно, Ладо? Ты единственный коммунист Большая Шишка, который мне когда-либо нравился. Сегодня пируем в твою честь!

Они уже собрались было покинуть заведение, чтобы как следует подготовиться к пиру, когда в аптеку вбежала пожилая женщина. Она задыхалась, простирала руки, рыдала и взывала о помощи:

— Спасайте, добрые люди, благородный Галактион, спасай!

— Что случилось, уважаемая Манан? — бросился к ней фармацевт. Он тут же забыл обо всем на свете, включая и своего гостя.

«Великий человек, — подумал Кахабидзе. — Никого не знаю, кто так охотно бросился бы на помощь. В партии у нас, во всяком случае, таких нет».

— Вай-вай-вай, — причитала Манан, — мой муж, мой верный Авессалом, умирает! Вай, наверное, уже умер, пока я бежала к тебе, благородный Галактион,

наша единственная надежда в эти тяжелые времена, наш гений. Боже, благослови тебя, и всех твои предков, и всех твоих потомков, и всех твоих родственников навеки!

Галактион с прытью, удивительной для его величественной стати, бросился в кладовку, вытащил две кислородные подушки и устремился к выходу. Ладо Кахабидзе последовал за ним. Спohватившись, и Манан побежала.

Вся горбатая улочка, по которой они бежали вверх, и прилегающие переулки принимали участие в событии. Люди свесились из окон и с балконов, глядя, как бегут два солидных человека. Две пузатые кислородные подушки делали их похожими на воров, но люди знали, в чем дело, да и Манан вносила ясность в ситуацию, продолжая на бегу возносить хвалу «всему роду Гудиашвили, и аптекарям, и художникам» и причитать о своем «незабвенном Авессаломе».

Галактион на бегу пояснял другу:

— Ни у кого в городе нет кислородных подушек, кроме Гудиашвили! У всех постоянно временные трудности с камфорой монобромата, кроме Гудиашвили!

Из окон и балконов вслед им несло:

— Боже, благослови благородного Галактиона, нашего аптекаря! Боже, благослови его кислородные подушки!

«Даже и Ленину такое не снилось», — думал, задыхаясь, Ладо Кахабидзе.

Когда подбежали наконец к цели, увидели перед домом толстяка Авессалома. Сидя под ветвями инжира, он спокойно играл с соседом в нарды. При появлении запыхавшихся Галактиона и Ладо в сопровождении причитающей Манан толстяк вскочил на ноги, даже подпрыгнул, начал бить себя в грудь.

— Простите, что не умер! — кричал он. — Простите великодушно! Галактион, дорогой, сама мысль о твоих кислородных подушках спасла меня! Боже, кого я вижу вместе с нашим чудо-аптекарем! Ильей пророком клянусь, никогда не было в моем доме более славных

гостей! Гагемарджос, Ладобатоно! Мы все рады, что ты вернулся! С возвращением в вечный дом нашей Картли! Манан, мы не выпустим этих господ, пока они не преломят наш хлеб! К столу, к столу, господа!

Как мы видим, не только Галактион отличался умением произносить ренессансные монологи в этой округе. Манан дважды просить не пришлось. Она тут же поспешила к большому столу, что уж лет сто стоял в этом дворе под чинарой. Многочисленные соседки уже бежали к ней на помощь, каждая несла всяческие кушанья. Стол быстро покрывался грудями фруктов и овощей, чашками с лобью, копчеными цыплятами, сыром, приправами, глиняными кувшинами с домашним вином. Появлялись соседи — пекари, парикмахеры, почтальоны... «Хороший знак, — думал Кахабидзе, — первый вечер в Тифлисе, и я с народом, и, кажется, меня даже выберут тамадой!»

Так и получилось, его избрали почетным тамадой. Он встал, держа в руке рог с вином.

— Дорогие друзья, несколько лет я отдал социалистическому строительству на Урале. Холодными выюжными ночами я мечтал о своей щедрой родине. И вот теперь партия послала меня обратно, на ответственный пост в родной республике. Я пью за нашу Картли, за республику, в которой не будет воровства, взяточничества, где будет процветать ленинский, подлинно ленинский стиль работы, товарищи!..

— Стиль работы, — важно закивали пекари и почтмейстеры.

— Стиль работы? — поднял удивленные брови парикмахер.

«Ну, как к ним занесло такого человека, как мой Ладос», — про себя вздохнул Галактион.

— Пусть будет Грузия настоящей витриной социализма в нашем великом СССР! — завершил свой спич Кахабидзе.

С приветственными кликами пекари, парикмахеры и почтальоны подняли свои роги и осушили их. Не

без легкого саркастического смешка осушил свой рог и Галактион.

— Пью за изобилие белладонны, за избыток ипекакуаны! — сказал он.

— За ваши кислородные подушки, дорогой! — прошептал Авессалом.

Есть несколько перекрестков в Тифлисе, где кажется, что ты в Париже. С одной стороны мы видим, скажем, фасады домов в стиле конца века или арт декор, с другой — витую решетку чугунного литья, ограду парка.

Ночь. Пустота. Стоящий возле решетки парка, будто так и нужно, большой черный автомобиль с тремя серебряными горнами на крыле только усиливает это миражнос ощущение. Да и пассажир, которого можно случайно увидеть через опущенное стекло, тоже не очень-то смахивает на труженика пятилетки: молодой еще, лысоватый, очень холеный, со странным взглядом, поблескивающим через пенсне на мясистом носу. «Как капиталист какой-то, — подумает случайный прохожий и тут же тихонько вскрикнет: — Да ведь это же Лаврентий Берия, всесильный чекист!» — и тут же парижский мираж рассеется.

Из боковой улочки стремительным шагом вышел Нугзар и направился к «паккарду». Берия из окна протянул ему руку, ладонью кверху. Нугзар, подойдя, хлопнул по ней своей ладонью, пригнулся и шепнул прямо в нос старшему другу:

— Он приехал, Лаврентий. Я видел его сам и обнимал в доме дяди.

— Садись, поехали, — сказал Берия.

Нугзар нырнул в машину. «Паккард» рывкнул мотором, тронулся с места. Нищий кинто на углу в страхе перекрестился.

На склоне горы царя Давида лицом к городу стоит большой белый особняк. Окрестные жители уже забыли, что до революции он принадлежал чае- и кофеторговцу

Лионозову, знают только, что к этому дому нельзя приближаться. Туда и направлялся «паккард».

Официально особняк был в ведении Совнаркома и проходил по разряду «гостевых», на самом деле здесь безраздельно хозяйничало ГПУ.

Когда подъехали, несколько черных автомобилей уже стояли у крыльца. Чекисты в штатской одежде несли охрану под окнами и вдоль стены. Их смуглый вид привносил что-то итальянское — то ли мафия собралась, то ли чернорубашечники на заре фашизма.

Здесь уже Нугзар не мог держаться на равных с Лаврентием Павловичем, потому он и шел к крыльцу, приотстав, не как младший друг, а как помощник.

Старший охранник вытянулся перед Берией. Тот приложил ладонь к виску:

— Здравствуйте, товарищи! Все в порядке?

— Все в порядке, товарищ Берия!

Внутри сходство с сицилийской мафией еще усилилось. Около дюжины дородных сумрачных мужчин, кто в полувоенном, кто в тяжелых костюмах-тройках, рассаживались вокруг стола. У некоторых на лацканах пиджаков были депутатские, вциковские значки, что свидетельствовало о принадлежности к партийной элите и отнюдь не уменьшало итальянских реминисценций.

Молчаливые охранники расставили на столе вино и закуски. Потом все охранники вышли. Участники встречи подняли бокалы: «За нашу дружбу!» Сдержанные, известные в советской литературе как «скупые», улыбки прошли по лицам. Берия начал:

— Мы тут собрались, товарищи, поговорить о Ладо Кахабидзе, который только что вернулся в Грузию, чтобы стать председателем Центральной контрольной комиссии. Что он, действительно хороший человек или только притворяется? Нестор, Серго, Арчил, вы знали Ладо с девятьсот пятого года, вы уверены, что он наш друг, что он хороший товарищ? Вахтанг, Гиви, Вано, Мурман, Резо, Борис, Захар, ты тоже, Нугзар, —

не стесняйся, дорогой, давайте поговорим по-партийному!

Несмотря на ободрение друга, Нугзар старался держаться в этой компании, как и подобает самому младшему: скромно и старательно внимал каждому слову, и каждый участник совещания — или, так скажем, «сходки» — мог прочесть на его лице эту скромность и старательность. Несколько минут вокруг стола царило молчание. Партийцы посматривали друг на друга. Наконец Нестор, человек одного возраста с обсуждаемым Кахабидзе, высказался:

— Он мне никогда не нравился, этот Ладо.

Тут же заговорил еще один ветеран, Серго:

— Много о себе думает товарищ Кахабидзе. Только он, понимаешь, один чистый ленинец. Все остальные с душком.

Арчил, набычившись, сильно бил пальцем по столу. Все уже понимали, что он сейчас скажет. Так и оказалось.

— Перед революцией он был от нашей партии в межпартийной контрразведке, а во главе кто стоял? Бурцев, эсер, сбежал за границу. Теперь Ладо всегда ходит с таким видом, будто у него на всех материал по связям с охранкой.

Берия, пенсне вперед, тут же как бы поднырнул Арчилу под руку.

— Включая?..

— Страшно сказать, кого включая, — ответил Арчил, не глядя на него. — Всех подозревает в предательстве «ленинских идеалов». Никакого уважения к вождям. Теперь говорит, что даст бой коррупции в Грузии, как будто здесь капиталисты.

Минуту или две в мрачном молчании все переваривали сногшибательную информацию. Потом молодой Ваню обратился к Берии:

— Это правда, что он называет товарища Сталина Кобой?

Берия мило улыбнулся:

— Многие старые товарищи называли Сталина Кобой. Партийная кличка, подполье, ничего не поделаешь. — Тут он посуровел: — Однако сейчас по меньшей мере неуместно называть Кобой вождя народов СССР!

— Послушай, Лаврентий, зачем его назначили к нам председателем ЦКК? Я считаю... — горячо начал было Вахтанг, но Берия остановил его мягким движением руки.

— Одну минуточку, Вахтанг. А разве уместно, товарищи, везде, как это делает Ладо, после первой же рюмки болтать, что у товарища Сталина шесть пальцев на ступне одной ноги, что он видел это собственными глазами?

Снова воцарилось молчание, но на этот раз не застойное, не выжидательное, как раньше, а своего рода «оживленное молчание», с некоторыми искорками в глазах, с улыбочками, с комическим «о-о-о, вот, мол, чем испугали». Даже проскользнул проказливый смешок.

— Зачем из этого делать историю? — сказал затем Серго. — Если у тебя пять, а не шесть, никто из этого не делает истории...

Нестор пощипал усики, развел руками:

— В самом деле, что особенного — пять, шесть?

— Дело не в этом! — резко сказал Ваню.

— Вот именно, Ваню, дело не в этом! — с энтузиазмом поддержал его Берия.

Придвинулся Резо, резанул правду-матку:

— Товарищ Сталин просто не знает, что Ладо Кахабидзе издевается над ним, делает грязные намеки на прошлое, развязно судит о теле вождя, иначе Москва не назначила бы его на такой важный пост к нам!

— Ара, товарищи! — воскликнул Берия. Он положил руку на плечо Резо, как бы подчеркивая, что близкие друзья могут иногда прерывать друг друга, второй рукой сжал запястье Нугзара и опять весь как бы поплыл вперед, поблескивая пенсне. Наступал ключевой момент «хорошего разговора».

— А может быть, товарищ Сталин как раз прекрасно знает о взглядах Ладо? — почти шептал он. — И в этом как раз причина его назначения? Может быть, товарищ Сталин питает доверие к своим верным товарищам в нашей республике, что мы его не подведем?

И снова воцарилось молчание, на этот раз самое главное. Каждый смотрел на всех, все смотрели на каждого. Потом все одновременно расплылись в улыбках. Был провозглашен тост: «За верность!»

Между тем, пока на склоне горы царя Давида шло совещание верных людей партии, на вершине ес шел поэтический пир. Терраса ресторана, расположенного в конце канатной дороги, была как бы подвешена в ночном небе. Внизу — Божеское творенье, долина Куры. Полная луна освещает теснящиеся крыши Тифлиса, Метехский замок, изгибы реки. Поди придумай более поэтический пейзаж! Так размышлял старик шарманщик, стоявший со своей машиной в углу террасы, прямо над самой красотой. «Ходишь-ходишь по этому древнему миру, счета нет твоим годам, сам превращаешься в Вечного жида, а все восхищаешься простым штучкам луны». Он накручивал ручку машины, исторгая из нее почти неразличимые звуки кавказской музыки. С его плеч слетали два попугая и разносили среди гостей розовые билетки предсказаний «на счастье и удачу». Компания работала.

Поэты, не менее тридцати человек, сидели за большим столом. Кажется, весь гонорар за новую книгу Паоло Яшвили будет прокучен в эту же ночь. Нина сидела между виновником торжества и тамадой, другим знаменитым поэтом Тицианом Табидзе. Тосты поднимались непрерывно, один витиеватее другого....

— ...А также за тот ветер, который надувал парус «Арго», а сейчас переворачивает страницы твоей книги, дорогой Паоло! Алаверды к тебе, Тициан-батано!

Тициан Табидзе давно уже стоял с бокалом в руке. Как тамада он должен был давать понять слишком многословным ораторам, что вино не ждет.

— Я принимаю гостя за ветер! — сказал он. — И Паоло, конечно, выпьет за тот вечный ветер, что принес к нам сюда одну особу! Ту особу, что вдохновляла грузинскую поэзию последние два года. Братья поэты, поднимем бокалы за Прекрасную Даму Тифлиса! За Нашу Девушку! Этот титул всегда останется за ней, сколько бы лет ни прошло, где бы она ни оказалась, в Москве ли, в Париже ли, на Марсе ли! За Нину Градову!

Вскочил Паоло, поднял рог над головой. На плечо Нины, сияющей и смущенной, как раз в подходящий момент сел попугай. В клюве у него был розовый билетик. Она развернула билетик и прочла вслух:

Тот человек, что вам дороже,
Сейчас придет и вам поможет!

Весь стол расхохотался, все, конечно, стали кричать, что этот человек уже пришел, что он, конечно, такой девушке поможет... Нина смеялась вместе со всеми. Она была довольна, что попугай вдруг так удачно снизил застольные высокопарности, в которых у грузин нет ни потолка, ни предела. Поэты же хоть и смеялись — чувством юмора никто тут обделен не был, — а все-таки слегка досадовали, что сорвано такое велеречение. Поэтому, как только смех чуть-чуть стих, Паоло Яшвили не замедлил выступить, потрясая своим рогом:

— Принимая «алаверды» моего брата Тициана, друзья, я пользуюсь волей, что дает нам наша Вечная Родина, чтобы назвать Нашу Девушку...

В этот момент ритуал опять оборвался. На дальнем конце стола поднялся человек, взъерошенный и пьяный, поднялся, если можно так сказать о персоне, совсем обвисшей в своем богемном обличье. Нинин законный супруг, бывший лефовец, бывший имажинист, поэт, прокочевавший по всем мыслимым поэтическим группам

двадцатых годов, Степа Калистратов. Вдруг, несмотря на обвислость, он зарокотал мощно, как когда-то с эстрады:

— Прошу прощения, можно без «алаверды»?.. Нельзя ли мужу Вашей Девушки сказать несколько слов? Эй вы, поэты! Вы дуете вино, шамаете шашлык, волочитесь за моей очаровательной паршивой женой, как будто все в порядке, как будто наш карнавал продолжается... А между тем — пиздец! Позор и мрак — вот наше будущее! Сережки Есенина уже нет! Володьки Маяковского уже нет! Рисунок звезд не в нашу пользу, братцы! И ваш покорный слуга Степа Калистратов еле жив!

Произнеся этот монолог и исчерпав, видно, все силы, Степан бухнулся на стул и совсем уже обвис в руках своего дружка Отари, второго племянника дяди Галактиона, существа на удивление томного и молчаливого, как олень.

Поэты, даром что грузины, не обиделись на Степана за нарушение ритуала застолья. Кто-то, правда, пробормотал: «Вот вам типичный русский скандал в благородном семействе». Кто-то тут же возразил: «Ах, оставьте, это просто лишь отрывка футуризма, эпате...» Но большинство просто преисполнилось сочувствия: «Степан — страдающая душа! Он гений! Давайте выпьем за него!»

Вдруг что-то произошло. Один из местных вышибал прибежал, зашептал что-то на ухо Яшвили. У того округлились глаза. Все повернулись ко входу, ожидая вновь прибывшего. Легкими шажками на террасу впорхнул, словно воробушек, небольшой человек лет под сорок. Он простер руки к столу поэтов и высоким, едва не обрывающимся от гордости и восторга голосом начал читать:

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди,
Ангел мой!

Все с грохотом вскочили: Осип! Да ведь это же сам Осип во плоти! Слава Мандельштаму!

Нина была потрясена. Она знала, как и весь литературный Тифлис, что Мандельштам где-то на Кавказе, что он несколько дней провел в городе у Зданевичей, а потом уехал то ли в Армению, то ли в Азербайджан, но могла ли она вообразить, что ее кумир вдруг так неожиданно появится над городом, под луной, в парах вина, в ту ночь, когда она — уж это она точно знала — с голыми плечами столь неотразима, что он, благороднолобый, будет так ошалело на нее оглядываться, пока обнимается с Паоло и Тицианом, будто узнал в ней одну из «красавиц тринадцатого года», может быть, даже ту, Соломинку, тоже грузинку, как и она сама, особенно в эту ночь, — Соломею Андроникашвили?

— Откуда ты, Осип? — громко спросил Паоло, разыгрывая перед понимающей аудиторией сцену встречи двух братьев по Мировой Словесности.

— Из Армении! — вскричал Мандельштам. — Еле ноги унес оттуда! Слушайте, вот несколько строк! — Он начал читать, явно на Нину: — Там, в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше, я изведаль эти страхи, соприродные душе... — Бросил читать и спросил, будто очертя голову, громким шепотом: — Бога ради, Паоло, кто ОНА?

Паоло с гордостью представил:

— Нина Градова, молодая поэтесса, только что мы ее титуловали Нашей Девушкой!

Мандельштам холодными лапками цапнул Нину ладонь:

— Нина, вы... я просто ошеломлен... вы как будто оттуда, из «Бродячей собаки»!..

— «Я научился вам, блаженные слова: Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита», — как зачарованная прокла Нина.

— О, вы помните! — прошептал Мандельштам.

Поближе к ним подошел шарманщик. Крутанул музыку на полную катушку. Попугай бурно взлетел с его плеч. Мандельштам зашарил по карманам:

— У меня, как всегда, ни рубля...

— Ничего не надо, — сказал старик.

Даже грузинские пиры иногда кончаются, и к концу ночи Мандельштам и Нина оказались одни в центре города. Луна еще стояла в небе, освещая многочисленные портреты Сталина и лозунги первой пятилетки. Они шли вдоль жалких витрин некогда роскошных магазинов.

— Этот Тифлис... — пробормотал Мандельштам. — Даже несмотря на вездесущую морду кота... — Он без всяких осторожностей ткнул пальцем в направлении портрета усатого вождя. — Здесь кажется, что дом еще не разграблен, что хотя бы нэп еще жив. Вон, смотрите, в глубине переулка ни одного портрета, ни одного лозунга, только фонтан и над ним струя... струя, Нина, как до катастрофы!.. а на столах, мой Бог, какие деликатесы!.. а вокруг столов такие живые, неизмученные лица... и вы, Нина... за что такой подарок судьбы?

— Давайте уточним, Осип Эмильевич, — сказала Нина. — Кто подарок судьбы: я или Тифлис?

— Для меня вы теперь навсегда соединились, — сказал Мандельштам.

— А для себя я, увы, разъединяюсь, — улыбнулась она. — Возвращаюсь в реальный мир. Ведь я москвичка, Осип Эмильевич.

Чтобы не подхватывать его тон и не впадать в собственную экзальтацию, Нина старалась слегка проиронизировать их ночную прогулку. Мандельштам этого тона явно не принимал и смотрел недоумевающе.

— Я слышал о вас в Москве, Нина, — сказал Мандельштам. — И я читал вашу поэму в «Красной нови». Верьте не верьте, но я видел ваше лицо сквозь строки. — Он осторожно взял ее руку повыше локтя.

— Послушайте, Осип Эмильевич... — сказала она, чуточку отстраняясь. Она была немного выше его. Впрочем, это, возможно, из-за туфель. «Когда сниму туфли, мы будем одного роста, — подумала она. — Что такое, моя дорогая? Вы уже, кажется, забыли сослагательное наклонение?»

За их спинами в глубине пустой улицы послышался нарастающий шум. Они едва успели обернуться, когда большой черный автомобиль с тремя серебряными горнами на крыле прокатил мимо. Нина вздрогнула. Как раз перед началом вчерашнего пира, когда она рассказала братьям писателям о шутке Нугзара, один из них вполголоса поведал ей, кто разъезжает по Тифлису в этом автомобиле.

Ее испуг не ускользнул от Мандельштама. Лапка его продвинулась еще чуть выше по ее руке, с явным предложением дружеского полуобъятия.

— Эти большие черные автомобили... — проговорил он. Вдруг взгляд его остекленел, он забыл о предложенном полуобъятии. — Когда я их вижу, что-то такое же большое и черное поднимается со дна души. Меня преследует видение чего-то ужасного, что неминуемо передушит нас всех...

— Я знаю это чувство, — сказала она.

Мандельштам — он явно чуть-чуть тянулся на цыпочках — заглянул ей в лицо.

— Вы еще молоды для него, — сказал он.

— Я пережила горчайшее разочарование, — серьезно произнесла она.

— В любви? — спросил он и подумал: «Сейчас будет рассказывать о своей несчастной любви».

— В революции, — сказала она.

Теперь уже он вдруг вздрогнул и подумал: «Очаровательная!»

Они остановились возле мерно журчащего фонтана; высокая молодая красавица и жалкий стареющий воробей. Уже без колебаний он взял ее за обе руки. Теперь уже, казалось, все фальшивинки разлетелись, предлагалась полная искренность.

— Нынче, после того, что было, и перед тем, что будет, я вижу каждый мирный миг, каждый момент красоты, как неслыханный дар, не по чину доставшийся. Нина! — Он попытался приблизить ее к себе, и в этот

момент кто-то громко усмехнулся поблизости, а потом хриплым голосом произнес «ха-ха».

Отскочив друг от друга, Нина и Мандельштам всмотрелись в темноту и разглядели Степу Калистратова. Поэт лежал на краю фонтана, свесив свои длинные волосы в воду. Рядом, как изваяние грусти, сидел молчаливый Отари.

— Давай-давай, поцелуй его, моя паршивая жена! — одобрил Степа. — Не тушуйся. Запишешь в биографии, что спала с Мандельштамом. Я разрешаю.

Он замолчал и отвернулся, почти слился с темнотой, только раздавалось какое-то хлоппанье — не плач, а плеск, — да мерцала, будто ночная мольба, папироса Отари.

Нина смотрела туда, где лежал Степан, и вспоминала, как почти три года назад, в предновогодний вечер, они приехали на извозчике в Серебряный Бор, как ворвались, румяные и хмельные, и как она объявила собравшимся: «Ну, все, уговорили, уезжаю в Тифлис, но не одна, а со Степкой, моим за-а-аконным мужем!» И как Савва Китайгородский быстро, нагнув голову, не соблюдая никаких приличий, которым его всю жизнь учили в семье, прошел через гостиную, выхватил из кучи свое пальто и исчез.

Внезапная и острейшая жалость вдруг пронзила ее. К кому — к Савве, или к деградирующему Степану, или к себе, просто к невозвратности тех лет? Будто пришпоренная, она бросилась к Степану, потом обернулась к Мандельштаму:

— Простите, Осип Эмильевич, это мой муж. Мой бедный, беспутный «попутчик»...

Обхватив за плечи, стала трясти Степана:

— Вставай, вставай же, балда! Пойдем домой!

Кое-как Степан поднялся. Нина поддерживала его. Сзади плелся Отари. Папироса потухла. Мандельштам стоял не двигаясь. Даже и здесь, в мирном, докатастрофном углу, на него сквозь ветки посматривал портрет Сталина.

ГЛАВА X

Зорьки, голубки, звездочки...



Есть ли что-нибудь более заброшенное на земле, чем улица русского села? Не говоря уж об убожестве материального состава, есть ли что-либо более безнадежно отдаленное от праздника жизни, от феерии революции? Так, несколько в гоголевском духе, думал партийный пропагандист Кирилл Градов, проходя ранним вечером мимо чахлах хат по улицам Горелова и удивляясь, почему из-за каждого плетня выглядывают в этот час страждущие лица хозяек.

Бабы между тем всматривались в медленно приближающееся облако пыли. Они выходили из-за плетней и останавливались у ворот, каменели, скрестив под грудями руки. Они были явно не в силах осознать происходящее, противное всякому смыслу и самой русской природе. Вместе с облаком приближалось громоподобное мычание. Ведомое растерянными пастухами-комсомольцами, брело в село недоенное коллективизированное стадо.

Кирилл остановился, пропуская коров. По мере приближения стада бабья каменность трескалась, не владея больше собой, женщины начинали громко причитать и взывать к своим бывшим питомцам и кормилицам с тоской и с той нежностью, что всегда была характерна для русских женщин по отношению к их коровам: «Зорька, мамочка

моя! Да пошто ж тебя отняли от меня?!», «Голубка, девонька моя родная! Глянь на мамку-то свою, глянь хоть глазиком!», «Звездочка, кормилица, да ты ж вся немытая, нетертая! Загубили тебя супостаты колхозные!»

Видя свои родные, еще не остывшие дворы и слыша еще не забытые голоса, то одна, то другая, коровы начинали выбираться из стада и, как в старые, со всем еще недавние времена, направлялись восвояси на отдой и ласку. Иные из женщин бросались к ним в тоске и отчаянии. Растерянные комсомольцы без разбора лупили хлыстами по спинам коров и головам женщин. Одна из женщин, узнав в пастухе собственного сына, волокла его за вихор и поддавала лаптем под зад.

«Что-то тут не то, — думал Кирилл, наблюдая эти сцены. — Что-то тут не так». Кроме этих двух фраз, ничего не рождалось в его голове. Потрясенный бессмысленной пронзительностью происходящего и собственной оборонительной тупостью, он стоял с каменным лицом возле плетня. Закат отсвечивал в его глазах. Вдруг отчетливо возникло и проплыло перед глазами, будто лента телеграфа: «Да есть ли в мире что-либо более дорогое мне, чем эти бабы и коровы?»

Подошел смущенный секретарь ячейки Петя Птахин, забормотал, краснея:

— Вы уж, пожалуйста, не обращайтесь внимания на этих баб, товарищ Градов. Ноль классового сознания, частнособственнические ин-стик... ин-спик-цы, да, вот что это такое...

Стадо прошло. Утихла улица. Легла пыль. Кирилл и Птахин продолжили путь к сельскому клубу. Клуб, разумеется, располагался в церкви, то есть, как и везде, просвещение брало верх над предрассудками. Полуразвалившееся здание с дырявыми куполами и перекошенным крестом являло собой последствие то ли боя, то ли мирного надругательства. Слева и справа от входа висели два объявления. Одно гласило: «Коллективизация и стирание граней между городом и деревней. Лектор

товарищ Градов». Второе оповещало: «Происки британского империализма на Ближнем Востоке. Лектор товарищ Розенблюм». И день и час начала у обеих лекций совпадали. Над объявленными в срединной, как бы примиряющей позиции висел портрет Сталина с прикрепленным к нему, словно красная борода, лозунгом: «Даешь 100-процентную коллективизацию!»

Толпа сумрачных мужиков перед входом курила махорку.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Кирилл.

Никто не ответил, даже не посмотрел в его сторону. Многие зато нехорошо поглядывали на комсомольского секретаря.

— Что же вы, Птахин, две лекции назначили на одно и то же время? — спросил Кирилл. — Зачем тут конкуренция?

Птахин, подававший мужикам знаки «спокойно, не дурить», расторопно ответил:

— А не извольте беспокоиться, товарищ Градов. Наших, гореловских, мы для вас мобилизовали, а этих, из Неслова, ну, из «Заветов Ильича», для товарища Розенблюма пригнали. Помещения предостаточно.

Захватить свою аудиторию Кириллу не удалось ни историческим экскурсом к утопическим коммунам Сен-Симона и Фурье, ни лучезарными перспективами. Гореловские мужики сидели с каменными лицами, а если у кого-нибудь что-нибудь в лице и оживлялось, возникало ощущение, что московского лектора хотят взять на мушку. Между тем из соседнего зала, где неведомый Розенблюм бил по британскому империализму, то и дело доносился дружный смех и аплодисменты. Кирилл решил поскорее сворачиваться и, перепрыгивая через параграфы, помчался к своему мощному завершению.

— Программа партии, товарищи, предусматривает возникновение грандиозных сельскохозяйственных комплексов, в которых для труда и быта колхозников

будут созданы самые современные условия. Грань между городом и деревней, как учил великий Ленин, будет практически стерта в кратчайший срок, и тогда окончательно забудется подмеченный еще Марксом «идиотизм сельской жизни»!

Лекция была явно окончена, а мужики как сидели так и сидят, не шелохнувшись. Ну, не раскланиваться же. Встрепенулся Птахин, захлопал в ладоши, подавая пример. Мужики тоже захлопали. Кирилл, красный от стыда, начал собирать бумаги.

— Вопросы, мужики, задавайте вопросы! — крикнул Птахин. — Товарищ Градов ответит на любые вопросы!

Заросший бородой, будто лесной дух, старик приподнялся:

— А лечить-то народ где будете, гражданин объясняющий? В больнице?

— Лечить? От чего лечить? — озадаченно спросил Кирилл.

— От идиотизму-то где будут лечить?

В полном замешательстве Кирилл вытер пот. Издевается старик или на самом деле ничего не понял? Петя Птахин, однако, знал, как проводить линию партии.

— Ты, дядя Родион, думаешь, идиотизм у тебя в жопе, а он у тебя в башке. Понятно?

Мужики вяловато поржали. Старик мрачно сказал:

— И это есть.

— Лекция окончена, товарищи, — сказал Кирилл и тут вдруг подумал, что никому из этих людей он в товарищи не годится.

Все вышли в коридор. Из соседнего зала, то бишь церковного притвора, слышались взрывы смеха и какая-то неуклюжая возня. Кирилл от досады сломал свою папироску-«гвоздик».

— Этот Розенблюм, вот видите, умеет найти общий язык с колхозниками. Слышите, Птахин, какая живая реакция!

— Ну, не иначе как нееловские самогону туда протащили, забурели, вот те и ре-ак-ция.

Двери распахнулись, как бы под натиском бурнейших аплодисментов. Вышли нееловские мужики, все красные, смурные, гогочущие. Иные основательно покачивались. А вот и лектор, тот самый знаток крестьянских душ Розенблюм, и им оказывается, к полному изумлению Кирилла, не кто иная, как Цилька Розенблюм, одна из Нининых «синемблузовок», с которой он не раз «смыкался» во время жарких споров в Серебряном Бору на почве близости к генеральной линии партии. Молодая, рыжая и, несмотря на густую россыпь веснушек, не лишенная даже привлекательности женщина. Страннейшая комбинация одеяний — модная лет двадцать назад шляпка, военная гимнастерка, подпоясанная командирским ремнем, длинная юбка чтицы-декламатора, кирзовые сапоги — создавала даже определенный стиль.

— Да-да, товарищи, — говорила Цилька сопровождающим ее мужикам. — Британский лев сейчас — это главный враг мирового пролетариата.

Мужики реагировали с уважением.

— Лев, оно конечно, зверь серьезный, гибкий, окладистый. Ему-ить тоже жрать-то надо!

Кто-то хмыкнул, кто-то прыснул, лекция явно удалась: эх, час без горя!

Кирилл в изумлении смотрел на Цецилию. Ее появление в этом медвежьем углу, где так все не похоже на теоретические модели, где просто, честно говоря, руки опускаются, где испаряются самые строгие убеждения, обрадовало и вдохновило его: вот наша девчонка, москвичка, марксистка, большевичка, дерзко работает тут в самой гуще бывших антоновцев, значит, и повсюду есть наши, нас — тысячи, мы промоем глаза этому народу. Цецилия заметила его стоящим у стены, на которой еще видны были затертые образы святых, хохотнула и подошла с протянутой рукой.

— Градов, физкульт-привет! Дай пять!

Крепко пожимая ее руку, Кирилл воскликнул:

— Розенблюм! Вот уж не думал, что этот «лектор Розенблюм» — это ты, Розенблюм! Сколько ты здесь будешь?

— Дней пять, — сказала Цецилия.

— Я тоже! Значит, и поедем вместе!

Они улыбались друг другу. Над ними по церковной стене был протянут лозунг: «Отрубим когти кулаку!»

— Пошли шамать! — предложила Цецилия.

— Пошли пошамаем! — с восторгом согласился Кирилл, хоть ему раньше и претил жаргон московской «комсы».

По лицу присутствующего Пети Птахина проходили счастливые блики. Он явно мечтал о системе партийного просвещения.

В один из этих последующих пяти дней, а именно в один из мрачнейших, гнусно морозящих пополудней Кирилл и Цецилия тащились по еле проходимым потокам грязи. Дожди заливали Горелово. Урожай гнил в полях, утро колхозного строя было исполнено «поросычьего ненастья». Молодые люди продолжали теоретический марксистский спор.

Цецилия, будто отмахивая ритм рукою, вещала:

— Деревня сейчас развивается в строгом соответствии с нашей теорией, и Сталин как великий марксист прекрасно понимает, что мы не можем от нее отклоняться. Это научный закон, Градов, понимаешь? Элементарная диалектика революции!

Кирилл вдумчиво следил за прохождением каждой ее мысли из ее уст в сумрачные хляби, кивал.

— Я с тобой согласен, Розенблюм. Теоретически у нас нет расхождений, но в практике, мне кажется, мы иногда перегибаем палку...

Они завернули за угол единственного в селе двухэтажного каменного дома, где помещались Совет и правление колхоза, и тут их спор прервался. В этой час-

ти села, что открывалась за поворотом, происходило что-то необычное. Посреди дороги стояла колонна из полудюжины армейских грузовиков с откинутыми бортами. Красноармейцы, державшие винтовки с примкнутыми штыками, мелькали в крестьянских усадьбах по обе стороны улицы, выгоняли из изб рыдающих и вопящих баб, визжащих от страха детей и ошеломленных стариков, вышвыривали в грязь жалкие пожитки. Вертящиеся тут же сельские активисты на месте «коллективизировали» оставшийся мелкий домашний скот, а также уток и кур, разгоняли пинками и камнями бесполезных членов хозяйства, собак и кошек. Кошки, по свойственной им природе, немедленно удирали, кто с глаз долой, кто на недосягаемые ветви деревьев, чтобы оттуда наблюдать происходящее в вечном, начиная еще с пирамид, качестве созерцателей человеческой истории. Собаки, не в силах преодолеть верности своим домам, были единственными, кто сопротивлялся, то есть рычал и бросался на захватчиков. До Кирилла и Цецилии со всех сторон долетали человеческие вопли: «Да что же вы творите, ироды?!», «Безбожники, креста на вас нет!», «Мучители проклятые! Кровососы!»

Мелькнул с диким воплем расстегивающий кобуру командир отряда.

— Молчать, дерьмо кулацкое! Стрелять буду! — Пальнул все-таки в воздух.

Потрясенные происходящей практикой, Кирилл и Цецилия забыли о теории. Они медленно шли вдоль колонны, не в силах вымолвить ни слова. У одного из грузовиков натолкнулись на своего гореловского чичероне, комсомольца Птахина. С деловым видом он делал какие-то пометки в блокноте.

— Что тут, черт побери, происходит, Птахин? — спросил Кирилл.

— Де-пор-тация классово чуждых элементов, товарищ Градов. — Птахин начал вроде бы сурово, а потом нервно хихикнул: — Для их же собственной пользы отправляем кулацкие семьи на широкие просторы

братского Казахстана. Не пешком, товарищ Градов, видите, автомобили за ними прислали, такая забота.

— Вот этих вы кулаками называете? — спросил Кирилл, еле-еле удерживаясь от содроганий. Цецилия предупредительно взяла его за руку. — Практика иногда, увы, расходится с теорией, увы, неизбежны издержки, однако, Петр, вы уверены, что это все кулаки?

В птахинской расторопности Кириллу всегда виделось что-то от старорежимного приказчика, хотя откуда тут взяться приказчику, в мутаракани.

— Не извольте беспокоиться, товарищ Градов, и вы, товарищ Розенблюм! — зачастил Петя. — Все проверено-перепроверено. Все они тут у меня в списочке, кулаки и середняки-подкулачники, а списочек-то утвержден тама-а! — С чрезвычайной значительностью показал большим пальцем в небо. Грязная туча, волокущаяся сейчас поперек села, как бы не оставила никаких сомнений.

Кирилл и Цецилия расстались с Птахиным и прибавили шагу, чтобы поскорее миновать тягостную сцену. Погром между тем продолжался. Красноармейцы выхватывали у женщин и швыряли в грязь излишки имущества — одеяла, подушки, часы-ходики, самовары, сковороды и кастрюли. То и дело для разъяснения пускались в ход приклады. Иногда слышался предупредительный выстрел.

Как шагнули за околицу, все это сразу стало быстро отходить, как кошмар хоть и мизерной, но все-таки цивилизации. Исконная, не именуемая даже словом «Русь» природа вносила умиротворение, и в мрачности она сулила простор, широкий горизонт. Свернули на боковую дорогу, здесь было суше. Цецилия вздохнула:

— Что поделаешь, классовая борьба...

Кирилл было промолчал, поднял какую-то палку, потом сломал ее о колено и остановился.

— Нет, это уж слишком, Розенблюм! Ты видела этих кулаков... нищие, несчастные... Я слышал краем уха, не

хотел верить, но... сюда прислали какие-то неслыханные разнарядки, может быть, в отместку за антоновский мятеж... Никому не нужны крайности! Мы разрушаем самую суть российской агрокультуры! Не знаю, как ты, но я собираюсь сообщить в ЦК о своих наблюдениях!

Он кипятился, лицо его пылало, а она смотрела на него каким-то новым взглядом.

— Слушай, Градов, разве ты не слышал выражения «лес рубят, щепки летят»? Сталин все знает и превосходно понимает ситуацию со всеми ее эксцессами. Хватит об этом! — Внезапно она положила свои руки Кириллу на плечи и глубоко заглянула в его глаза: — Послушай, Градов, а как ты насчет небольшой половушки?

Кирилл ошарашенно отпрянул.

— Что ты имеешь в виду, Розенблюм?

Темноватая усмешка, будто тень стрекозы, блуждала по ее веснушчатому лицу.

— Ну, просто легкое физиологическое удовлетворение. Разве мы этого не заслужили после недели политпросвещения? Давай, Градов, не будь буржуазным неженкой! Вон, глянь, сарай на холме! Отличное место для этого дела!

Брошенный сарай выглядел малопривлекательным даже для «этого дела». Крыша зияла прорехами, на сгнившем полу в бочках стояла вода. На дверях висел ржавый замок, но отодвинуть доски на стене и пробраться внутрь не составляло никакого труда.

Цецилия деловито осмотрелась и быстро нашла более или менее сухой угол, бросила туда охапку более или менее сухого сена, расстелила там свое пальто, стащила пальто с Кирилла, потом с той же деловитостью сняла юбку — под ней оказались несколько отталкивающие лиловые штанцы по колено, расстегнула гимнастерку, повернулась к Кириллу: «Ну, давай, Градов!»

Кирилл ничего давать не мог, он был полностью сконфужен и не знал, что делать. Она стала вываливать то, чем он был совершенно потрясен, две большие, как белые гуси, груди. Откуда такие? Продолжая усмехаться, она полностью взяла инициативу в свои руки.

По завершении «легкой половушки» они лежали рядом и смотрели в прорехи на крыше, где все мутнее и темнее клубилась непогода. Ошеломленный потоком новых для него эмоций, Кирилл прошептал:

— Ты... ты... ты удивительная, Розенблюм... ты просто чудо...

Цецилия села, прокашлялась, как старая курильщица, белые гуси неуместно потряслись, будто на воде под внезапным порывом ветра, продула папиросину, спросила насмешливо:

— Как это вы, товарищ Градов, умудрились сохранить девственность до двадцати восьми лет? — Нагнулась и стала целовать Кирилла с неожиданной нежностью. — Ну что ж, добро пожаловать в мир взрослых, профессорский сынок!

Вдруг она заметила, что Кирилл отвлекся от любовной игры, что он смотрит с тревогой за ее плечо. Оглянулась и сама увидела чьи-то глаза, взирающие на них из угла, из-за свалки всякого хлама. Оба вскочили.

— Кто там прячется? Выходи! — вскричал Кирилл.

Глаза исчезли. Кирилл бросился в угол, расшвырял прогнившие бочки и брошенные хомуты, вытащил из укрытия мальчишку лет семи-восьми, вонючего и до крайности истощенного. Мальчишка пытался вырваться, защититься, замахивался, но сил у него хватило только на то, чтобы сжать кулачки. Он даже пытался кусаться, но зубы его оставляли на руках Кирилла лишь слабые вмятинки. Эти жалкие попытки защитить свое беспомощное тело пронизывали Кирилла острейшей, почти невыносимой жалостью.

— Паршивец, зачем подглядывал?! — начал было он грозно, но тут же стих и уж больше не тянул мальчишку, а только лишь поддерживал. — Что ты здесь делаешь, мальчик? Как тебя зовут? Кто твои родители?

Мальчишка разевал рот, вроде бы кричал, но крик его звучал как шепот.

— Пусти! Кровопийцы, безбожники, мучители! Сдохнуть-то хоть дайте! Я не хочу в Казахстан!

В конце концов он потерял сознание в руках Кирилла.

Когда Кирилл с мальчишкой на руках и бредущая за ними Цецилия появились на главной улице села, операция погрузки «социально чуждых элементов» в грузовики была почти завершена. Красноармейцы, как жнцы в конце хорошего рабочего дня, отдыхали у плетня, перебрасывались шуточками, делили табачок. И Петя Птахин был доволен: все списки проверил, все сошлось. Вот только несознательное бабье ведет себя некорректно. Макарьевна, например, из грузовика кулаком грозит, обзывает антихристом.

— Не болтай, Макарьевна! — благодушно сказал ей Птахин. — Раз не было Христа, значит, нет и Антихриста.

— Слышишь, Градов? — рассмеялась, услышав, Цецилия. — По Достоевскому прошелся Птахин!

Комсомолец обернулся, увидел Кирилла с мальчишкой на руках, счастливо ахнул:

— Вот удача! Где ж вы его пымали, товарищ Градов?

— Кто он? — спросил Кирилл.

— Да кто ж еще, если не Митька Сапунов, кулацкое семя! Валите его прямо в грузовик, товарищ Градов. Загружено под завязочку, а все ж одного-то пацана как-нибудь втиснем. В тесноте, да не в обиде, верно, бабы?

— Где его родители? — спросил Кирилл.

— Да ведь сгорели ж все! Вы ж сами видели пепелище-то, товарищ Градов. Митькин родитель Федор

давно еще сказал: чем в колхоз иттить, лучше все свое пожгу, и себя, и семью в придачу. Как раз за ним товарищи с ордером должны были приехать, когда он совершил вредительство. Давайте-ка я вам помогу, товарищ Градов, Митьку засунуть.

— Руки, руки! — с неожиданной для себя самого угрозой сказал Кирилл. — Забудьте об этом мальчике, Птахин. Он поедет в Москву со мной и с товарищем Розенблум.

Комсомолец даже побледнел от такого оборота, нелепо как-то суетнулся, из-за поясного ремня вытащил свою папочку с кальсонными завязочками.

— Да как же так, товарищ Градов? Вот ведь здесь новейшие инструкции, а по ним все кулацкие элементы должны быть изъяты отсюда, не глядя на возраст! Все отправляются в Казахстан для более полезного проживания! Вы чегой-то тут против инструкций говорите, товарищ Градов. Я не могу тут своеволия разрешить! Придется сиг-на-лизировать!

Он оглянулся вокруг в поисках командира отряда, но того поблизости не было видно, а побежать за ним он боялся: как бы товарищ Градов с кулацким отродьем не утек. Кирилла тоже охватила некоторая паника. Он почему-то не мог себе уже и представить, что может расстаться с тельцем, свисающим с его рук и слабо постанывающим, скулящим в полузабытьи. Однако если в следующую секунду здесь появится командир отряда, все будет кончено.

В действие вдруг вступила Цецилия, взяла комсомольского вожака под руку, отвела в сторону, нажимая на локоть и запястье, обдала женским жаром.

— А тебе, товарищ Птахин, когда-нибудь приходило в голову, что ты можешь быть не всегда прав в твоей интерпретации классовой политики партии? Разве ты никогда не страдал от недостатка образования? Я могу тебе одолжить некоторые работы наших величайших теоретиков. — Из своей раздутой сумки она вытаскила несколько брошюр, стала их совать Птахину

за пояс. — Тут тебе, Птахин, Зиновьев, Калинин, Бухарин, Сталин Иосиф Виссарионович... Возьми их, товарищ Птахин, и учись. Учиться, учиться и учиться, как завещал Владимир Ильич!

Ошеломленный, благоговеющий Птахин держал себя за пояс. Цецилия освободила наконец его от своего партийного полубьятья, ласково подтолкнула — иди, мол, учись! Кирилл между тем удалялся с Митей на руках. Цецилия хорошей партийной поступью зашагала ему вдогонку.

Минут через десять мимо них прорычала, заваливаясь в колдобины и разбрызгивая лужи, армейская колонна. Из грузовиков слышались рыдания и вой, мало уж чем отличающиеся от коровьего мычания.





ГЛАВА XI

Теннис, хирургия и оборонительные мероприятия

Осень тысяча девятьсот тридцатого года не спешила. Иной раз по утрам явственно пахло снегом, вроде бы даже начинала слетать с небес еле заметная белая моль, но вдруг, словно по заказу для нашего повествования, возвращалось бабье лето, и в его сомнительной голубизне Серебряный Бор представлял пышнейшим, ярчайшим по гамме дворцом природы.

В такое вот утро из калитки градовского участка вышли Никита, как всегда, в полной форме и с портфелем, который всегда появлялся у него в руках, когда он ехал в наркомат, Вероника в теннисном костюме и с ракеткой под мышкой, а также их четырехлетний уже сын Борис IV в матроске, но с саблей через плечо.

— Пожалуйста, запомни, Никита! — капризным, но сердитым тоном, то есть всерьез, говорила Вероника. — Ни под каким предлогом я не собираюсь возвращаться в Белоруссию! Хватит с меня! Я все-таки урожденная москвичка! Ни малейшего желания губить все свои молодые годы в глуши не испытываю! Ты должен наконец прямо сказать в наркомате, что хочешь перевода в Москву! Твои статьи печатаются в журналах, тебя считают теоретиком! Наберись наконец мужества!

Никита нервничал, посматривал на часы.

— Хорошо, хорошо, успокойся, пожалуйста. Я уверен, что мы остаемся в Москве. Уборевич недвусмысленно сказал, что видит меня в Главштабе. Я просто почти уверен, что... то есть я хочу сказать...

Из-за угла уже выезжал автомобиль наркомата обороны. Бориса IV стали обуревать противоречивые чувства — побежать ли к автомобилю или остаться при матери. Победило рыцарство.

— Мама права, — сказал он отцу. — Здесь лучше. Я тоже хочу здесь жить с Пифагором.

— Да разве ж я не понимаю, — виновато мялся комдив. — Семья может верить, что я и сам этого хочу...

Наконец-то Вероника улыбнулась.

— Я абсолютно уверен, — ободрился комдив. — Абсолютно почти уверен в неслыханном переводе в центр!

Он поцеловал жену и сына и сел в машину.

— Почему ты не играешь в теннис, папа? — строго спросил Борис IV.

«Жизнь полна тайн, — подумал Никита. — Ведь еще вчера мой бумбульончик только чмокал и фукал, а теперь задает вопросы бытия».

Машина тронулась.

На теннисном корте Веронику уже ждал ее напарник, пожилой красавец мужчина, и еще двое тоже немалых атлетов. Все трое представляли тип уцелевшего в революции и ожившего «знаменитого адвоката», который, впрочем, занимался теперь чем угодно, но только не защитой обвиняемых. Игра началась споро, и через несколько минут Вероника уже летала по корту, стремительная и раскрасневшаяся, прекрасно понимая, что выглядит она просто очаровательно, ну неотразимо!

— Мы вас громим, мальчики! — кричала она противникам, и те просто сияли от этих «мальчиков», прямо молодели на глазах под ударами умопомрачительной «красной генеральши».

— О ты, Вероника, богиня тенниса!

Борис IV тоже был при деле, носился вокруг корта, ловил отлетающие мячики. Среди немногих зрителей в углу дощатой трибуны, сдвинув фуражку на глаза, сидел военный. Вероника уже заметила, что это был не кто иной, как комполка Вуйнович.

Между тем в одном из больших кабинетов наркомата обороны шло совещание группы высших командиров РККА. Карта СССР и прилегающих стран была развернута во всю стену. Перед ней с указкой прогуливался, как само воплощение сдержанной мощи, командующий Особой Дальневосточной армии командарм первого ранга Василий Блюхер. Доклад Блюхера о стратегической ситуации захватил Никиту Градова не меньше, чем его жену — теннис.

— Центр военно-политической активности, направленной против нашей страны, сейчас смещается к Дальнему Востоку, — говорил Блюхер. — Особое значение приобретают планы Японии по созданию марионеточного Маньчжурского государства на нашей границе. Прошу вас снова обратить внимание на карту, товарищи. Синими стрелками здесь отмечены недавние передвижения японских сухопутных сил и флота.

Синие стрелы японских сил, будто рыбины, тыкались в вымя и под хвост огромной коровы Советского Союза. Блюхер подправлял их указкой. Командиры увлеченно делали пометки в блокнотах.

— В ближайшие месяцы мы должны быть готовы к серьезной конфронтации, — продолжал Блюхер, — может быть, к прямым столкновениям с очень сильным врагом. Японцы воевать умеют... — он улыбнулся, — и любят. — Улыбка командарма явственно говорила: «Как и мы это дело любим», и все присутствующие так и понимали.

Блюхер пересек комнату, остановился возле Никиты Градова, поставил ногу в сверкающем сапоге на перекладинку стула.

— Именно у нас, на Дальнем Востоке, Никита Борисович, вы найдете применение своим стратегическим талантам. Я предлагаю вам стать моим начальником штаба в Хабаровске.

Пораженный Никита вместо лица командарма взирал на сверкающее голенище. Все, улыбаясь, повернулись к нему. Предложение было из тех, о которых молодой командир может только мечтать! Это ли не трамплин для грандиозного взлета?!

— Это очень неожиданно, Василий Константинович, — пробормотал Никита. — Мне начальником штаба?.. В Хабаровске?..

Блюхер протянул ему руку:

— Ну, согласен?

— Как я могу отказаться от такого предложения?

Четко встал, оправил складки вокруг ремня, пожал протянутую руку. Вдруг подумал: что-то есть общее между Блюхером и покойным Фрунзе. Все присутствующие весело зааплодировали: красное воинство, боевое братство!

По окончании доклада Блюхер вышел в коридор в сопровождении Никиты и группы своих подчиненных из Хабаровска. На ходу он уже отдавал практические распоряжения:

— Комполка Стрельников будет вашим заместителем, Никита Борисович. Знакомьтесь. Комбат Сетаных назначается вашим старшим адъютантом. Остальных членов вашей группы подберете сами. Пока все. Все свободны до двух часов тридцати пяти минут.

Тут же все разошлись. Никита медленно двинулся по коридору и остановился возле еще одной карты СССР — ими богат наркомат. Зелень долин и коричневый горб Урала, потом опять луговое разлитие Западной Сибири, подпирающие с юга кочки Алтая и... так далее... Хабаровск... Восемь тысяч километров от Москвы... Вероника бросит меня... Сзади кто-то сильно хлопнул его по плечу. Он вздрогнул. Этот стиль западных отношений давно уже был изжит, что ка-

сается Никиты, то он ему даже и на Гражданской войне не нравился, а теперь уж и подавно. Особенно если тебя со всего размаху хлопают, а потом еще и сияет прямо тебе в лицо какая-то полужнакомая физия из начсостава НКВД. Он не сразу узнал Семена Стройло. Со времен Нинкиного отъезда в Тифлис не только не видел, но и думать о нем забыл.

Стройло шумел:

— Поздравляю, комдив! Вот ведь удача! Значит, будем работать вместе! Меня только что назначили в особый отдел при вашем штабе!

— Простите, не имею чести вас знать, — со злостью сыграл Никита.

Стройло тут же уловил интонацию и сам сразу же заиграл с коварством:

— Ну, чего ты, Никита, лейб-гвардию из себя строишь! Мы ж с тобой чуть не породнились до того, как Нинка-то сбежала от своих троцкистских дружков в Тифлис...

Никита резко отодвинул его в сторону, мимолетно удивился, что не такой могучий человек оказался, как ожидалось, и быстрыми шагами удалился. Стройло с кривой улыбкой смотрел ему вслед. Выдуманный и давно забытый пролетарий в нем теперь проснулся и был глубоко уязвлен.

Никита направился прямо во временный кабинет Блюхера. Командующий что-то писал, сидя под портретом Сталина. Никита решительно приблизился.

— Простите, что явился без приглашения, Василий Константинович, но я вынужден отказаться от поста начальника штаба ОДА.

Блюхер дописал фразу и только тогда глянул хмуро. Как и все люди, держащие под командой многотысячные войска, он немедленно менял отношение к тем, кто шел поперек.

— Ваша причина?

— В особый отдел при штабе назначен человек, которому я полностью и решительно не доверяю, — ска-

зал Никита и подумал, что наживает себе в этот момент могущественного неодолимого врага.

Между тем неприязнь так же мгновенно, как и возникла, отлетела со лба командующего. Такая «постановка вопроса» была ему понятна. Человек из его окружения выбирает свое окружение — это понятно, это по-военному и без лицемерия. Он вынул список новых назначений. Золотое немецкое перо остановилось на имени Стройло.

— Этот?

Никита сдержанно кивнул:

— Да. Семён Стройло.

Золотое перо резко вычеркнуло нежелательное имя. Блюхер внимательно посмотрел на комдива Градова, оценил ли тот этот акт доверия, и увидел, что оценил.

Быть может, как раз в этот момент Вероника окончательно уж наплясалась в теннисе и прекратила игру. Тут же она и заметила Вуйновича.

— Вадим, какими судьбами?! Ой, воображаю, какая я сейчас страшная! Что же вы столько лет пропадали? Просто испарился человек с горизонта!

Вуйнович, донельзя смущенный, клянувший себя за то, что не ушел на пять минут раньше — что делать, никак не мог оторвать взгляда от скачков грации, — вертящий в руках так и не укрывшую его фуражку, бормотал что-то несусветное:

— ...Слепой случай... удивительное совпадение... шел мимо, слышу стук мяча... лаун-теннис... никогда не видел раньше... зашел, и вдруг... вы, собственной персоной... сй-ей, меньше всего ожидал...

Не прерывая, она смотрела на него с улыбкой, как бы давая ему понять, что его страсть ей вовсе не противна, если она останется в таких вот милых романтических пропорциях. Он замолчал, и тогда она снова вступила все в том же, отлично, как ей казалось, найденном тоне:

— Ах, вот как? Значит, вы обо мне никогда и не думаете? Хорош друг. Ну, ладно, ладно, вы арестованы, комполка! Идемте на дачу, все вам будут рады!

От этого приглашения у Вадима сильно дернулись лицевые мышцы. «Особенно профессор будет рад», — подумал он. Надел фуражку, взял под козырек.

— Простите, не могу, Вероника Александровна. Спешу на вокзал. Как раз сегодня уезжаю в Таджикистан.

— Надолго ли? — с досадой воскликнула она и подумала: как в книгах.

— Может быть, навсегда, — сказал Вадим и быстро пошел к выходу.

Какая сильная прекрасная фигура, подумала, глядя ему вслед, Вероника. Легко представить, как бы он меня взял. Тут подбежал совсем ошалевший от двухчасового кружения Борис IV.

Пользуясь неожиданными благами бабьего лета, Градовы вынесли на веранду самовар. Потекло традиционное летнее чаепитие с домашними вареньями разных сортов и с государственными бубликами.

За столом в этот вечер сидели Борис Никитич, его помощник Савва Китайгородский, Мэри Вахтанговна, прислуга, или, по нынешней терминологии, домработница, Агаша, «богиня тенниса» Вероника, ее сын, исполненный достоинства Борис IV, а также новый член семьи, «кулацкое отродье» Митя Сапунов.

Прошло чуть больше недели с того дня, как полуживого мальчика привезли в Москву и водворили в Серебряном Бору, вызвав жуткий переполох всего семейства. Теперь его узнать было нельзя: отъелся, был вымыт, пострижен, одет в хороший свитерок. Только взгляд его остался страшноватый, легко было бы сказать «затравленного волчонка», если бы временами в нем не мелькало совсем уж что-то непостижимое и ужасное, некий взгляд-невзгляд. Впрочем, мелькало все реже, а иногда Митя даже улыбался, когда мама Мэри гладила его по голове и подкладывала на тарелку ку-

сочек сыра и ветчины. Совсем уж нежно он улыбался, когда вдруг друг дома Пифагор обдавал его жарким дыханием и клал ему свою морду на сгиб руки.

Тем временем Борис Никитич и Савва обсуждали свои профессиональные дела.

— Коллегия наркомата одобрила наше предложение. Так что готовьтесь, Савва, — сказал Градов.

— Да неужто? — Савва радостно заволновался. — Значит, может действительно войти в практику? Значит, внедрение анестезии по Градову не за горами?

— Нет, не за горами, — улыбнулся профессор. — А еще точнее, оперируем послезавтра.

В этот как раз момент на веранду со стороны сада начала подниматься молодая марксистская пара. Они держались за руки и в четыре очковых стекла сияли друг на друга. Все на них смотрели, а они ни на кого не обращали внимания. Агаша налила им чаю, они сели рядом с жарким самоваром. Палящий его бок как бы еще ярче вздул веснушки Цецилии. Ни чай, ни варенье не интересовали Кирилла, только лишь эти веснушки.

— Кирилл, что с тобой? — строго спросила Мэри Вахтанговна. Нельзя сказать, что она была в восторге от выбора младшего сына.

— Да мы только что расписались с Розенблум, — сказал Кирилл.

Агаша всплеснула руками:

— А, батюшки! И без свадьбы?

Вероника фыркнула:

— Интересно, вы и в постели друг друга называете по фамилии?

— Вероника! — осадил ее свекровь.

Кирилл же просто подхихикнул Веронике, он бестолково кивал домашним, сжимая под столом руку Цецилии. Пропал сумрачный догматик, уступив место влюбленному школяру. Он даже шутил!

— Раз уж мы умудрились занять восьмилетнего сына, мы должны были пожениться!

Мэри Вахтанговна тут же обеспокоилась:

— А вам не кажется, что Мите будет лучше, если сго усыновим мы с Бо?

Цецилия сразу же отвлеклась от любовного отсвечивания, высказалась категорически:

— Позвольте, Мэри Вахтанговна, ребенок должен быть со своими родителями, то есть с нами!

— Ну, вот я и опять дед! — весело воскликнул Борис Никитич. — Мог стать четырежды отцом, а стал дважды дедом!

— А что ты сам, Митенька, думаешь? — спросила Мэри мальчика.

Тот вздрогнул с набитым ртом, потом опустил глаза и буркнул:

— Я чай пью.

— Ответ, достойный Сократа! — вскричал профессор. Все заплодировали.

Мэри оставалась чрезвычайно серьезной, голос ее слегка дрожал:

— Я настаиваю, я даже требую, чтобы Митя оставался с нами, хотя бы пока вы не получите приличную квартиру.

Подняв подбородок, с видом оскорбленного достоинства она покинула веранду. Почти немедленно из дома стал доноситься взволнованный рокот рояля.

— Слышишь?! — грозно сказал Борис Никитич Кириллу, после чего повсрнулся к своему ассистенту и отъединился от сложных дел семьи. — Завтра берите день отгула, Савва, и ничего не делайте. Расслабляйтесь, отдыхайте. Операция должна пройти безупречно и с блеском, батсенька мой.

Савва засобирался домой, хотя ему вовсе не хотелось уходить. Всякий раз, когда он бывал в Серебряном Бору, ему казалось, что он встречается с Ниной. Агаша, прекрасно понимавшая страдания молодого специалиста, принесла ему сверточек со своими коронными пирожками. По дороге с кухни она заглянула в окно и пропела сладким голоском:

— А вот и Никитушка возвращается. Вон какой веселый шагает, моя ладушка.

Вероника увидела идущего от калитки мужа и картинно закурила папиросу: «Что-то он слишком веселый возвращается».

Через день в хирургической клинике Первого московского медицинского института состоялась долгожданная операция с применением нового метода анестезии. На амфитеатре вокруг операционного стола не было мест. Пришлось ограничить число зрителей только врачами и аспирантами. Студенты старшего курса толкались на застекленном балконе под потолком.

Все прошло на удивление гладко. Разработанный в последние месяцы анестезирующий состав прекрасно действовал на стволы и окончания нервов. Пациент был спокоен, шутил с сестрами. «Как себя чувствуете, Юзеф Александрович?» — каждые пять минут спрашивал его Градов, и каждый раз почтенный настройщик роялей с неизменной бодростью отвечал: «Прекрасно, Борис Никитич». Теперь Савва Китайгородский накладывал последние швы. Вскоре больного увезли. Хирурги отступили от стола и сняли маски. Амфитеатр разразился аплодисментами.

— Итак, товарищи, можно считать, что с сегодняшнего дня анестезионная система Градова — Китайгородского продвинута в общую практику! — громогласно объявил профессор.

Савва смотрел на своего шефа с ошеловленным видом, да и все присутствующие были удивлены: мало кто из профессоров так просто делился славой с молодыми помощниками.

Когда они остались одни в кабинете Градова, сестра принесла две мензурки с разведенным спиртом. Савва и Борис Никитич чокнулись.

— Ух! — сказал Савва и потер лицо двумя ладонями. — Да как же так, Борис Никитич? Система Градова — Китайгородского? Ей-богу, я не заслужил!

— Очень даже заслужили, — возразил профессор. — Вы были со мной с самого начала, Савва, работали, как вол, и в лаборатории, и в клинике, внесли столько блестящих предложений! Да и вообще... — Он чуть было не сказал «вы мне как сын». Вместо этого положил молодому человеку руку на плечо. — Скажите, Савва, как получилось, что вы тогда, в двадцать седьмом, не поженились с Нинкой?

Савва был в полном замешательстве. Сладкая тоска, столь неуместная в стенах хирургической клиники, бурно подкатывала к горлу.

— Ну... я, право, не знаю... сначала Семен, потом Степан... Разочарование в Семене, увлечение Степаном. Ведь они же поэты, Нина и Степа, не правда ли?.. А я — лишь скромный докторишка... Боже мой, да я люблю вашу дочь больше всего на свете!.. Я только о ней и думаю, когда... когда не оперирую, Борис Никитич...

— Она скоро возвращается, мой друг, — сказал Градов. Он испытывал к ассистенту острую симпатию и жалость. Скромный докторишка... Когда он ухаживал за Мэри в конце прошлого века, медицинский диплом считался верхом престижа. При нынешней власти все привычные престижи подвергаются унижению.

— Нина возвращается! — вскричал Савва, но тут же осекся, отвернулся к окну. Там на ветке березы раскачивался воробей. Крохотная капелька слетела у него из-под хвоста. Победно взъерошившись, он взмыл в неизвестном ему самому направлении.



ГЛАВА XII

Шарманка-шарлатанка



К северу от грузинской столицы в прозрачном воздухе виден был отдаленный горный хребет. Еще более впечатляющие пики гор сияли на фанерном щите сразу за входом в городской зоопарк. На фоне этих гор изображен был стройнейший, осиная талия, кавказец в черкеске с газырями на груди и с кинжалом на поясе. Вместо лица — овальная дырка. В нее-то и влезает круглая русская физиономия беспутного «попутчика» Степы Калистратова. Вуаля — вот он уже и романтический абрек. Фотограф с усами а-ля Вильгельм (или командарм Первой конной Семен Буденный) поднимает магниевую вспышку, ныряет под покрывало.

— Скажите «изюм», батоно!

— Кишмиш! — крикнул Степан. Магний вспыхнул. Фотограф вынырнул.

— Bravo! Вы моя лучшая модель за весь год! Куда прикажете прислать фотографии? Москва, Париж, Монте-Карло?

— В Соловки, мусье! Все приличные люди отдыхают сейчас в Соловках, очевидно, это будет и мой адрес на ближайшее будущее, — ответил поэт.

Он явно играл на зрителя, но, оглядевшись, был очень разочарован, не найдя вокруг никого, кроме своего не-

изменного Отари, рыцаря печального образа. Зрители же, на которых все работалось, группа хохочущих молодых людей и среди них личная жена Нина, находились неподалеку, но не обращали на Степу никакого внимания.

Вся компания — Нина, ее кузен Нугзар, молодой поэт Мимино, танцовщица Шалико и художник Сандро Певзнер — приплясывала перед клеткой, из которой, поднявшись на задние лапы, взирал на них огромный бурый медведь. Кто тут был зрителем, а кто исполнителем, нелегко разобраться. Все, включая, кажется, и медведя, преисполнены были какой-то фальшивой иронии и дешевой театральности, какие возникают порой в молодых компаниях после большого ночного пира и утренних хаши с водкой.

Особенно старалась Нина, она простирала руки и зывала к медведю:

— Дорогой мой русский медведь! Земляк! Соотечественник! Попутчик жизни! Бедный, что ты почувствовал, когда проснулся после своей сладкой спячки и обнаружил себя в этой гнусной клетке?! Дитя мое! Ты мой Лермонтов, заброшенный на Кавказ! Как я хочу тебя поцеловать!

Она вроде бы не замечала никого вокруг, но краем глаза все же видела своего мужа с его Отари, и сквозь хмель и расхристанность в ней поднималась какая-то злинка. Вдруг, не отдавая самой себе отчета, она перепрыгнула через барьер, подбежала к клетке и рванула дверь. Замок оказался незащелкнутым, слетел, и дверь открылась. Нина вошла внутрь. Медведь, будто Собакевич в театральной интерпретации великой поэмы, медленно к ней повернулся. Не раздумывая, Нина встала на цыпочки и запечатлела на его морде великолепнейший поцелуй. Опять же краем глаза заметила, что Степан со всех ног бежит к месту действия, а за ним, заламывая руки, поспешает Отари. Донесся крик мужа:

— Нинка, ты совсем рехнулась!

Возле клетки Нугзар перехватил Степана, зажал ему рот, скомандовал железным голосом:

— Перестань вопить!

Медведь между тем положил передние лапы на плечи Нины и топтался возле нее, опять же как Собакевич в гостинной, точно боясь наступить на ногу. Пасть его была приоткрыта, оттуда разило застойной вонью. Все давно уже перестали смеяться. Кто может предвидеть следующий шаг скучающего медведя? Только Нина еще храбрилась, старалась не потерять ноту:

— Бедный мой медведь! Мой Лермонтов! Дитя мое!

На самом деле она боялась шелохнуться под лапами зверя. Мелькнула даже мысль: какой немислимый конец! Медведь же явно не собирался упустить такой беспрецедентной возможности позабавиться.

Степан оттолкнул Нугзара, завопил истерически:

— Сторожа позовите! С пожарным шлангом!

Сандро Певзнер, бледный, пресвозмогая головокружение, полез было через ограду, не ведая зачем. Что тут можно сделать? Спугнешь зверя, изувечит любимую, Нашу Девушку, звезду Тифлиса. Нугзар железной рукой стащил его вниз, а затем, демонстрируя полное хладнокровие, повторил путь Нины. Медведь в этот момент оказался к нему задом. Он распахнул дверь и дал ему сильного пинка. Ошарашенный зверь опустился на все четыре. Нугзар мгновенно вытащил Нину и захлопнул дверь. Медведь дико взвыл от разочарования. К месту действия бежали служащие зоопарка.

— Безобразие! — вопил старшой. — Хулиганство! Все арестованы! — Он схватил за грудки Сандро. — Ты кто такой, туняец?

— Я Сандро Певзнер, художник.

Муть похмелья и стыд переполняли молодого авангардиста, которому недавно определенные товарищи строго порекомендовали перейти на рельсы реалистического пролетарского искусства.

— Вот он зачинщик! — завопил сторож. — Певзнер зачинщик!

Всех выручил опять же Нугзар. С исключительной авторитетностью он отвел старшего сторожа на пару шагов в сторону, незаметно для других показал ему красную книжечку НКВД и веско сказал:

— Спокойно, спокойно, дорогой товарищ! Никто не пострадал, ваш питомец цел и невредим. Девушка пошутила, батоно. Легкая поэтическая вольность. А клетки нужно запираить, батоно, чтобы не произошла вражеская вылазка...

Служащий мгновенно затих и забыл о всех претензиях. Богемная компания направилась к выходу. Хмель улетучился. Все, кроме Нугзара, чувствовали себя отвратительно из-за недостатка проявленного мужества. Нина кляла себя за неуместную браваду и кривлянье. Нугзар взглянул на часы:

— Пардон, пардон, мне пора улетучиваться. Увидимся вечером у папы Нико.

По-родственному он поцеловал Нину в щеку и немедленно удалился своим стремительным шагом, исчез за ближайшим углом. Вскоре и вся компания рассеялась.

Ранним вечером того же дня Нина и Степан медленно шли по горбатой улочке старого города по направлению к маленькому ресторанчику, на котором поверх старой вывески «Духан папы Нико» белой краской, словно в примитивистско-кубистской картине, было намазано «Столовая № 7 Горнарпита». Степан временами на несколько шагов отставал от жены. Однажды она повернулась и увидела, что он втягивает в нос с руки белый порошок. Она презрительно дернула плечом:

— Прекрати это, Степан! Ты уже шагу без этого ступить не можешь! Скажи, ты запаковал свои вещи наконец? Или ты забыл, что мы завтра в Москву отправляемся?

Степан бросил на нее странный взгляд, пробормотал:

— Подожди, Нинка, нам надо поговорить. Давай сначала зайдём к папе Нико.

В духане, несмотря на сталинскую пятилетку, все еще царила особая тифлисская атмосфера. Ресторанчик был излюбленным местом извозчиков и богемы. На стенах висели яркие примитивистские картины в стиле Пиромани. Только сам папа Нико, «король духанщиков», как его называли в городе, был невесел. Вместо того чтобы, как обычно, встречать гостей и раскрывать всем объятия, он сидел у стойки со своим другом-художником и жаловался ему на то, что он больше у себя не хозяин, а замдиректора.

— Все забрали, все кастрюли национализировали, все, кроме твоих картин. Я теперь никто. Прислали партийца. Кончилась, мой друг, целая эпоха!

Художник утешал духанщика со свойственным этому племени легкомыслием:

— Подожди, Нико, дорогой. Время придет, тебе дадут миллионы за мои картины.

Нина и Степан прошли в угол и спросили бутылку вина.

— Большую, — вдогонку официанту сказал Степан.

— Можно сразу две, — добавила Нина. — Что происходит, Степка? — спросила она и положила свою руку с двумя кольцами, подаренными Паоло и Тицианом, на его подрагивающий кулачок.

Степан весь как-то поплыл, заныл как от зубной боли, показывая ей, смотри, мол, как страдаю, потом встряхнулся, волосы двумя руками отправил назад и сказал:

— Я не еду в Москву.

В центре города в этот час стояли шум и суэта. Надвигались со всех сторон переполненные трамваи. Трубили автомобили. Кричали друг на друга извозчики. Нугзар, словно торпедный катер, разрезал толпу. Подошел к уличному торговцу лимонадом. Вместе со стаканом влаги тор-

говец передал ему тяжеленький сверток. Нугзар положил сверток в карман, с наслаждением опустошил стакан. Затем исчез под аркой проходного двора.

Нина и Степан пили вино, не глядя друг на друга.

— Что-то лопнуло в наших отношениях, Нинка, — печально сказал Степан.

— Хорошее слово «лопнуло», — сказала еще печальнее Нина. — По отношению к надутому шарикуну...

— У тебя успех, а я выпадаю в осадок, — сказал Степан.

— О чем ты говоришь, какой успех? — с досадой сказала она.

Степан вдруг на мгновение вспыхнул:

— Этот проклятый медведь, после него мне все стало ясно! Это была какая-то проба, которую мне судьба подсунула, и я оказался полным говном!

— Ну что за вздор, — удрученно и раздраженно протянула она.

В тот же час председатель Центральной контрольной комиссии Ладо Кахабидзе сидел в своем просторном кабинете под картиной, на которой его любимый вождь читал газету «Правда». Замечалось, если не бросалось в глаза, отсутствие портрета Иосифа Сталина. Входящему как бы предлагалось настроиться на тон серьезности и деловой партийной чистоты, ибо что может быть чище и серьезней в мире, чем Ленин, читающий «Правду»? Ладо Кахабидзе после целого дня совещаний и встреч сидел в одиночестве, прочитывал бумаги и делал пометки.

Где-то в глубине дома скрипнула дверь. Послышались быстрые легкие шаги. Они приближались. Дверь кабинета открылась. Кахабидзе поднял голову. Вошедший целился в него из пистолета. Кахабидзе открыл рот и был тут же убит на месте.

В «Духан папы Нико» между тем забрел известный всему городу шарманщик с попугаями. Вся троица и ста-

рая машина были сегодня в ударе, звучала вполне различимая старая мелодия, шарманщик подпевал, птицы порхали над столами. В Тифлисе часто спорили, почему попугаи не улетают от шарманщика, может быть, он привязывает их за лапки какими-то невидимыми ниточками? Только редкие пьяницы понимали, что шарманщик представляет для попугаев понятие «родина».

Степан говорил своей жене с жаром:

— Я люблю тебя по-прежнему, Нинка, но не могу ехать с тобой. Я стал бояться Севера. Север пожрет меня, как мамонты когда-то пожрали коз.

— Мамонты были травоядными, невежда, — с досадой возразила Нина. — Что ты будешь здесь делать один, Степан? Ты и на пропитание себе не заработаешь.

Степановского жара хватило на одну фразу. Он вдруг весь опять обвис, вяло забормотал:

— Ну, что-нибудь придумаю... Вино здесь дешевое... Сыр... Зелень... Потом не забывай, что мой верный Отари всегда со мной.

Вот о ком она постоянно забывала, как не помнят о тени человека, а он ведь и вправду ходил за ее мужем, словно тень. Она обернулась туда, куда показал подбородком Степан. За одиночным столиком сидел томный, как лебедь, Отари. Он явно дожидался конца их разговора. Нину вдруг осенило, она наконец-то догадалась, в чем причина такой магнитной неразделимости двух мужских персон. «Ах, вот в чем дело! А я-то и не догадывалась, дура!» Она начала хохотать и все хохотала и хохотала, даже голову на руки от хохота уронила.

Из внутренней дверцы духана вышел плотный мужчина, подпоясанный военным ремнем, только что назначенный директор «столовой Горнарпита». Решительно пройдя меж клиентами, он двумя руками подтолкнул шарманщика к выходу:

— Пошел вон, кинто несчастный! Частный промысел запрещен!

Два попугая вдруг разом сели на его плечи с розовыми билетиками в клювах. Директор инстинктивно схватился за пояс, где у него еще совсем недавно висел вохровский наган. Папа Нико горько вздохнул: эпоха кончилась, да здравствует эпоха! И это кончится, вздохнул изгоняемый философ, частным промыслом Божиим.

Полный беспорядок и смятение царили этой ночью в доме фармацевта Галактиона Гудиашвили. Вбегали и выбегали женщины с криками: «О горе! О ужас!» Хозяин дома лежал на диване в полубессознательном состоянии и только повторял: «Нет, нет, я не верю, мой Ладо жив...» Любимый племянник Нугзар с окаменевшим от трагизма лицом сидел на валике дивана, держал за запястье отброшенную дядину руку. В такой вот момент в дом вбежала Нина, бросилась к дяде:

— Что случилось, дядя Галактион?

Дядя закрыл ладонью глаза, проговорил:

— Нугзар прибежал со страшной вестью: Ладо убит в упор у себя дома... Соседи прибежали, подтверждают, весь город уже... Нет, нет, не верю, мой Ладо жив...

Нина схватилась за голову, потом заломила вверх руки тем же движением, что и все грузинские женщины. Подошел Нугзар, отвел ее в сторону:

— Нина, будь мужественной...

— Кто мог это сделать? — почему-то шепотом спросила она.

Нугзар ответил тоже шепотом, но очень громким шепотом:

— Я слышал, что троцкисты посчитались с ним за старые долги.

Она отмахнулась:

— Это вздор, троцкисты не прибегают к личному террору!

Он заглянул ей в лицо, как ей показалось, не без лукавости:

— Откуда ты это знаешь, Нина?

Нина ударила себя кулаком в ладонь, схватила со стола из открытой коробки папиросу, отбросила ее.

— Как будто ящик Пандоры открылся! — воскликнула она.

— Что еще случилось? — живо спросил Нугзар.

— Ничего не случилось, но завтра у меня поезд... понимаешь?.. утром уезжаю в Москву... вещи не собраны... полный развал... эти новости, — она, что называется, металась.

— Вещи — это не проблема, — солидно сказал Нугзар. — Пойдем, я помогу тебе собраться. Довесься кузену.

Будто схваченная этой фразой, Нина остановилась спиной к нему, потом медленно посмотрела через плечо. Волна дикой радости прошла через тело Нугзара. Сегодня мой день. Ничего не говоря, она отправилась наверх. Он последовал за ней.

В ее комнате все было разбросано, пустые чемоданы раскрыты. Войдя, Нина стала швырять все, что под руку попадалось — белье, туфли, книги, — на дно чемоданов. Нугзар подошел сзади, взял за плечи и повернул к себе. Сопротивляться ему сегодня она не могла. Напротив, се вдруг неудержимо потянуло кому-то в чем-то до конца, до какого-то конца, ей неведомого, дальше конца, то есть окончательно, признаться. Он это почувствовал и проговорил срывающимся голосом:

— Ты девочка что надо, не боишься медведей...

— Не боюсь и пострашнее бестий, — с темной ухмылкой прошептала она и стала расстегивать его рубашку. Он потянул с ее плеч жакетку. Движения их были медлительны, как будто они старались, чтобы ни одна секунда этой тристии не пролетела незаметно.

Когда поезд этих секунд все-таки прошел, Нина долго еще не могла успокоиться. С закрытыми глазами она целовала плечи и шею своего мужчины. Вдруг до нее долетел его бесконечно подлый голос:

— Я вижу, тебе понравился абрек.

Все кончилось. Она открыла глаза:

— Это ты абрек?

Нугзар рассмеялся:

— Конечно, я абрек, смелый разбойник!

Нина отодвинулась от него. Их нагота вдруг показалась ей постыдной.

— Абреки не шантажировали женщин, — сказала она, хотя прекрасно понимала, что начинает — это после столь бурных откровений и признаний — хитрить, самой себе представляться запуганной жертвой. Вдруг ее поразила догадка, она села в постели. — Вай! Теперь я все поняла! Это ты убил дядю Ладо Кахабидзе!

Нугзар мгновенно бросился на нее, схватил за грудь, повалил, потом зажал рот ладонью и зашептал горячно в ухо:

— Никогда больше не повторяй этой чепухи, дура! Иначе все мы будем убиты: и я, и ты, и все, кто услышит! Ты поняла?

Снова все началось. Отвернув от него голову, глазами, полными страха и тоски, Нина смотрела в темное окно.



ГЛАВА XIII

Жизнетворные бациллы



На даче Градовых в Серебряном Бору с утра опять семейная идиллия, все семейство собралось за завтраком: сам профессор, профессорша, старший сын — комдив, очаровательная комдивша, их важный сын Борис IV, средний сын — марксист с марксистской женою, их сын, рожденный в восьмилетнем возрасте Митя, хлопотливая управительница Агафья, ну и, конечно, главный идеолог таких гармоний, молодой овчар Пифагор.

— Все должны каждое утро выпивать по стакану простокваши, — наставлял свое семейство Борис Никитич. — Великий Мечников обнаружил в ней жизнетворные бациллы, секрет долголетия. Все пьют простоквашу, все без исключения. Никита, тебя это тоже касается!

Начальник штаба Особой Дальневосточной армии вздрогнул:

— Как, меня тоже? — Торопливо опустошил стакан.

Хороший мальчик, сказал ему взгляд Мэри.

— На фиг нам это долголетие? — бросила вызов теннисистка. — Гнить в тунгусских болотах на Дальнем Востоке?

Никита потупил глаза. Мэри приняла мяч.

— Вероника, что за выражения? Здесь же дети!

Митя, ставший тут уже явным любимчиком, зашелся в смехе:

— А на фиг, а на фиг нам это долголетие?

Борис IV, потеряв важность, даже подпрыгнул:

— На фиг! На фиг!

Мальчики явно подружились, несмотря на разницу в возрасте. «Кулацкое отродье» изменился до неузнаваемости. Агаша даже расчесывала ему волосы на кося пробор, чтобы был похож на ребенка «из хорошей семьи». Только по ночам еще он иногда с закрытыми глазами вскакивал и куда-то с мычанием рвался, но все реже и реже.

Борис Никитич погрозил Веронике, все свое племя обозрел с притворной строгостью, остался своей ролью весьма доволен, посмотрел на часы и встал. Что-то все-таки мешало почувствовать полный утренний комфорт. Вдруг вспомнил — опера! Грозный и справедливый Грозоправ сразу пропал, профессор слегка заюлил:

— Мэричка, можно тебя на минуточку?

Мэри уже почувствовала неладное, прошла за ним в кабинет.

— Что случилось, Бо?

— Мэричка, наш поход в оперу придется отложить.

— Ну вот, я так и знала! Мы никогда до оперы не доберемся!

Он торопливо забормотал:

— Понимаешь, Главное медицинское управление наркомата обороны просит в самые кратчайшие сроки представить доклад по нашему методу местной анестезии. Поэтому мне пришлось созвать всю нашу исследовательскую группу. Мы просто не управимся до начала спектакля.

Мэри была очень оскорблена. «Поход», как он выражается, в Большой на новую постановку «Кармен» для нее был большим событием — сегодня и проснулась-то с радостным предвкушением, — а для него это всего лишь досадная причина спешки, препятствие на пути к новым успехам. Как-то не так все это представ-

лялось в молодости! Именно в опере, в консерватории, в музыке все это представлялось. Да, конечно, труд, быт, борьба, но все это рядом с музыкой, с чистым вдохновением, иначе мы лишимся духовной свободы!

— Я вижу, Борис, ты просто потерял способность отказывать начальству! Ты получил свои награды и высшие посты, но потерял духовную свободу!

Градов умоляюще простирает руки:

— Ты не права, моя дорогая!

В это время кто-то продолжительно позвонил в дверях. Агаша прошелестела открывать. На пороге выросла внушительная фигура бывшего младшего командира РККА, ныне участкового уполномоченного Слабопетуховского. Он что-то тихо сказал на ухо Агаше. Та всплеснула руками, схватила его за рукав, обходным путем, чтоб в столовой не увидели, повлекла в кабинет. Здесь уж затопала на него ножками, замахала кулачками, шепотом закричала, показывая на него хозяевам:

— Борюшка, Мэрюшка, да вы подумайте только — за Митенькой пришел Слабопетуховский! Чтоб мои глаза тебя никогда не видели! Пошел вон, бесстыдник!

Участковый пятнами покрылся от возмущения, уселся, скула выпятилась, будто скифский курган.

— А при чем тут Слабопетуховский, Агафья Власьевна? Слабопетуховского вызвали, куда следует, поставили по стойке «смирно» и приказали. Получен сигнал из Тамбовской области. Несовершеннолетний кулацкий элемент незаконно вывезен и помещен в семью профессора Градова. Немедленно, до соответствующих указаний, изъять несовершеннолетнего из семьи и поместить в детприемник. Зачем же вы, Агафья Власьевна, «бесстыдником» меня потчуете? Ешьте его сами, вашего «бесстыдника»!

В большой обиде он задрал голову и через анфиладу дверей увидел кухонный шкаф с граненым стеклом, за которым — он знал это лучше других — всегда стоит графин с крепкой настойкой.

— Да они совсем уже осатанели, эти мерзавцы! — вскричала Мэри. Грузинский ее темперамент никогда не заставлял себя ждать.

— Это уже просто за пределами добра и зла, — раскипятился Градов. — Изъять несовершеннолетнего, каково!

Он еле сдерживался, чтобы не присоединиться к крику жены: «Мерзавцы! Мерзавцы, осатаневшие от полной безнаказанности, исчадия ада!»

— Надеюсь, ты этого не допустишь, Бо?! — на той же ноте обратилась к нему жена.

Он вдруг скомандовал, словно и сам был представителем большевистской бюрократии:

— Мэри, остайся! Слабопетуховский и Агафья, можете идти! Ждать! Никому ничего не говорить!

На кухне участковый одной рукой обратал Агашу, другой привычно потянулся за графином. Агаша слабея под его полуобъятьем.

— Слабопетуховский, как ты мог? Где же твои клятвы, Слабопетуховский? Ведь они же мне все как родные, а Митенька пуше других, сиротка. — Вдруг решительно стряхнула могучую длань, скомандовала: — А ну, сей же час ступай к начальству, скажи — Мити дома нету. Скажи, с мамашей Цецилией уехал в партийную санаторию!

Слабопетуховский восхитился находчивостью подруги, повеселел.

— Слушаюсь, Агафья Власьевна, однако позвольте для бодрого настроения кавалерийским способом пополучить ваш поцелуй и двести граммчиков напитка.

В кабинете тем временем Борис Никитич решительно направился к телефону, однако не успел он положить руку на трубку, как телефон сам зазвонил. Мэри трагически сжала руки на груди.

— Савва? — удивился Градов. — Хорошо, что вы позвонили именно в этот момент. Пожалуйста, известите всех, кому надо знать, что я отменяю сегодня операцию и все встречи. Что? Вы счастливы? Как

прикажете понимать? Ах, вот что! Ну, что ж, увидимся вечером.

Он повесил трубку и обратился к жене:

— Вообрази, Нина и Степан возвращаются сегодня. Она прислала телеграмму Савве, и он пришел в экстаз, несчастный.

На Мэри даже эти новости не подействовали.

— Пожалуйста, Бо, Нина — потом! Сейчас — только Митя, Митя, Митя! Надо спасти мальчика!

Профессор сел за стол, открыл сафьяновую записную книжку, нашел номер коммутатора Кремля. Боже, как ему не хотелось туда звонить! Каждая минута отсрочки казалась ему выигрышем.

— Мэри, принеси мне тот костюм, ну, тот, с их дурацкими орденами, — попросил он. Как только она вышла, снял трубку. — Девушка, соедините меня, пожалуйста, с секретариатом председателя ЦИКа товарища Калинина!

Мэри уже прилстела обратно, неся темный костюм с двумя орденами Красного Знамени на лацкане. Теперь его стали награждать едва ли не перед каждым праздником, и все эти ордена, здоровенные бляхи, полагалось носить на «парадном» костюме. Не отрываясь от телефонной трубки, он начал переодеваться. Снял пиджак. В это время на другом конце провода проключился секретариат, бойкий мужичкий голосишко какого-то «выдвиженца». Градов солидно заговорил:

— Здравствуйте, у телефона профессор-орденоносец, хирург Борис Никитич Градов. Мне необходимо поговорить с товарищем Калининым. Простите, дело не терпит отлагательств. Да, да... Что вы сделаете, товарищ? Провентилируете обстановку? Пожалуйста, провентилируйте ее. Да, я подожду.

Он снял ботинки и брюки и уже принял от жены официальный костюм, когда услышал в трубке твердую малокупеческую скороговорочку: Калинин.

«Почему я раньше не замечала на правой голени у Бо этой синей вены? — подумала Мэри, глядя на бес-

штанного мужа. — Это, должно быть, от многочасового стояния на операциях».

Градов уверенно и с должной долей почтительности, словом, как надо, говорил с козлотородым «всероссийским старостой», о котором в Москве ходили слухи, что в общем-то не злодей, только охальник и трус.

— Мне необходимо поговорить с вами, Михаил Иванович. Убедительно прошу принять меня прямо сегодня. Отниму у вас не более четверти часа. — Держа трубку между ухом и плечом, он ловкими движениями завязывал галстук. — Да? Чрезвычайно благодарен. Немедленно выезжаю.

Повесив трубку, он при всех регалиях предстал перед женой. Мэри поцеловала его, чуть отодвинулась, любуясь. Даже эти варварские ордена ему к лицу.

— Я была не права, Бо, ты не потерял духовной свободы!

К вечеру все окончательно и самым счастливым образом разрешилось. Заветная фраза кремлевских владык «Можете спокойно работать, товарищ Градов» была произнесена. На даче воцарилось веселье. Митя гонялся за Борисом IV по всем комнатам, даже и не подозревая, что он только что подлежал «изъятию», а только лишь чувствуя праздничное возбуждение, которое всегда охватывало этот дом в дни полного сбора. В столовой играл патефон и открывались бутылки. Самым счастливым был, разумеется, Пифагор, который все знал. Кроме того, и это, может быть, даже главнее: Нина, Нина присхала, любимая сестра! Мэри раскраснелась, все время награждала носителя стойкой духовной свободы, то есть своего мужа, поцелуями.

— Наш папочка сегодня герой! Наш папочка сегодня герой!

Борис Никитич с большим значением, хотя и не без сдержанного юмора, повествовал об аудиенции:

— Вот что значит быть русским врачом, друзья мои! Член правительства... да-с... хм... да еще такого правительства... говорит с тобой на равных!

Он посмотрел внимательно на Нину. Дочь была бледна, как будто не с Юга приехала, а из туманного Питера. Вдруг до него дошло, что она одна.

— Ба, а где же Степан?

Нина ничего не ответила, но зато тут же выступил вперед донельзя возбужденный, если не сказать сияющий от счастья, Савва Китайгородский.

— Вообразите, леди и джентльмены, поезд приходит, Нина выпрыгивает из вагона, и я вижу, что она... она одна, леди и джентльмены! Я оглядываюсь вокруг: увы, Степана нет, он просто не определяется в пространстве! Я даже влез в вагон в поисках Степана, но его и там не было... Он просто драматически отсутствовал, леди и джентльмены!

Он оглянулся на Нину, и она ему, персонально ему, ассистенту кафедры общей хирургии, улыбнулась. Чуть-чуть рассеянная улыбка, но с явным адресом, не просто в воздух.

Профессор тут тоже улыбнулся понимающе, адресовался к Савве:

— И вы были этим отсутствием чертовски удручены, мой друг, не правда ли? Встречать двух персон, а встретить лишь одну, это нелегко.

Может, впервые со времен «дела Фрунзе» Борис Никитич был так замечательно оживлен, как сегодня. Он перехватил на лету своего внука Бориса IV и посадил его к себе на колени.

— Надеюсь, хотя бы этот отпрыск, Борис IV, пойдет по стопам деда и станет великим русским врачом.

— Пойду, пойду, дед! Где твои стопы?! — вскричал Борис IV.

С кухни всем присутствующим салютовал граненым стаканчиком участковый уполномоченный Слабопетуховский. Агаша сновала туда-сюда с блюдами пирожков и холодца. Никита, Вероника, Цецилия, Ки-

рилл, Нина и Савва — вся взрослеющая к этим временам, к тридцатому году, крепнущая посреди «великого перелома» молодежь градовского дома — вышли на веранду покурить.

— Подумать только, — пыхнул папиросой Никита. — Старик никому ничего не сказал и все устроил сам. А ведь я бы тоже мог через Блюхера... он член ЦК...

— Тише, товарищи, Митя ничего не знает, — предупредила Цецилия. — Да и не нужно ему ничего знать о его прошлом. Пусть вырастет полноценным советским человеком.

Нина в этот момент метнула на нее явно грузинский взгляд, но ничего не сказала. Никита усмехнулся:

— А все-таки, Цилька и Кирка, этот случай не очень-то подходит к вашим историческим классификациям, а?

— Исключения все-таки не опровергают процесса как такового, — со странной для него мягкой академичностью возразил Кирилл.

Шикарно хохотнула Вероника:

— Предпочитаю все же подпадать под исключения, чем под процесс!

Агаша звала всех к столу. В доме, невзирая на все тревобления, а может быть, благодаря им, несмотря и на идеологические шероховатости, распространялась всеобщая веселая влюбленность.

— Ну, почему, почему мы не можем всегда все жить вместе?! — восклицала мама Мэри.

И только Нина улыбалась вымученной улыбкой. Она еще не приехала. Медленно, будто поезд, проходящий через узловую станцию, проходили через нее события последних дней: объяснение со Степаном, убийство Ладо Кахабидзе, ночь с убийцей и самое последнее — короткий эпизод по дороге с юга, железнодорожное впечатление современной Анны Карениной.

...Поезд медленно проходил через узловую станцию Ростов — Нахичевань. Нина стояла в проходе своего

«международного вагона», курила. Она не могла оторвать глаз от окна. В тошнотворном свете станционных огней перед ней проплывали бесконечные вагоны-теплушки, «сорок человек, восемь лошадей», в которых вывозили на восток, на вечное поселение, кулацкие семьи Украины и Кубани.

В крохотных окошечках под крышами вагонов набито было месиво глаз и губ, общее, бледное до желтизны лицо. Кое-где, видимо, вопреки приказу двери теплушек были чуть приоткрыты для притока воздуха. Оттуда неслись проклятья, вопли, детский плач. Вдруг истерически взвизгнула гармошка. Неизвестно, сколько лошадей, но людей там явно было сверх нормы. Между составами, на путях, расставлена была охрана — кургузые красноармейцы с винтовками. Иногда, ведя собак, проходили специалисты, энкавэдэшная вохра.

Нина не могла оторвать взгляд от этих вагонов смерти. И вдруг кто-то ответил на ее взгляд. Из окошечка теплушки прямо на нее, молодую красивую женщину из «международного вагона», смотрело распухшее страшное лицо неопределенного пола, именно общее лицо с непересчитанным количеством глаз. Смотрело с ненавистью и презрением.

Антракт V. Пресса

XVI съезд ВКП(б) проходит под лозунгом: «Пора кончить с правой оппозицией!» Партия очень терпеливо старалась и старается выправить линию сбившихся с ленинского пути товарищей. Однако лидеры правых не доказали, что они готовы вскрыть все сделанные ими ошибки, что они безоговорочно порывают со своими ошибками, не оставляя ни малейшей лазейки для своих правооппортунистических колебаний. Статья тов. Бухарина не только не говорит о признании им ошибок, но дает основания думать, что он остается на правооппортунистической позиции. То, что сказали на съезде вожди правых тт. Угланов, Томский и Рыков, заставляет съезд партии насторожиться. Партия вправе ждать от

т. Рыкова более прямых и ясных ответов. Пропаганда и защита правых взглядов несовместима с принадлежностью к ВКП(б). Бывшим сторонникам этих теорий надо доказать на деле, что они борются с правыми. Партия не Ноев ковчег, а боевой союз единомышленников. Только единство даст нам возможность победить всех врагов коммунизма.

Досрочная массовая подписка на заем «Пятилетку в четыре года» развернулась на заводах и фабриках Ленинграда. Массовая волна инициативы охватила Урал.

По сообщению МОСПО, мясные талоны третьей декады июня за №№ 13, 14, 15 действительны по 3 июля включительно. Срок действия мануфактурных талонов рабочих и детских второго квартала продлен на третий квартал.

К 25-летию восстания: мировой фильм «Броненосец «Потемкин»!

Урожай колхозных полей собрать полностью! Большевикским примером повести за собой единоличников!

Всесоюзная автовеломотоэстафета прибывает в Москву. На стадионе «Динамо» состоится передача рапортов.

В месячный срок сдать бумажную макулатуру!

Японские краболовные суда хищничают в советских водах.

Из заключительного слова товарища Сталина. 3 июля 1930 года: «...Лидерам правых надо... порвать окончательно со своим прошлым, перевооружиться по-новому и слиться воедино с ЦК нашей партии в его борьбе за большевистские темпы развития, в его борьбе с правым уклоном. Других средств нет. Сумеют это сделать бывшие лидеры правой оппозиции — хорошо. Не сумеют — пусть пеняют на себя». (Продолжительные аплодисменты всего зала. Все встают и поют «Интернационал».)

Ко всем строителям дирижабля «Правда», всем группам содействия, редакциям газет. Просим сообщить, сколько собрано средств, и перевести собранные средства на текущий счет дирижабля «Правда».

...Текстильщик Иванов внес 25 рублей золотом. «Посылаю вам для пролетарской казны — 25 р. зл. Долго их хранил, хотел сделать себе зубы, да вижу, не время. Предлагаю открыть сбор золотых вещей. У каждого найдется что-нибудь. С тов. приветом, Иванов».

...Журналисты, отдыхающие в сочинском доме отдыха, и работники печати вместо венка на могилу Тараса Кострова вносят в фонд дирижабля 420 рублей.

...К 27 сентября поступило 193 452 р. 97 коп., 3000 итальянских лир, 150 рупий, 7 германских марок, 4 золотых кольца и разные ценные вещи. «Правда» будет реять над советской землей!

Ударными обозами хлеба покрыть сентябрьский недобор!
Сильнее огонь по кулаку и правым оппортунистам, торгующим коллективизацию!

Шире и крепче опереться на инициативы масс в борьбе за новые миллионы колхозников!

Мы, декхане-единоличники кишлака Зариент Маргеланского района, убеждаемся в преимуществе колхозов и вступаем в колхоз имени Сталина!

Интерес к дирижаблестроению огромен!

С мест. Под маской анонимок. Прения по докладу об итогах съезда в Институте им. Плеханова как будто обнаружили согласие с генеральной линией партии... а между тем значительное количество анонимно поданных записок свидетельствует о наличии среди участников собрания ряда товарищей, или несогласных с решениями съезда, или сомневающихся в их правильности. Некоторые авторы анонимок издевательски указывают на то, что коллективизация провалилась.

...При проработке решений XVI съезда партии ячейке Московского института народного хозяйства им. Плеханова необходимо заострить внимание на факте наличия примиренческих настроений у части партийцев и дать им решительный отпор.

По-боевому убирать и заготавливать!

Привлечь к строжайшей ответственности виновников порчи огородной продукции!

Подсудимые есть, почему их не судят?

Мобилизовать в двухнедельный срок 30 писателей, включив их в состав ударных бригад! Ликвидировать отставание литературы от требований социалистического строительства!

Новости дня. В Анапе начался процесс над кооперативными вредителями. Первые закрытые распределители в Ленинграде. Обнаружены большие залежи свинца. В Сталинабаде состоялся процесс над работником Автопромторга Кубицким, избившим шофера-таджика. Общественность с негодованием осудила этот ярко выраженный случай великодержавного шовинизма.

На решающем этапе ликвидации кулачества.

...Пока вопрос «кто кого» не решен и классовая борьба в нашей стране продолжает обостряться. Мелкотоварное производство ежедневно и ежечасно рождает капитализм.

...На основе сплошной коллективизации мы наносим жестокий удар кулаку, особенно в зерновых районах. Под колесницей победоносного социализма он напрягает последние отчаянные усилия, пытается увлечь за собой середняка и бедняка и даже отдельные слои городского пролетариата. Задача ликвидации кулачества как класса есть наша центральная задача.

Органами ГПУ в Москве ликвидированы две новые группировки «бывших людей». Одна из них возглавлялась типичным кулацким идеологом проф. Кондратьевым. Рядом существовала оформленная группа меньшевистских и меньшевистствующих интеллигентов — Громана, Базарова, Суханова и др.

За рубежом. Подозрительные перелеты польских самолетов. Восстание туземцев в Индокитае. Оживление деятельности белогвардейцев в Харбине. Лидер германских фашистов Гитлер проводит переговоры с промышленными магнатами Рурской области.

ОГПУ раскрыта вредительская и шпионская организация в снабжении населения важнейшими продуктами питания, имевшая целью создать в стране голод и вызвать недовольство среди широких рабочих масс и этим содействовать свер-

жению диктатуры пролетариата. Вредительством были охвачены: Союзмясо, Союзрыба, Союзконсерв, Союзплодоовощ и соответствующие звенья Наркомторга.

Из показаний проф. Рязанцева (бывшего помещика и интендантского генерала): «Я считал, что основным классом, носителем культуры является буржуазия»...

Проф. Каратыгин (бывший редактор кадетской газеты): «Характерным для нас являлось неверие в восстановление хозяйства страны советской властью, отрицание коллективизации, установка на индивидуальное хозяйство, необходимость сохранения частнокапиталистических отношений... За свою вредительскую работу в холодильном деле я получил от Рязанцева всего 2500 рублей...»

Левандовский (завотделом сбыта и распределения Союзмяса): «Мы хотели, чтобы государство ушло из мясного дела, передав этот рынок частному капиталу...»

Отклики в стране на разоблачение вредительской группы.

Беспощадно раздавить вредительскую гадину! Привет стражу революции ОГПУ! Больше бдительности!

Трудящиеся отвечают на вредительство в пищевой промышленности еще большим сплочением вокруг большевистской партии, обязательствами с честью вступить в третий, решающий год пятилетки. На места одиночек вредителей рабочий класс выдвинет в аппарат сотни и тысячи организаторов социалистического строительства.

Металлисты электростанции требуют беспощадного приговора. Амовцы приветствуют ОГПУ — меч пролетарской диктатуры. Мы требуем применить к вредителям высшую меру наказания — расстрел!

Демьян Бедный: «ГПУ во вчерашней публикации разоблачило махинации. Вредители проиграли войну. Они — в плену! Контрреволюция движется, движется! Мы у власти! Гопля! Уже тянулась к власти интеллигентская жидица, кондратьевско-громанская сопля! Просчитались, однако же, стервы! Подвели их мясные консервы!»

К стенке! Требуем возмездия агентам международной буржуазии!

Коллегия ОГПУ, рассмотрев по поручению ЦИК Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Совнаркома СССР дело о контрреволюционной организации в области снабжения, постановила:

Рязанцева, Каратыгина, Карпенко, Эстрина, Дардыка, Левандовского, Войлощикова, Купчина, Нигзбурга, Быковского, Соколова... (всего 48 человек) как активных участников вредительской организации и непримиримых врагов советской власти — РАССТРЕЛЯТЬ.

Приговор приведен в исполнение.

Председатель ОГПУ Менжинский.

«Борьба за качество продукции — борьба за социализм!» Из выступления тов. Куйбышева на конференции по качеству продукции.

Редактору газеты «Правда». Уважаемый товарищ редактор! Прошу поместить мое заявление.

В № 9 дискуссионного листка «Правды» была помещена моя статья «К XVI съезду партии». Сейчас я прихожу к выводу, что был глубоко не прав, а правы товарищи, выступившие против меня. Мои взгляды по вопросам коллективизации соответствовали не линии партии, а линии правого оппортунизма. Признаю свое выступление вредным и ошибочным и полностью разделяю взгляды партии по вопросам коллективизации. На деле постараюсь исправить допущенные мной ошибки.

С коммунистическим приветом

Мамаев.

Антракт VI. Шум дуба

Среди многочисленных деревьев Нескучного сада, что над Москвой-рекой, чуть на отшибе, на склоне пологого холма стоял восьмидесятилетний дуб. Верхние его ветви шумели: «Буташевич, Буташевич!», средние и нижние подпевали: «Петрашевский!», клесты в ветвях свистали: «Дост! Дост!»

В отличие от других деревьев парка, это зародилось в основательном отдалении, в сотнях верст к северу, во влажном устье короткой, но полноводной реки. После разгона кружка зародившийся дуб, почти бестелесный, еще долгое время лежал у протоки, в которой отражались дворцы, и мосты, и шпили, и облака, и сам, почти еще не существующий, совершенно невидимый будущий дуб, воплотивший идею разогнанного либерального кружка. Как-то раз, однако, ра-

зыгрался шторм, прополыхала гроза, мощными турбуленциями зародившийся дуб, или даже идея дуба, поднят был в несущийся к югу поток воздуха, летел среди других идей, частиц, спор и вытянутых из болот мелких лягушек, пока не упал на склон пологого холма в Нескучном саду старой столицы.

Случилось это теплой и влажной ночью, в небе боролись южное и северное начала, вдруг все озарялось, высвечивались колонны круглой беседки, в которой дерзкая парочка предавалась любви, стволы, рябь пруда и кочковатость реки. Зародившийся дуб, или просто идея дуба, цеплялся за родное, кем-то родным недавно взрыхленное, пахучее, черное под ливнем, и рыхлое, и липкое вещество и патетически боялся: неужели не привьюсь? Привился.

Привился, и вот восемьдесят лет спустя, в тысяча девятьсот тридцатом, он стоит, хорохорится под ветром, занят, как все окружающие, обычным древесным делом, в основном фотосинтезом, от него уже, согласно недавним изысканиям, все остальное, но в ветвях или меж ветвей все еще живет память о кружке, вернее, расплывчатые идеи кружка, гулкое сбрасывание кожаных галош в передней, обмен литературой, взглядами, «письмо Белинского Гоголю», Федор, душа моя, прочтите вслух, головоломки допросов, барабанный бой фальшивого расстрела.

Однажды под вечер в беседке оказалась парочка, мужчина лет под сорок и юная дева. Как и его белый противник, красный командарм Блюхер был влюблен в адъютантшу штаба. Головка ее лежала на его широком кожаном плече, трогательный носик рядом с маршальской звездой, а он смотрел на ветви дуба и думал: надо что-то делать, может быть, именно сейчас, может быть, скоро будет уже поздно, пойти на риск, войти в историю спасителем революции... Неплохо думает, размышлял дуб, посылая ободряющие волны. Думай дальше. Технически все сделать несложно, продолжал свою думу Василий. Приехать в следующий раз из Хабаровска с укомплектованной группой охраны, войти в Кремль, арестовать мерзавцев, а особенно главного, рыжего таракана, выступить по радио, попросить всех оставаться на своих местах, отменить коллективизацию, вернуть нэп, предотвратить надвигающийся голод.

Предательская сырость шла со стороны реки. Страх плотным свалявшимся облаком медленно двигался от центра города, будто выхлоп тепловой электростанции. Дуб ста-

рался отгонять внимание командарма от этих угнетающих подробностей, пел свое: «Буташе-е-вич, Петра-а-шевский», свистал клестами: «Дост! Дост!..» Струйки уныния, однако, проникали под кожаную сбрую, тревожили и звезду, и трогательный носик. Шансов на успех такого дела мало, все-таки ничтожно мало. Идти на операцию без союзников в центре немыслимо, искать сейчас союзников значит провал: ищейки Менжинского повсюду. То, что убьют, не важно, важно, что в историю войдешь не спасителем, а предателем революции.

По пустынной аллее Нескучного сада к беседке под дубом приближался еще один спаситель революции, палач Кронштадта и Тамбова командарм Михаил Тухачевский. На его плечо склонила головку еще одна юная дева Вооруженных Сил, парикмахерша наркомата. Такое тогда было поветрие: железные человеки режима искали романтических утех.

Дуб взбудоражился всем своим существом. Сближайтесь, мальчики, увещевал он, Вася и Миша, станьте друзьями, ведь вы же думаете одну и ту же думу.

Между тем, заметив друг друга, командармы спешили со своих будущих конных памятников, сердца их трепетали в испуге. Тухачевский резко развернул свою даму, мелькнул и растворился в еловых сумерках. Одновременно Блюхер, подхватив своего трогательного носика, сбежал по ступеням беседки, сапоги его крепко застучали по асфальтированной тропке и пропали. Помимо всего прочего, оба командарма не были уверены в том, что их девушки не работают на Менжинского.

«Слабодушные», — краешком кроны прошелестел дуб и отвлекся всей душой к разворачивающемуся над Москвией закату.



ГЛАВА XIV

Особняк графа Олсуфьева



Днем Москва выглядела как обычно: кишаший муравейник, пересекаемый линиями трамвая. Любое средство транспорта — трамвай ли, автобус, недавно ли появившийся троллейбус — облеплялось муравьями, как кусок сахара. Извозчики почти исчезли, их заменили автомобили такси, но по малочисленности они относились, пожалуй, больше к разряду городских легенд, чем к транспорту. В 1935 году с великой помпой была пущена первая очередь метрополитена с мраморными станциями, мозаичными потолками, движущимися лестницами. Два года уже прошло, а пропагандистский концерт с фонтанами по поводу этого сооружения не затихал ни на день. Практически в этой линии, идущей от парка Сокольники до Парка культуры на Москве-реке, смысла было меньше, чем в проекте, разработанном до Первой мировой войны и предлагавшем вести тоннель от Замоскворечья до Тверской заставы, то есть соединить две половины города. Пропагандный смысл Московского метрополитена, однако, перекрывал все практические соображения. Лучшее в мире! Подземные дворцы! Подвиги комсомольцев-метростроителей! Сердца трудящихся переполняются гордостью! Забота партии и правительства и лично товарища Сталина!

Вместо нэповских реклам по всему городу, иной раз в самых неожиданных местах, предстала «наглядная агитация и пропаганда»: лозунги, портреты Сталина и некоторых других, оставшихся после расстрелов вождей, скульптуры, диаграммы. Озираясь и уже не очень-то замечая эти наглядности, а только лишь подспудно осознавая, что они здесь и всегда пребудут здесь, всегда вокруг него, москвич получал главный посыл, идущий из-за зубчатых стен: сиди не рыпайся!

В остальном все шло как бы обычно: бежали организованные потоки на работу и с работы, томились в очередях, по воскресеньям отправлялись на футбол «Спартак» — «Динамо» или в кино на жизнерадостные комедии Григория Александрова «Цирк» и «Веселые ребята». Шли показательные процессы над вчерашними вождями — Рыковым, Бухариным, Зиновьевым, Каменевым, однако процессы эти никак не отражались на дневном рисунке московской жизни, может, только чуть больше, чем обычно, мужчин толкалось у газетных стендов. Молча читались речи прокурора Вышинского, лишь изредка кто-нибудь бросал: «Вот это оратор» — и кто-нибудь тут же по-светски подхватывал: «Блестящий оратор!»; и сразу после обмена мнениями разбегались к транспортным средствам. Другое дело — встречать полярников, геросв-летчиков, зимовщиков! Тут уж — тысячами на улицы! Улыбки, возгласы, оркестры. Ну, а в основном Москва крутила свои дни, как обычно.

Только по ночам ужас расползлся по улицам; из-за железных ворот на Лубянке разъезжались по заданиям десятки «черных воронок». При виде этих фургонов москвич немедленно отводил взгляд, как любой человек отгоняет мысль о неизбежной смерти. Дай Бог, не за мной, не к нашим, ну вот, слава Богу, проехали! Там, где надо, куда ордера выписаны, «воронки» останавливались, чекисты неторопливо входили в дома. Стук сапог на лестнице или шум поднимающегося лифта стали привычным фоном ночного московского ужаса. Люди прикипали к дверям своих коммуналок, дро-

жали в комнатах. Неужели на наш этаж? Нет, выше прошли. Ну, конечно, за Коллебанским; можно было ожидать; я так и знала; неужели вы тоже; да-да, знаете, они не ошибаются... Иногда в доме арестованного начинались рыдания, приглушенные, конечно, сдавленные, проявлялась неуместная в советском обществе, но еще живучая истерика, она прерывалась окриками «рыцарей революции»: Москва слезам не верит! Тогда рыдания заглушались совсем, со стыдом, с прищептыванием: простите, нервы. Чаще, однако, все проходило нормально, с хорошими показателями по дисциплине. Давай, давай, там разберутся!

Процветала литература социалистического реализма. Формализм был уже полностью искоренен. Состоя в едином союзе, советские поэты, драматурги и романисты бодро создавали нужные народу произведения.

Общественной жизни тоже не чурались. Вот, например, вчера в «Правде» и в других центральных газетах появились первые письма трудящихся с требованиями расстрела обвиняемых на процессе «врагов народа», а сегодня уже и писатели собрались в своем красивом особняке на улице Воровского, бывшей Поварской; составляется обращение к гуманному советскому правительству. Бывают времена, когда надо сдерживать свою гуманность, дорогой товарищ правительство, врагов надо карать без пощады!

Собрание проходило в большом зале ресторана, откуда убраны были столы и куда внесены дополнительные стулья и трибуна. «Где стол был яств, там гроб стоит» — так, разумеется, подумали многие, но промолчали. Расстрел, расстрел! Боевое партийное слово гремело под высоким потолком, кружило вокруг величественной люстры, размазывалось по витражам высоких стрельчатых окон, веско поскрипывало паркетом, по которому двадцать лет назад только олсуфьевские отпрыски порхали с гувернантками. Поэт Витя Гусев, тот решил поэзии прибавить к общему настрою-

нию непримиримости. Влетел на трибуну, резким движением головы отбросил назад шевелюру.

— Я поэт, товарищи! Свои чувства выражаю стихами!

Графский дворец наполнился пролетарским каленым стихом:

Гнев страны в одном рокошет слове!
Я произношу его: расстрел!
Расстрелять предателей отчизны,
Порешивших СССР сгубить!
Расстрелять во имя нашей жизни
И во имя счастья — истребить!

Молодец Гусев, сорвал аплодисменты собрания. Представители отдела культуры ЦК ВКП(б) улыбались отечески: недюжинного таланта поэт, простой рабочий паренек; ничего, товарищи, обойдемся без декадентов!

Нина Градова сидела на антресолях за витой деревянной колонной. Глаза ее были закрыты. Тоска и позор без труда читались на лице. Сосед, когда-то ухаживавший за ней критик, раскаявшаяся звезда формальной школы, отвлекаясь взглядом к потолку и не переставая «бурно аплодировать», шептал:

— Перестаньте, Нина! За вами наблюдают. Хлопайте, хлопайте же!

Она открыла глаза и действительно сразу заметила несколько обращенных на нее взглядов. Братья писатели, кроличьи души, явно читали вызов в ее окаменевшем лице и неподвижных руках. Большинство этих кроличьих взглядов немедленно по соприкосновении отвлекалось, два или три на мгновение задержались, как бы призывая опомниться, потом с двух противоположных сторон прорезались два пронизывающих, внимательных, наблюдающих взгляда. Эти явно фиксировали градации энтузиазма. Опустив голову и покраснев, будто юная графиня Маша Олсуфьева на первом балу, Нина присоединилась к аплодисментам.

Из президиума донеслось:

— Проект резолюции: просить Советское правительство применить высшую меру наказания к банде троцкистских наймитов, расстрелять их как бешеных собак; приступаем к голосованию: кто за эту резолюцию, товарищи? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно!

Снова буря аплодисментов, какие-то выкрики, и снова Нина — со всеми. хлопает, хлопает, и вдруг ей с ужасом кажется, что хлопает она даже как-то бодрее, увереннее, как бы даже в унисон. Писатели вместе со всем народом, с горняками, металлургами, доярками, свиарками, швеями, трактористами, воинами-пограничниками, железнодорожниками, хлопководами, а также врачами, учителями, артистами, художниками, вулканологами, палеонтологами, а также с чабанами, рыбаками, орнитологами, часовщиками, весовщиками, лексикографами, гранильщиками, фармацевтами, моряками и летчиками требовали от правительства немедленной казни группы двурушников.

Расходились весело, ободренные общим чувством, порывом к правительству, забыв на время групповые неурядицы, личную вражду, соперничество. Многие задерживались у буфета, просили «добрую стопку коньяку», съедали отличный бутерброд с севрюгой, окликались друг друга, спрашивали, как идет у коллеги роман или пьеса, когда собираетесь к морю и т. д.

Критик, бывший формалист, оживленно рассказывал Нине о какой-то дурацкой рецензии, появившейся в «Литературке», он как бы призывал ее немедленно забыть только что происшедшее, формальное, ничего от души не требующее, просто чисто внешнее, ну, просто необходимое, как зонтик в дурную погоду, ни к чему нравственно не обязывающее, смехотворную чепуху. Они медленно шли по улице Воровского к Арбатской площади мимо иностранных посольств. Из афганского посольства на них посмотрел мраморнолицый афганец, из шведского — неопределенный швед, за окном норвежского промелькнула с недоуменным взором нежно-молочная фрекен.

— Ну что же, похлопали, Казимир? — прервала вдруг Нина своего элегантного спутника. — Похлопали на славу, не правда ли? Ручками хлоп-хлоп-хлоп, ножками топ-топ-топ, а? Русские писатели требуют казни, прекрасно!

Критик прошел несколько шагов молча, потом в отчаянии махнул рукой и повернул в обратную сторону.

Нина пересекла Арбатскую площадь и Гоголевским бульваром пошла к станции метро «Дворец Советов», то есть к тому месту, где за грязным забором еще видны были руины взорванного храма Христа Спасителя. Мирная, как бы нетронутая еще сталинской порчей жизнь бульвара, теплый вечер позднего лета не только не успокоили ее, но ввергли в еще большее, гнуснейшее смятение. Диким взглядом она встречала заинтересованные взгляды встречаемых мужчин. Да и есть ли мужчины в этом городе? А женщины-то чем лучше? Остались ли тут еще бабы? Кто мы все такие? Большой черт тут водит свой хоровод, а мы за ним бредем, как мелкие черти.

Савва уже ждал ее у метро, всем своим видом опровергая мрак и пессимизм. Высокий, светлоглазый, в сером костюме с темно-синим галстуком, прислонившись плечом к фонарному столбу, он спокойно читал маленькую дивную книгу в мягком кожаном переплете с тусклым от времени золотым обрезаем. Увлекается, видите ли, букинистикой, в свободное время выискивает редкие книги, читает иностранные романы, философию, совершенствует свой французский. Да его за один этот вид могут сейчас немедленно арестовать! Нина бросилась к мужу, ткнула носом в серый коверкот, обхватила руками его плечи.

— Савва, Савка, вообрази, все голосовали за расстрел, требовали расстрела, позорный Витька Гусев — в стихах, все аплодировали, и я, и я, Савва, аплодировала, значит, и я требовала расстрела! Не встала, не ушла, хлопала вместе со всеми, как мерзкая заводная кукла!

Он поцеловал ее, вынул платок, приложил к носу, ко лбу, остерегся промокать глаза: подкраска могла размазаться.

— Было бы самоубийством — выйти, — пробормотал он. Что мог он еще сказать?

— Русские писатели! — продолжала она. — Не за милосердие голосуют, не помилования, расстрела требуют!

Они пошли по бульвару в обратную сторону. По дороге домой — теперь они жили в Саввиной квартире в Большом Гнездиновском возле улицы Горького — надо было зайти в ясли за Леночкой.

— У нас тоже сегодня было такое собрание, — проговорил он. — Они повсюду сейчас идут. Повсюду, понимаешь, без малейшего исключения.

— И ты тоже голосовал за расстрел? — ужаснулась она.

Он виновато пожал плечами:

— У меня, к счастью, в этот момент была операция...

Они просхали пару остановок на трамвас «Аннушка» и сошли возле своего переулка. Ясли были на другой стороне бульвара. Савва показал Нине на подъезд их дома:

— Видишь, Рогальский вышел, выполз на свет Божий. Третьего дня его исключили из партии и единогласно — понимаешь? — единогласно изгнали из Академии, лишили всех званий. Видишь, соседи от него шарахаются?! Смотри, Анна Степановна на ту сторону перебежала, чтобы с ним не здороваться!

Вчерашний академик исторических наук, всегда неизменно бодрый и подчеркнуто отстраненный от текущего быта своих мелких сограждан, сейчас двигался к углу, как глубокий инвалид. Заклейменность придавила его к земле, само присутствие его на улице казалось неуместным. Впервые за все время в руке его они видели авоську с двумя пустыми молочными бутылками.

— Здравствуйте, Яков Миронович, — сказал Савва.

— Добрый вечер, Яков Миронович, — намеренно громко сказала Нина и устыдилась этой намеренности: мелко, глупо, будто бросаю вызов, здороваясь с человеком, будто компенсирую свою трусость, мерзость.

— Здравствуйте, — безучастно ответил Рогальский и прошел мимо. Он даже и не взглянул, откуда пришло приветствие. Савва проводил его взглядом.

— Он уже не с нами. Жизнь кончилась, ждет ареста. Говорят, что уже упаковал узелок и ждет.

Нина в отчаянии уронила руки.

— Ну, почему же он просто ждет, Савва? Почему даже не старается убежать? Ведь это же инстинкт — убежать от опасности! Почему он не уезжает, уехал бы на юг, в конце концов, хоть бы наслаждался югом напоследок! Почему они все, как парализованные, после этих исключений, проработок?

— Прости, Нинка, милая, но почему ты сегодня аплодировала гнусному Гусеву? — спросил Савва и обнял ее за плечи.

— Я просто от страха, — прошептала она.

— Нет, не только от страха, — возразил он. — Тут еще что-то есть, важнее страха...

— Массовый гипноз, ты хочешь сказать? — пробормотала она.

— Вот именно, — кивнул он. — И вы все создали этот гипноз!

— А ты? — бросила она на него быстрый взгляд. Почувствовала, как у него напряглись мускулы на руке. Голос стал жестче.

— Я никогда не участвовал в этом грязном маскараде.

— Что ты имеешь в виду? — Лицо ее приблизилось вплотную к его лицу. Издали они были похожи на шепчущих телячьей нежности влюбленных. — Ты имеешь в виду все в целом? Революцию, да?

— Да, — сказал он.

— Молчи! — быстро прошептала она и закрыла мужу рот ладонью. Он поцеловал ее ладонь.

ГЛАВА XV

Несокрушимая и легендарная



В те годы возник жанр могучего советского пения. Певцы и хоры научились как бы едва ли не разрываться от величия и энтузиазма. Массовая радиофикация несла эти голоса на черных тарелках радиоточек глубоко в недра страны.

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной родины своей.
Всюду жизнь привольно и широко,
Словно Волга полная, течет.
Молодым везде у нас дорога!
Старикам везде у нас почет!
Кипучая, могучая,
Никем не победимая,
Страна моя,
Москва моя,
Ты самая любимая!

Так шло через все одиннадцать часовых зон, так и на Дальнем Востоке гремело, так и возле железнодорожного шлагбаума несло из репродуктора на столбе возле небольшой станции в Приамурье.

Была непогода, бесконечно струился неторопливый дождь, в лужах плавали пузыри, не предвещая на ближайшее время ничего хорошего... «Все сегодня наденут пальто, И заденут за поросли капель, И из них не заметит ни-

кто, Что опять я ненастьями запил», — бормотал Никита стихи своего любимого полузапрещенного поэта... И только за огромной рекой, то есть уже в китайских даях, чуть-чуть намечались в облачной массе какие-то слабые намеки на то, что лето еще возьмет свое.

Легковая «эмка» комкора Градова остановилась прямо перед закрытым семафором. Моргал красный фонарь. Через пересечение проселочной дороги по одной из веток железнодорожной магистрали медленно, как сегодняшний дождь, проходил бесконечный товарный состав. Никита, не отрываясь, смотрел на мрачную, клацающую на стыках рельсов процессию. Как и все вокруг, он знал, какого рода груз перевозится в этих составах: человеческий груз, заключенных везут к Владивостоку и Ванинскому порту для отправки на Колыму. И для водителя комкора, сержанта Васькова, это тоже, очевидно, не было секретом. Он все вздыхал и вздыхал, глядя на поезд, явно хотел поговорить.

— Ну, в чем дело, Васьков? Чего развздыхался? — мрачно спросил Никита.

— Да как-то мне раньше в голову не приходило, товарищ комкор, что у нас в стране столько врагов народа попряталось, — пробормотал шофер, не глядя на начальника. Простоватое лицо его отражало недюжинную народную хитрость.

— Оставь эту тему, Васьков, — сказал Никита. — Просто держи язык за зубами. Понятно?

Сержант шмыгнул носом, проглотил свое «есть, товарищ комкор». В бесконечных разъездах по военному округу он привык к несколько запанибратским отношениям с заместителем командующего по оперативным вопросам, а сейчас вот его вдруг так резко оборвали, хотя, казалось бы, как не поговорить перед закрытым семафором.

По всему составу простучали буфера, и поезд полностью остановился. Какие-то люди пробежали в голову состава, кое-где чуть откатывались двери вагонов,

высовывалась вохра, слышались вдалеке какие-то крики; что-то происходило.

Между тем за градовской «эмкой» накопилось уже изрядно колхозных подвод и военных машин, возвращающихся из зоны танковых учений.

— Вон, сам едет, — мрачно сказал Васьков и показал пальцем в боковое обратное зеркальце. Никита оглянулся и увидел известный всему округу броневик главкома Блюхера в камуфляжной раскраске.

Никита вышел из «эмки». Маршал уже приближался своим обычным, более чем уверенным в себе, как бы атакующим шагом. Они обменялись рукопожатием.

— Что тут происходит, Никита Борисович?

— Да вот спецсостав проходит, Василий Константинович.

Блюхер мрачно ухмыльнулся:

— Спецсостав...

Отмахнув полу кожаного пальто, полез за портсигаром, предложил папиросу Градову. За все эти годы обмен папиросами был единственным знаком неформальности между ними. Они не перешли на «ты», обращались друг к другу по имени-отчеству, сохраняли именно ту дистанцию, что и предполагалась между ними по всем правилам как писаного, так и неписаного кода армейских нравов. В последние месяцы появилось еще большее отчуждение. Ни с кем, даже с Вероникой, Никита не делился своим раздражением в адрес Блюхера, даже и самому себе он не очень-то признавался, что не доверяет больше своему главкому. В мае энкавэдисты нагло, на глазах у всего штаба, увели одного из самых уважаемых командиров Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, начальника авиации комкора Альберта Лапина. Блюхер и пальцем не шевельнул для его спасения. Аресты шли по всем звеньям, затем разразилось потрясшее всю РККА дело о «военно-фашистском заговоре», мгновенно и бесповоротно заляпаны были грязью несколько икон революции — Тухачевский, Уборевич, Якир, Гамарник, Эйдемман... Еще

большим потрясением стало то, что в составе суда, отправившего на смерть этих людей, оказались Блюхер, Дыбенко, Белов, Каширин... Это же все равно, как если бы я судил Кирилла и Нинку, думал Никита. Тело его в эти минуты наливалось свинцом, перед глазами вставала заляпанная кровью стена кронштадтского форта...

В спецсоставе происходило что-то необычное. Блюхер и Градов стояли в каких-нибудь двадцати метрах от одного из остановившихся вагонов. Слышны были звуки какой-то тяжелой возни, глухая перебивка множества голосов. Вдруг леденящий вопль вырвался из этой каши:

— Товарищи! Красные командиры! Не верьте фальшивым обвинениям! Мы не враги! Мы — коммунисты! Мы верны делу Ленина — Сталина!

После этого выкрика зазвучал непостижимый мычащий хор мужских голосов. Вскоре все собравшиеся у переезда военные и крестьяне смогли и в этом диком исполнении различить гимн ВКП(б), французскую песню «Интернационал». Отодвинулась одна из досок в верхней части стенки вагона, чья-то рука швырнула в сторону шлагбаума пачку свернутых в треугольники писем.

— Отправьте письма, Бога ради, — прорезался через «Интернационал» еще один голос.

Мольба и рев атеистического гимна. Часть треугольников упала прямо на полотно дороги, другая отнесена была воздушной струей к перелеску, один спланировал прямо к хромовым сапогам комкора Градова. Никита поднял его и сунул в карман. Блюхер бросил на него хмурый взгляд и сделал вид, что не заметил. Разумеется, он понимал, как относятся теперь к нему в его собственном штабе. Каждый командир, конечно, думает: что же, следующим меня отправите, товарищ маршал? Если бы они знали...

Несколько вохровцев с пистолетами в руках подбежали к взбунтовавшемуся вагону, откатали дверь, подсаживая друг друга полезли внутрь, в темноту, где белели лица поющих.

— Молчать, еби вашу мать! Мы вас научим петь, бляди!

Одновременно к переезду по параллельному пути подкатила дрезина, из нее выскочило какое-то железнодорожное начальство. Двое перепуганных до смерти подбежали к Блюхеру явно с желанием объяснить, что произошло на путях. Маршал не стал их слушать. Не вынимая рук из карманов своего кожаного пальто, он пролаял:

— Немедленно очистить переезд! Разобрать состав, если нужно! Даю десять минут и ни секунды больше!

Резко повернувшись, он пошел обратно к своему броневику. Никита стоял молча, опустив глаза. Поющий вагон затих. Снова, в который уже раз, в памяти возникли кронштадтский лед и стена форта, перед которой стоят три парламентаря Красной Армии. Один из них кричит в мегафон: «Матросы, мы принесли ультиматум главкома Троцкого! Если хотите сохранить свои жизни, сдавайтесь!» Военморы на стенке форта взрываются хохотом. Среди них и он сам, Никита-лазутчик. Как раз отсюда он и отправился на Якорную площадь.

Комкор тряхнул головой, чтобы отогнать тягостные воспоминания, и снова это удалось, если не считать мимолетного мига, когда опять промелькнул тот же форт, ставший сценой расстрела братвы. И он, юный Никита, в рядах победителей...

Жизнь в Хабаровске оказалась не так уж дурна для комкорши Вероники. Просторная их квартира помещалась в одном из домов конструктивистского стиля на главной улице. Три комнаты, большая кухня, ванная с газовой колонкой. Удалось собрать вполне милую мебель. Никита, правда, говорит, что квартира выглядит несуразно, но что он понимает. В городе есть музыкальный театр и, между прочим, даже теннисный кружок при ДКА. Есть неплохие партнеры, военврач Берг, например, старший лейтенант Вересаев из штаба авиации с этими его, ну, сумасшедшими, право, глазами. Забавно наблюдать соперничество этих двух, ну, с другими. Нужно поддер-

живать гостеприимный дом. Никита часто уезжает, но часто и врывается с толпой командиров, всех надо кормить, со всеми шутить. Держать себя в идеальной спортивной форме. Выходы на премьеры. Вот недавно был концерт джаз-оркестра Леонида Утесова. Немножко напминало одесский балаган, перемешанный с пропагандой, но вместе с тем было несколько оригинальных блюзов. В свои тридцать три года Вероника выглядела, фу, черт, ну просто сногшибательно! Жалко только, что годы так быстро идут, ну просто мелькают.

Они нередко ездили во Владивосток, или, как в народе его называли, во Владик. Здесь, на берегу Золотого Рога, под будоражащими взглядами моряков, Веронике охватывало особое состояние, похожее на возвращение ранней юности. Вспоминался Александр Блок:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Она смотрела на корабли в бухте и предавалась фантазиям. Ну вот, вообразим, что советские Вооруженные Силы разбиты навсегда и окончательно. Бедный Никитушка в плену, но он, конечно, впоследствии вернется живой и невредимый. Пока что мы стоим на холме и смотрим на горизонт, ждем. Опять же, как у Блока, ждем кораблей. Дымки уже появились, идет эскадра победителей. Кто они? Японцы? Нет, это уж чересчур — с японцем? Впрочем, говорят, что они все исключительные чистюли. Нет-нет, это будут американцы, эти белозубые ковбой, вот кто это будет, и среди них какой-нибудь Роналд, рыцарски настроенный калифорниец; мягкие звуки блюза; воспоминание на всю жизнь... Ах, вздор!

Времени на чтение было немного, но она все-таки читала, в основном «Интернационалку», современная советская литература становилась невыносимой,

сплошной социальный заказ. В Москве за эти годы были три раза, и каждый приезд превращался в сущий круговорот. Какая-нибудь великолепная машина наркомата, вылеты из этой машины, влеты в нее с покупками, все вокруг поражены полыхающим синеглазием, как сказал бы поэт. Иногда думаешь, что в Москву лучше наезжать, чем жить в ее рутине. Ну вот, собственно говоря, и все. Ах да, за это время еще родилась и дочка. Стало быть, имеется девятилетний сын и трехлетняя дочка, и на этом мы остановимся, хватит, задача продолжения рода вполне выполнена.

В один из вечеров вдруг произошло невероятное. Явился с визитом старый друг комполка Вадим Вуйнович, и это после двенадцати лет отсутствия, если не считать «случайных» встреч на вокзале и теннисном корте. Просто как с неба свалился! Из своего почти киплинговского Туркестана приехал на Дальний Восток! Неужели специально, чтобы?..

Она подала чай в гостиную — чайный сервиз был приобретен в московской комиссионке, знаток сразу бы узнал изделие кузнецовского дома, но Вадим явно не был знатоком чайных сервизов, не обратил внимания, кажется, и не видел проглатываемого напитка, — и теперь она сидела напротив командира, сдержанно улыбаясь глазами и улыбаясь с милой насмешкой.

— Не верю своим глазам! Вадим, это действительно вы? Посмотрите на него — эти седеющие виски, эти английские усики... знаете что? Вы стали даже более привлекательным, во всяком случае, более стильным с годами. Ну, расскажите мне о своей жизни, милый Евгений Онегин. Женаты?

Всегда при встречах с ним ей казалось, что вот еще миг — и закружится эротическая буря, но миг этот тянулся уже двенадцать лет.

Он говорил со спокойной грустью, хотя совершенно ясно было, что и он... да что там, конечно же, прежде всего он, это от него идет, он, очевидно, о ней не забывает ни на секунду...

— Да, женат. Мне тридцать семь, и я все еще комполка. Мы живем в Боге забытой дыре возле афганской границы. Моя жена — дикое животное. У нас трое детей. Я их люблю. Вот, собственно, и все...

Снова улыбнулся. Счастье смотреть на нее, очевидно, овладевало им. Она и это понимала. Какое-то странное чувство посетило ее, показалось вдруг, что она потеряла бы свою красоту без этого, за тысячи верст, обожателя.

— Я вижу, вы все еще романтик! Признайтесь, Вадим!

Электрическое поле между ними раскалилось слишком сильно, и надо было выждать хоть минуту, дать разлететься хоть части пухлых электрончиков с их стрелами. После неловкой паузы он сказал:

— Разве я когда-нибудь был романтиком? Впрочем... Знаете, Вероника, вы, конечно, не помните, но я не забываю один мимолетный миг двенадцать лет назад... Именно не более секунды... Конечно, вам никак не вспомнить, но... это был свет и жар, звук и дыхание... вся суть нашей молодости... и это вы дали мне, и это все еще живо...

Ошеломленная таким признанием, потоком смутных эмоций, она смотрела на него. Ей вдруг показалось, что и она сможет вспомнить то, о чем он сейчас говорил, еще одна секунда, еще одна, но все пролетало, а в следующий момент послышался стук в дверях, явился благоверный, комкор Градов. Вадя! Ника! Ну, вот и встретились! Какими судьбами? Мощнейшие удары по спине, по плечам, шутливый бокс, как будто и не было несколько затянувшейся размолвки. Пойдем, пойдем, за столом все расскажешь! Как хорошо, что завтра выходной!

Засиделись сильно за полночь и, конечно, на кухне, как и водится при встречах друзей. Вероникина сервировка давно уже вся смешалась. Глава дома даже порывался ковырять шпроты прямо в баночке. Три бутыл-

ки «Московской» уже были деятельно опустошены, а четвертая только что открыта «на посошок». Разговоры с милого прошлого все время поворачивали на современную военно-политическую ситуацию. Веронике в конце концов стало невмоготу.

— Ну вас к чертям, мальчики! Ваши «серьезные вопросы» пережевывайте без меня! Спать! Спать!

Она встала и, очаровательно качнувшись, покинула кухню. Вадим проводил ее глазами, выхватил очередную папиросу, смял ее, отбросил, встряхнулся, как бы приказывая себе отрезветь, положил руку на плечо друга, рядом с расстегнутым воротником, с его генеральскими ромбами. Странная субординация существовала между этими людьми. Никита всегда видел в ровеснике Вадиме старшего, сейчас, несмотря на то что они были в столь разных чинах, это чувство еще усилилось.

— Никита, давай откровенно, — предложил Вадим. — Ты, конечно, знаешь причины, из-за которых я бросил у вас бывать двенадцать лет назад?..

— Я знаю одну причину, — сказал Никита.

— Ты знаешь и вторую! — нажал на его плечо Вадим.

Никита усмехнулся:

— Я только не знаю, какая из них первая, какая вторая.

Вадим откинулся. Стул заскрипел под сильным телом.

— Ну, хорошо, это не важно. Важно то, что у меня теперь есть две причины для возврата.

Никита пересел от стола на подоконник. За окном во мраке горела только электрическая звезда на крыше Дома Красной Армии.

— Назови мне одну из твоих двух причин, — сказал он, поколебался, собрался с духом и добавил: — Вторую я знаю.

Последовала напряженная пауза. Неужели он все-таки сейчас начнет выкладываться, с досадой подумал

Никита, изливать свою лирику, откровенничать перед мужем своего идеала? По пьянке чего только не наговорит офицер провинциального гарнизона! Он глянул на Вадима и сразу увидел, что ошибается, что любого рода снисходительность неуместна по отношению к Вуйновичу. По выражению лица он понял, что тот опять выходит на передовую позицию.

— Я приехал к тебе, Никита, чтобы узнать, что ты думаешь по поводу нынешних событий в стране, в Вооруженных Силах.

— Ты имеешь в виду?.. — начал было Никита, хотя переспрашивать не было никакой нужды. О чем еще могли в то время говорить два друга при том условии, что все барьеры будут отброшены и все недомолвки промолвлены? Именно о том, о чем в то время никто не говорил, ни друзья, ни супруги: о чуме.

— Ты знаешь масштабы арестов?

— Догадываюсь. Сатанинские.

— А как ты понимаешь эти потрясающие признания командиров, признания в фашистском заговоре?

— Ответ может быть только один.

— Пытки? Однако ведь не с мальчиками они имеют дело, с героями. Вообрази себе их, себя самого во врангелевской контрразведке...

— Там было бы легче.

— Может быть, ты прав. От своих больнее, от своих просто, очевидно, совсем невыносимо...

— Может быть, и так, а может быть, просто больнее, очень просто, жесточее, кошмарнее...

— Но зачем, зачем? Что ему надо еще? Он уже и так бог, непогрешимый идол. Может быть, все-таки боится армии? Фашистский заговор? Вздор! Все это на пользу Гитлеру. Армия обезглавливается перед неминуемой войной! Тухачевский...

— Тише, ты!

— В чем дело? У тебя достаточно толстые стены, комкор. Тухачевский еще два года назад предсказывал неминуемое столкновение с Германией, а в Генштабе

сейчас осторожненько поговаривают о возможном союзе с державами Оси против Антанты. Безумцы!

Рассвет застал их на балконе. Раскуривалась шестая коробка «Казбека». Никита с тупой досадой думал, что срываются его утреннее милование с Вероникой, полчасовая гантельная гимнастика, холодный душ, растирание махровым полотенцем, здоровый «мечниковский» завтрак. У Вадима подрагивали губы, временами от плеча к пятке проходило подобие легкой судороги, разговор взвинтил его до последней пружины.

— Послушай, Никита, говорят, что Блюхер был не только формальным членом суда, но и давал на Тухачевского самые злостные показания. Верно это?

— Другие маршалы убедили его помочь следствию, — промямлил Никита.

Вадим зло усмехнулся:

— Ну что ж, теперь его очередь переезжать на Лубянку! Наверное, уже и камеру присмотрели для героя.

Никита ничего не сказал в ответ. Весь разговор уже казался ему затянувшимся кошмаром. Вот она, расплата за юношеские восторги. «Нас водила молодость в сабельный поход...»

— А между прочим, он может это предотвратить, — тихо сказал Вадим, глядя на проступающие сквозь туман очертания деревьев. За парком еще не виден был, но уже угадывался Амур.

— Каким образом? — инстинктивно снижая голос, спросил Никита. Вдруг мелькнула мысль, что Вадим опять дирижирует их разговором.

— Ты должен знать, каким образом, — сквозь зубы процедил комполка. — Военному человеку полагается знать, как предотвращать вражеские действия.

Тут уже по-настоящему крутануло. Никита схватился за перила балкона. Внизу выкарабкался из подвала дворник Харитон. Протащил метлу.

— Ну, знаешь, Вадим... — пробормотал Никита. — Как ты можешь даже думать об этом? Поставить под угрозу революцию?..

— Какую там еще революцию! — широко раскрыв рот и почти беззвучно завопил Вадим. — Давно уже нет никакой революции! Ты что, не понимаешь?!

Он замолчал и теперь смотрел на Никиту в ожидании. Комкор же, будто мальчик, поглядывал исподлобья на полковника. Он не мог ничего сказать. Конечно, он понимал, что давно уж нет никакой революции, но он лишь только понимал это, но никогда не произносил, ни мысленно, ни вслух, и никто вокруг не произносил это, и вот впервые это было наконец произнесено его босвым товарищем. Ошеломленный этим произнесенным откровением и следующим за ним призывом к действию, он молчал. Поняв, что не дожидается ответа, Вадим с силой ударил кулаком по перилам:

— Все разваливается и идет к черту, в жопу, на хуй! Мы все обречены! Ну что ж, пусть так и будет! Хочешь, я скажу тебе теперь вторую причину, по которой я здесь появился, старина?

Никита пожал плечами:

— Вадя, не злись, я ведь тебе уже сказал, что я знаю твою вторую причину.

— И все-таки мне хочется сказать тебе об этом, — настаивал Вадим. — То, что ты так великолепно знаешь. Ну что ж, будешь знать еще лучше. Я люблю твою жену и постоянно, ежедневно и еженощно мечтаю о ней. Четыре тысячи триста восемьдесят дней мечтаю о ней...

Никита обнял его за плечи и слегка потрянул. Ладно, ладно, легче. Мы мужчины и солдаты, мы видели всякое. Давай-давай, высказался — и достаточно. Ты сказал об этом, друг, а я это слышал. Остальное пролетает вместе с жизнью. Вдруг, вспомнив нечто важное, к счастью, не относящееся ни к первой, ни ко второй причинам, вынул из кармана треугольное письмо, которое как раз сегодня собирался бросить в почтовый ящик и вот опять забыл.

— Послушай, Вадя, ты ведь отсюда в Москву? А здесь как раз московский адрес...

— Доставим, — буркнул Вадим. — Я знаю, что это за письмо, так зека сворачивают. Сразу, как приеду, так и доставлю... — Он усмехнулся. — Хотя бы это сделаю... — Еще раз усмехнулся. — Знаешь стихи: «Мы ржавые листья на ржавых дубах...»?

Ежедневное функционирование штаба ОКДВА обычно развеивало Никитины мрачные предчувствия и «упадочное» настроение. Все шло так четко и даже бойко: вбегали и выбегали молодые адъютанты, охрана вытягивалась, стучая каблуками, секретарши трещали на пишмашинках, приезжали командиры крупных соединений и лихие ребята из групп пограничной разведки, звонили телефоны, поддерживалась радиосвязь со всеми частями, раскиданными по гигантскому пространству края, от Аляски до Кореи.

Обстановка в южной части региона с каждым месяцем накалялась. Японцы явно прощупывали Красную Армию, пытались определить ее боевую силу. Нетрудно было представить их дальний прицел: в случае войны на западе атаковать и занять Приморье с Владивостоком и Хабаровском, может быть, пройти еще дальше, до Байкала.

Начальник оперативного отдела комкор Градов проводил частые совещания с командирами соединений. На них почти постоянно присутствовал главком, маршал Блюхер.

— Стратегия их нам в общих чертах ясна, товарищи, — говорил Никита, — но вот в ежедневной тактике порой бывает трудно разобраться, несмотря на нашу, скажу без ложной скромности, неплохую разведывательную деятельность.

Склонившись к юго-восточному углу огромной карты, он стал показывать перемещения частей армии генерала Тогучи, непонятную концентрацию сил в районе озера Хасан. Работа указкой напоминала резьбу по дереву. Вместе с другими командирами Блюхер смотрел на ладную фигуру своего лучшего соратника

по дальневосточной красной рати, фигуру, всегда столь уместную и вселяющую уверенность в некоей целесообразности того, что порой уже казалось маршалу бессмысленной игрой каких-то коварных идиотов. Надеюсь, что хотя бы его не... думал он и на частичке «не» обрывал свою мысль. После ареста Лапина, а особенно после расправы над Тухачевским, эта мысль, применительно к каждому соратнику, посещала его постоянно, едва ли не преследовала, вот именно преследовала, мучила, иссушала, может быть, прежде всего своей незавершенностью, этим трусливым обрывом. А завершалась эта мысль только по ночам, во сне, и выглядела, мерзавка, некоей лентой устаревшего телеграфа со знаками Морзе: «надеюсь — что — хотя — бы — меня — труса — предавшего — боевого — друга Мишу — не — арестуют», — после чего могучий маршал в ужасе вскакивал с постели словно десятилетний мальчик.

Совещание было прервано появлением начальника радиоузла. Он принес шифровку от Ворошилова. Командующий Особой Краснознаменной Дальневосточной армией срочно вызывался в Москву. С шифровкой в руках Блюхер на мгновение отключился от проблем Дальнего Востока: быть может, это вот и есть завершение моей незавершаемой мысли и?.. Мгновение спустя он встал, резко, как обычно, оправил гимнастерку, «продолжайте, товарищи», и вышел из оперативного отдела. Сразу же поняв, что в шифровке было что-то серьезное, командиры уткнулись в свои записи. Раньше они обменялись бы молчаливыми взглядами, теперь каждый взгляд может быть прочитан как вражеская вылазка.

После совещания Никита, как обычно, отправился в кабинет Блюхера. Командующий сообщил ему о содержании шифровки. Что-то необычное присутствовало в воздухе кабинета. Запах табака, догадался Никита, после чего и увидел пепельницу с тремя начатыми и почти немедленно сломанными папиросами.

А ведь Блюхер недавно бросил курить. Они стали обсуждать секретные перемещения двух механизированных бригад.

— Это движение должно быть начато еще до моего возвращения из Москвы, — сказал Блюхер.

Возникла пауза, после чего Никита поднял голову от блокнота и посмотрел маршалу прямо в глаза.

— Василий Константинович, вы действительно собираетесь сейчас ехать в Москву?

Глаза маршала были полны застойного мрака: то ли страх, то ли угроза, не разберешь.

— Что за странный вопрос, Никита Борисович, — медленно проговорил он. — Как я могу не ехать, если вызывает нарком? Немедленно и отправлюсь, как только будет готов самолет.

Никита не отрывал взгляда от этих глаз.

— Да-да, я понимаю, но... Василий Константинович, неужели вы отправитесь сейчас в Москву один, без группы охраны?

В глазах маршала сквозь застойную муть стал просвечивать свинец.

— Еще один вопрос такого рода, Никита Борисович, и я прикажу вас арестовать.

Еще секунду их глаза не могли разойтись в пространстве. Вот это как раз то, что нас всех сейчас пожирает, подумал Никита. Страх и беспощадность. После этого они попрощались.

Ничего особенного не происходит. Происходит только многомиллионный заговор людей, молчаливо договорившихся, что с ними ничего особенного не происходит. Особенное происходит только с теми, кто виноват, с нами же все в порядке, все как обычно. «Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда...» А между тем пытаются не только арестованных, мы все — под пыткой.

Таким страшнейшим мыслям предавался комкор Никита Градов, перелистывая иностранные военные

журналы в тишине и уюте своей, как они всегда шутили, «вероникизированной» квартиры. Звонок в дверь и громкий страшный стук. Ну, вот и все! Немедленное рыдание жены. Немедленно зарыдала, тут же, без промедления. Не удивленный возглас, а немедленное рыдание. Значит — ждала.

Комната немедленно заполнилась чекистами, вошло не менее семи человек, трое из них с пистолетами: все-таки воснного человека брали, а вдруг дуричь начнет. Никита не дурил. Старшой подошел к нему с нехорошей улыбкой на устах.

— Пойдете с нами, Градов. Вот ордер на арест.

Никита узнал молодого майора. На одном из концертов в ДКА он несколько раз на них оглядывался. Кажется, на концерте джаза Леонида Утесова. Можно было бы и не заметить, на Веронику всегда оглядывались мужчины, но эта светлоглазая, блондинистая физиономия — тип киноартиста Столярова — запомнилась. Никита держал в руках гнусную бумажонку ордера. Глупый детский розыгрыш вдруг выпрыгнул из памяти. Протягивается бумажка. Хочешь фокус покажу? Хочу-хочу! Помни эту бумажку! Ну, вот помял! Ну, вот и спасибо, давай сюда! С помятой бумажкой коварный шутник убегает в уборную.

— Какова причина ареста, майор? — спросил Никита.

Старшой удивленно поднял бровь: петлицы его были не видны под штатским пальто. Потом ухмыльнулся:

— Не можете догадаться, Градов? Мы вам скоро поможем.

Откуда они набрались этой блатной мимики и ухмылок? Ощущение такое, будто банда шурует в квартире. Чекисты открывали шкафы, снимали с полок книги. Только не смотреть на ревущую Веронику. Только бы самому не разрыдаться. Подчеркнутое употребление моего имени без «товарища» и без звания; можно было бы и безлично; хотят, чтобы дошел смысл проис-

ходящего; все кончено — ты теперь уже не комкор и не товарищ...

— Я требую...

— Забудь это слово, Градов!

Вот уже и на «ты». Очевидно, это запрещается инструкцией, снова переходит на «вы»:

— Вы лучше подумайте, Градов, о своем сотрудничестве с врагом партии и народа, бывшим маршалом Блюхером.

Его начали избивать уже в фургоне. Один ударил в челюсть, другой в глаз, третий в ухо. Майор рванул и располосовал в один прием добротную суконную гимнастерку. Ошеломленный Никита через минуту уже не пытался уклониться от ударов. Впрочем, они уже ему и ударами не казались. Казалось, на раскаленной какой-то поверхности разворачивается блистательная баталия. Вспышки взрывов по всему небосводу. Мы сопротивляемся. Превосходящие силы нас подавляют. Конец.





ГЛАВА XVI

А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!

Через две недели после ареста мужа Вероника с детьми добралась до Москвы. Ничего более унижительного, чем последние дни в Хабаровске, не случилось в ее жизни. Буквально на следующий день после катастрофы явились из хозяйственного управления и приказали в кратчайший срок очистить квартиру. Соседи от нее шарахались, как от прокаженной. Детям во дворе вчерашние наперсники и игр кричали: «Троцкисты-фашисты!» Борис IV подрался с другом, сыном окружного прокурора. Пришел с расквашенным носом. Прокурора, впрочем, тоже вскоре забрали, и мальчики перед отъездом успели помириться. В НКВД, куда она пошла за справками о муже, с ней были грубы или, что еще более оскорбительно, безучастны. В приемной сидели какие-то жуткие жирные сержанты с мыльными мордами скопцов. Мимо проходили, стуча сапожищами, жопастые бесполое бабы в гимнастерках с ремнями. Никакими сведениями о гражданине Градове Никите Борисовиче не располагаем. Как это не располагаете, да ведь вчера же только, да ведь третьего дня же только забрали! Потом стали говорить: пока не располагаем, зайдите через несколько дней, через два дня, через день, завтра. Она сидела в приемной злодеев, под портретом премудрого Ленина, напротив портрета

Дзержинского с его светлой улыбкой садиста, рыдала в полной беспомощности. Наконец спустился по злодейской лестнице со злодейских вершин голубоглазый злодей с майорскими петлицами и сказал, что Градов отправлен на следствие в Москву. После этого, внимательно оглядывая ее какими-то тоже не вполне мужскими глазами, он добавил, что порекомендовал бы ей поменьше думать о предателе родины, а побольше о своей собственной жизни.

Она бросилась на вокзал — очередиться за билетами, потом в школу за табелем Борьки, потом упаковываться, стаскивать вещи в комиссионку. В растасканную квартиру пришли оценщики мебели, дали жульнические цены, она согласилась. Вокруг была полная пустота, как будто она не жила в этом городе семь лет, как будто бы никогда не была здесь, в общем-то, царицей бала, черт бы его побрал. Ни воснврач Берг, ни старший лейтенант Верссаев из штаба авиации на горизонте не появлялись, не говоря уже о других теннисистах меньшего калибра. Впрочем, кто знает, может быть, уж им и самим светят совсем другие, далеко не теннисные поля. В командном корпусе ОКДВА, похоже, шел полный погром. Только сержант Васьков, шофер комкора, вдруг заявился помогать со сборами. Ходил по комнатам, остро вглядывался, то ли шпионил, то ли слямзить чего-нибудь хотел. Впрочем, может, и в самом деле деток жалел. Пусть ходит, все-таки хоть одна живая душа.

Телеграмму в Серебряный Бор Вероника дала уже перед самым отъездом с вокзала: «Возвращаюсь насовсем детьми. Никита кажется Москве. Целую плачу. Вероника». Должны понять, что произошло, если еще не знают. Впрочем, как они могут не знать? Об аресте Блюхера, кажется, было в газетах, скорее всего, и Никита в этой связи упоминается: «Разоблачена и обезврежена еще одна группа фашистских заговорщиков...» Потянулись бесконечные дни пересечения Сибири в западном направлении. В вагоне стояла духота, окна не

открывались, разило потом и протухшей пищей, все чесались, дети зверели от безделья, отовсюду слышались то храп, то попердывание, но больше всего жвачка: после Байкала жевали омуля, перед Омском какост, оказывается, знаменитое копченое сало, повсюду похрустывала единственная санитарная упаковка — скорлупа яиц. Проводники временами разбрасывали хлорку, чтоб народ тут не перезаражал друг друга всякой гнусностью. Подвыпив, то тут, то там прокисшие башки вели какие-то бесконечные прокисшие толковища. Вероника, по сути дела, впервые путешествовала в общем плацкартном. Единственным утешением был маленький томик Пушкина. Забившись в угол, она бесконечно, то молча, то шепотом, повторяла: «Прощай, письмо любви, прощай! она велела... Но полно, час настал, гори, письмо любви... Свершилось! Темные свернулись листы; На легком пепле их заветные черты Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый, Отрада бедная в судьбе моей унылой, Останься век со мной на горестной груди...» Горькие строки ее утешали. Не только у нас все было разбито, разрушено, у него тоже вдруг все начинало скользить под откос; в горечи человеческих судеб есть тоже свой убаюкивающий ритм... может быть, это единственное, что остается, но это немало.

Вконец измученные, исчезавшиеся и одуревшие «никитяне», как называли эту часть семейства в Серебряном Бору, вывалились из вагона на Ярославском вокзале прямо в объятия Бориса Никитича и Мэри Вахтанговны. Женщины, включая пятилетнюю Верочку, слились в рыданиях. Два Бориса молча стояли. Профессор заметил, что у любимого отпрыска появился взгляд исподлобья сродни тому, с которым привезли из Горелова Митю.

Весь день до вечера «никитяне» обмывались, обстирывались, сушились. Залезли потом на чистейшие простыни, под старые, будто вечные, пуховые градовские одея-

ла. Дети немедленно заснули. Вероника, свернувшись клубочком, лежала на столь знакомой кровати, в которой, по всей вероятности, и зачат был Борис IV, прислушивалась к звукам большого старого дома: к поскрипыванию паркета внизу, к уютному подвыванию ветра на чердаке, к голоску хлопотливой Агаши, к шагам, возгласам, отрывистому вопросительному рывканию Пифагора. О Никите почему-то в этот момент не думалось. Вообще ни о чем не думалось, а только лишь ощущалась тихая радость пристанища. В один из блаженных этих моментов снизу долетело, что пришла телеграмма от ее родителей, которые отдыхали в Крыму в писательской колонии, и оттуда, из писательской колонии, горячо обнимали любимую дочку и очаровательных внуков. Она не стала вылезать из-под одеяла, чтобы не прерывать радости пристанища.

Вечером, к ужину, был полный градовский сбор, вокруг стола расположились и Борис Никитич, и Мэри, и Кирилл с женой Цецилией, и пятнадцатилетний Митя, который, хоть и считался их приемным сыном, домом своим полагал Серебряный Бор, и Нина с Саввой, и их двухполовинойлетняя Еленка, и друг дома вечный холостяк Пулково, и Пифагор, который, несмотря на свой весьма и весьма солидный собачий возраст, был в отличной форме и все еще считал себя щенком, и Агаша, если можно о ней сказать «расположилась», ибо курсировала непрерывно между столовой и кухней, и ее, почти законный, «друг жизни», популярнейший в этой части Подмосковья, бывший участковый, ныне инспектор райфо и по совместительству замзав близлежащего лесничества товарищ Слабопетуховский, который в общем-то проводил больше времени на кухне возле буфета с гранеными стеклами и только изредка присаживался к общему столу, чтобы осчастливить присутствующих каким-нибудь свежим высказыванием о происках Муссолини в Абиссинии; и, разумеется, главные виновники этого сбора — «никитяне»: Вероника, Верочка и Борис IV; не было толь-

ко общего любимца Никиты, их «красного генерала», который всегда за этим столом вел себя слегка как мальчик, наперсник скорее Нины или даже Пифагора, чем сурового младшего брата, и потому не было и торжества прежних лет, преобладало молчание, потупленные взоры, вздохи; едва ли не поминки, так это выглядело теперь.

Мэри сидела рядом с Вероникой, гладила ее по голове, целовала то в щеку, то в плечо. Впервые между невесткой и свекровью возникла настоящая близость. Борис Никитич одной рукой ворошил вихры своего внука, другой поднял рюмочку настойки и обратился ко всем:

— Давайте выпьем за нашего Никиту! Я уверен, что он с честью выйдет из этого страшного испытания! Я надеюсь, Мэричка, Вероникочка, я серьезно надеюсь, что скоро все будет позади. Весьма важная персона вчера шепнула мне: «Держитесь, профессор, ошибки случаются»... Он так и сказал — ошибки...

Все, разумеется, помнили, как Борис Никитич семь лет назад столь убедительно продемонстрировал свои кремлевские связи, поэтому и нынешний шепоток в сферах был принят серьезно, все с надеждой приободрились, Мэри демонстративно перекрестилась, глава семьи успокоительно кивал. Кирилл с уверенностью высказался:

— Я уверен, что Никита будет оправдан. Это, может быть, займет месяц или два — по некоторым причинам дело Блюхера очень запутанно, противоречиво, оно, очевидно, вкрутило в свою воронку многих невинных людей, — но я уверен, что, как только все распутается, Никиту освободят.

— Если он, конечно, невиновен, — вдруг произнесла Цецилия.

Все, изумленные, повернулись к ней и вдруг заметили, что она тут как бы несколько ни при чем, как бы несколько отчужденный элемент, что в ее строгой позе как бы читается некое заявление о принадлеж-

ности к более серьезному содружеству, чем градовская семья.

Нина вспыхнула, уставилась горящим взглядом на Цецилию.

— Ты говоришь «если», Циля? Что это значит? Что значит в твоих устах слово «невиновен»? Ты не очумела, дорогая подруга?

Цецилия только чуть повернула голову в сторону бывшей товарки-«синеблузницы», ныне родственницы-золовки. С определенным, впрочем, не чрезмерным высокомерием и чувством идеологического превосходства пояснила для всех свою позицию:

— В принципе органы пролетарской диктатуры не могут действовать неправильно или несправедливо. Конечно, в условиях нарастания классовой борьбы могут быть ошибки, но они чрезвычайно редки. Видите ли, товарищи... — Она явно почувствовала себя на лекционной трибуне; забыв про Нинину атаку, подтянулась большущей грудью, залучилась веснушками по адресу просвещаемых масс. — Понимаете ли, товарищи, уже сам факт ареста доказывает: что-то было неверным в политическом или идеологическом поведении арестованного. В эти сложные времена, когда явно сформировался новый огромный геополитический заговор против Советского Союза с непременными, широко внедренными филиалами внутри страны, в эти сложные времена, товарищи, и за себя-то нельзя поручиться, не говоря уже о друзьях или родственниках. Органы знают ситуацию лучше нас всех, они все поставят на свое место, они разберутся во всем. Неограниченное доверие к органам — это неотторжимый элемент истинной партийности!

Кирилл сидел, опустив глаза. Под лучиком заходящего солнца, проникшим в щель между синим и красным ромбами окна, на лице его пылало какое-то кубистическое пятно. Если оторваться от классовых позиций, то, что сейчас говорит его жена, звучит просто чудовищно, но с классовых позиций, с партийной точки зрения

она совершенно права, и не он ли сам всегда замечал за братом явный, скажем так, недостаток идейности.

— Что она говорит! — воскликнула Нина. — Братцы, послушайте, что она несет!

Тут только Цецилия заязвилась уже непосредственно в Нинин адрес:

— Что же странного находит в моих словах член Союза советских писателей?

— По твоей логике, Циля, ты одобрила бы и арест своего собственного отца, да? Органы выше отца, верно? — Нина даже как бы зашипела от своего горячего сарказма.

— Да! — воинственно выкрикнула ей в лицо Цецилия.

Кирилла этот возглас будто палкой в ухо ударил.

— Розенблюм! — вскричал он.

— Градов! — Цецилия ударила кулаком по столу. — Я люблю своего отца, но как коммунист я больше люблю свою партию и ее органы!

— Нина, — Мэри Вахтанговна положила ладонь на дрожащую руку дочери.

Возникла неловкая пауза. Вдруг выяснилось, что даже и здесь, за отчим столом, не все уже скажешь впрямую.

Вероника тихо плакала в платок.

— Мэричка, — шептала она, — если бы ты видела эти лица, эти чудовищные хари...

Мэри встала, потянула Веронику.

— Пойдем в кабинет, голубка моя, я поиграю тебе Шопена.

Тут же поднялся и Пулково.

— Можно и мне с вами?

— И я с вами, — присоединился Борис Никитич.

В кабинете меломаны расположились как бы по законам мизансцены: Мэри за инструментом, Лё — облокотившись на инструмент, Градов в своем любимом кресле, в том самом, в котором он когда-то «лечился музыкой»; Вероника на ковре у его ног, руку положив

на его колено; к ней пристроилась, прижавшись щечкой, нежная Верочка, притопала и крошка Леночка Китайгородская, тоже уселась на ковер, глядя на «бабу». Мэри пустилась в мощный бравурный полонез, первыми же тактами заглушивший спор в столовой и вообще опровергнувший НКВД. Вдруг пианистка бросила клавиши, в панике вскочила с табуретки, кинулась к дверям, крича:

— Где мальчики?! Кто-нибудь видел Митю и Борю?

Весь дом переполошился: о мальчиках и в самом деле забыли. Нашлись они в саду. В сгустившихся сумерках подвижный, быстрый Борис IV с подростком-увальнем Сапуновым почти невидимым мячом играли в футбол. Верхушки сосен были освещены розовым, над ними в быстро густеющем зеленом уже видна была звезда градовского дома. Она немного плакала над ним.

В те времена жизнь не мешкала со свойственными ей ироническими поворотами. Несколькими днями спустя после описанной выше «свистать всех наверх» встречи в Серебряном Бору Ццилия Розенблюм работала, по обыкновению, в библиотеке Института мировой политики. В этом месте было так приятно обогащать теоретический багаж, да и актуальной информации было немало, институт выписывал добрую дюжину газет из-за рубежа, боевые органы Коминтерна.

Можно себе представить, с какой тоской и надеждой пролетарии Англии, и Франции, и Соединенных Штатов Америки смотрят на Восток, на Москву, когда стоят в стачечных пикетах, когда блокируют ворота своих фабрик, не пропускают штрейкбрехеров. Поражает цинизм гитлеровцев, они тоже называют себя социалистической рабочей партией. А ведь сами шлют ультра-современные аэропланы бомбить республиканцев в Испании! Стол Цили был заставлен стопками томов классиков эм-эл, могучее ограждение от дикостей ежедневности. Внутри этой ограды она шелестела комгазетами. Гармония, вот она — только здесь, несмотря на про-

тиворечия международного рабочего движения, она — только здесь; мы сами творцы своей гармонии.

Шедший по проходу коллега позвал ее к телефону. Кажется, Градов тебе звонит, Розенблюм, по какому-то делу, сказал он с улыбкой. Любовные отношения «строгого юноши» (каким Кирилл и по сей день остался, несмотря на свои 35 лет) и неряшливой, рассеянной, довольно нелепой «Розенблюмихи» были постоянной темой веселых разговоров в «теоретических кругах Москвы».

Телефон висел на стене неподалеку от стойки выдачи книг. Под ним стоял круглый столик и венский стул. Трубка висела башкой вниз. Цию этот вид трубки почему-то кольнул под печенку. Что-то подспудное шевельнулось, отголосок древних атавизмов. Любимый голос товарища Градова быстро заштопал маленькую прореху в материализме:

— Привет, Розенблюм! Это Градов!

Ция радостно вздохнула:

— Привет, Градов! Ты чего звонишь? Поздно придешь сегодня?

— Нет, — сказал Кирилл. Голос его, вернее, его присутствие на проводе вдруг куда-то отплыло, потом выплыло вновь. — Я не об этом. Просто... просто не жди меня.

— Что ты имсешь в виду: «Не жди меня»? Едешь на периферию? Куда? На сколько? — От постоянных семинарских занятий у нее в последнее время выработалась привычка в простейших фразах подчеркивать каждое слово.

— Послушай, Ция, — сказал Кирилл, впервые за все годы назвав ее по имени. — Я звоню из кабинета следователя НКВД. Меня вызвали к ним. Сначала я думал, что это в связи с Никитой, но я ошибался. Это в связи со мной. У них есть ордер на мой арест.

— Кирилл!!! — закричала на весь зал Цецилия. В трубке уже был отбой. Она испустила низкий, животный, начавшийся будто бы в самых низах тела вопль и

сползла со стула на пол. Брошенная вниз башкой трубка несколько секунд поплясывала в воздухе, потом затихла. Коллеги за столиками по всему залу прилежно, не поднимая голов, штудировали литературу. Никто не осмелился прийти на помощь рухнувшей «Розенблюмике», все прекрасно понимали, что произошло. Тема комической влюбленности завершилась и испарилась.

Опомнившись, она вскочила и побежала прочь из института. В дикой последовательности, в наскоке друг на друга, в сдвиге перед бегущей, уже несколько отяжелевшей за последние годы женщиной, будто в футуристическом кино, мелькали планы деревьев с грачами, ворота института, крупешник ноздреватой хари вахтера, поднятый капот автобуса, пар от перегревшегося мотора, внедрение теории в практику и наоборот, наоборот, наоборот, практика, как асфальтоукладчик, утюжила нежную поверхность теории... Вот так в один из дней третьей пятилетки два стойких большевика перешли на более интимный способ обращения друг к другу.

Через несколько дней состоялось общес партийное собрание института. Циле предложили место в первом ряду: все знали, что предстоит ее выступление по отмежеванию от врага народа К.Б.Градова. Большинство сотрудников хоть и занимались свинским делом, были не свиньи и потому жалели бедную Цильку: нелегко все-таки отказываться от мужа даже ради великого общего дела. Каждый к тому же подсознательно, а может быть, и почти сознательно подставлял себя на ее место: может, завтра и моя очередь придет отмежевываться, маховик чистки работает все с большим ускорением. К числу гуманистических чувств можно отнести и неизбежно охватывающее зал возбуждение, ожидание спектакля.

Четыре наложенных друг на друга профиля со стены над президиумом с возвышенной безучастностью

смотрели в окно на птичий разнобой, моргал только зажатый между Марксом и Лениным Энгельс; ближайший, однако, к аудитории Иосиф Виссарионович Сталин являл полноразмерную щеку стопроцентной непреложности. Председательствующий секретарь парткома Репа (из красных латышских стрелков) начал собрание:

— Мы собрались сегодня, товарищи, чтобы одобрить арест органами НКВД нашего бывшего члена ученого совета Градова и осудить вражескую деятельность этого человека, прокрававшегося по заданию антисоветских подрывных центров в наш...

Тут вдруг произошла заминка. Репа хотел сказать «в наш здоровый коллектив», но вовремя схватил себя за язык: какой же он «здоровый», этот коллектив, если седьмого уже за два месяца провожаем? Скажешь «здоровый коллектив», а потом тебе это припомнят как попытку выгородить других заговорщиков. Он строго кашлянул и закончил фразу:

— ...В наш коллектив.

Заминка для некоторых не прошла незамеченной, однако никто не переглянулся. При таких догадках сейчас не переглядывались, но потупляли глаза.

Подобные собрания в учреждениях стали в последние годы чем-то вроде ритуала, сродни проводам на пенсию, устроенным, впрочем, заочно. Ораторы говорили о провожаемом с теплотой, накаленной до ненависти. Публика едва ли не привыкла ко всей процедуре. Ходит себе какой-нибудь человек, старший или младший научный сотрудник, собирает профсоюзные взносы или вывешивает стенгазету, хлопочет о путевке в пионерлагерь для детишек, потом перестает появляться на работе; значит, либо бюллетень выписал, либо — взяли; второе вернее. Значит, обязательно устраивается собрание по осуждению и отмежеванию. Отмежевываются сослуживцы, любовницы, родственники. Дело в общем-то хоть и бытовое, но довольно интересное. Если же придет в голову шальная мыслишка: «А вдруг и меня

вот так же», немедленно она будет вытеснена резонным: «Ну, меня-то и в самом деле не за что». Ну, а если Провидение вдруг все-таки задает ужасающий, леденящий вопрос: «А Градова-то за что, гаденыш?» — быстрым движением головы уворачиваешься от вопросов Провидения.

В тот день тоже все шло как обычно. Выступило несколько сослуживцев Кирилла. Говорили о том, что еще в старых трудах Градова можно обнаружить тщательно замаскированные послы правотроцкистского блока. Говорили о его возможных связях с оппозицией в двадцатые годы, о сочувствии к кулакам. Говорили о том, что пора раз и навсегда покончить со всеми формами замаскированной контрреволюции. Ждали выступления кандидата исторических наук Цецилии Розенблюм, до сегодняшнего дня законной супруги выявленного врага. Некоторые женщины в зале, в частности, работницы библиотеки, тайные собирательницы стихов Ахматовой, в душе укоряли Цилю: могла бы не прийти в самом деле, могла бы заболеть, погрузиться как бы в протрацию... Товарищ Репа предоставил слово товарищу Розенблюм. Пока Циля шла к трибуне, перед ней все время стоял образ отца, того самого абстрактного отца, о котором недавно разгорелся столь яростный спор на градовской даче. Конкретный отец, тишайший скромнейший бухгалтер Наум, тоже ведь говорил: «Не ходи, Цилька, на это собрание, сохрани в себе человека». Ее била дрожь, и не было никаких сил взять себя в руки. От малейшего соприкосновения с ее телом нештатная трибуна начинала трястись, дребезжали краями друг о друга графин и стакан.

— Товарищи, — начала она, — никогда не было более страшного момента в моей жизни. В тысячу раз легче бы мне было просто умереть за партию и социализм. Я всегда знала Градова как бескомпромиссного проводника генеральной линии партии, как верного ленинца, несокрушимого сталинца. Он всегда отвергал малейшее отклонение от курса, взятого сталинским По-

литбюро. Товарищи, при всем уважении к нашим славным органам пролетарской диктатуры, я должна сказать, что в этом случае они совершили ошибку. Я убедительно прошу руководство НКВД пересмотреть свое решение об аресте Кирилла Градова, ну, а уж если этот пересмотр не принесет желаемых мной результатов... тогда... — Она вскинула голову, как при удущье, и в то же время схватила обеими руками свое горло, будто пытаясь сдержать вопль: — Тогда пусть берут и меня! Мы с ним — одно! Градов и Розенблум — это одно и то же! Я не могу жить без него, товарищи!

Потрясенная аудитория молчала: такого спектакля не ожидал никто. Циля оторвалась от трибуны, перебирая руками спинки пустых стульев, добралась до стены, сползла вниз, в зал, и грохнулась на свое место почти без сознания. Библиотечка, тайная почитательница Ахматовой, побежала за водой. Товарищ Репя от страха распался гневом, стукнул кулаком по столу президиума, загремел:

— Что за безобразное выступление?! Розенблум не уважает своих товарищей, свою партийную организацию! Вместо того чтобы признать недостаток бдительности в отношении к тщательно замаскированному врагу, она расслабила все тормоза и отдалась голосу пола! Это недостойно члена партии! Это позор! Предлагаю объявить Цецилии Наумовне Розенблум строгий выговор и передать ее дело на рассмотрение в райком!

Между тем по всем площадям и во всех квартирах страны через репродукторы гремела маршевая песня:

А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!
Пусть поет о нас страна!
И звонкой песнею пусть прославятся
Среди героев наши имена!

И миллионы людей по всей стране, включая и чехиков, и завтрашних зеков, не без удовольствия вспо-

минали экранный марш чудеснейших грудастых дев; идем вперед, веселые подружки, да-да, вот в этом роде, страна дает приют для всех сердец, кажется, так, да, везде нужны заботливые руки, ха-ха-ха, и звонкий жизнерадостный бабец!

Возник культ советской блондинки. Постросанный на бывших Воробьевых, ныне Ленинских горах советский Голливуд, огромный киноцентр «Мосфильм», создал миражную диву радостных пятилеток. Белозубые, златокудрые и даже достаточно длинноногие Любовь Орлова, Марина Ладынина, Лидия Смирнова маршировали в рядах энтузиасток, нежно провожали в дальний путь героических парней: летчиков, танкистов, полярников, работников Наркомвнудела. В конце каждого фильма возникали роскошные, внешне голливудские, но исполненные глубокого социалистического содержания апофеозы, своеобразные фонтаны знамен, триумфальные ступени либо для подъема в сияющее будущее, либо для спуска к ликующим массам. Апофеоз шел рука об руку с легкой комедией, с лирикой, развевались крепдешиновые платья, мелькали белые туфли, рубашки-апаш; впрочем, и здесь, и в любовной теме, в противовес безнравственности и безыдейности буржуазии развивались принципиально новые, исполненные высшего гуманизма отношения между людьми-строителями. Впервые в истории на огромном пространстве Земли, а именно на одной шестой, обращенной к Полярной звезде части ее Суши, так мощно процветал оптимизм.

Дети в школах под присмотром учителей замазывали густыми чернилами имена и портреты вчерашних героев, а ныне врагов в учебниках советской истории. На следующий год учебники передавались младшим, и никто уже не вспоминал исчезнувших в чернильной ночи. Недостатка в героях, впрочем, не ощущалось. Жизнь рождала новых едва ли не еженедельно. Славные «сталинские соколы» спасли зимовку челюскинцев! Вот вам первые Герои Советского Союза, летчики Ляпидевский

и Водопьянов, вот вам славный героический бородач Отто Юльевич Шмидт! Дрейфующая станция Папанина прошла над Северным полюсом! К ним на выручку идет ледокол «Красин»! Шахтер Алексей Стаханов установил рекорд по добыче угля! Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели без посадки через Северный полюс в Америку! Народ тысячами высыпал на улицу встречать славных сынов Отчизны. Они ехали в открытых машинах по середине только что расширенной улицы Горького, сквозь бурю листовок сверкали их белозубые улыбки. Питомцы комсомола! Солдаты партии! Все больше и больше замечательных песен рождали советские композиторы. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» — гремело из репродукторов. Дети бежали с охапками цветов к Мавзолею Ленина. Отцы нации, оставшиеся на данный момент в живых, бандиты Кобы Джугашвили, протягивали им навстречу благородные честные руки. Узбекская девочка Мамлакат, собравшая больше всех хлопка, прижималась персиковой ланитой к рябой щеке пахана. «И солнце сильнее заблестало, И кровь ускоряет свой бег, И смотрит с улыбкою Сталин, Советский простой человек».

Ах, как хорошеет Москва! Милиции выдали белые шлемы и нитяные перчатки! Целиком приподнимаются и передвигаются дома, чтобы расширить улицы. Катят наши советские автомобили, «эмки» и ЗИСы! Республиканская Испания, отражая с нашей помощью нападение фашистов, посылает нам апельсины, каждый завернут в красивую тонкую бумажку. Спортивная жизнь бурлит! В футболе бьемся с лучшей европейской командой басков. Несравненная Нина Думбадзе, змлячка нашего вождя, мощно поворачивает колонны ног, могучая дискоболша. Несравненный Николай Озолин поражает всех высокими прыжками с шестом. А сколько лирики вокруг! «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке, на берегу? Саша, ты помнишь этот вечер, весенний вечер, каштан в цвету?» В волшебных сумерках воображения проплывают какие-то мрамор-

ные лестницы, вазы, скульптуры, и все принадлежит народу, в санаториях наркоматов плещет девичий смех, нежная чистая игривость, погоня с возвышенными намерениями, просто сказать: «Вера, завтра я улетаю, куда — сказать не могу, ты понимаешь?» — «Да, понимаю! Возвращайся скорей!» Значит — любит!

Так прощай, дорогой, наш боец молодой!
Береги ты родные края!
А вернешься домой, и стащует с тобой
Го-о-ордая любовь твоя!

Не мешая никому жить, любить, работать, прокатывали по ночным улицам «воронки». Влюбленные их не замечали. Каждый занят своим делом, в конце концов. По-прежнему вздрагивая от шума лифта в ночи, москвич несколько минут прислушивался, потом сладко потягивался: кажется, пронесло, да и вообще вроде пошло на убыль, глядишь, и минует чаша сия, а завтра выходной, и — на футбол, в кино, на «Цирк», на концерт юмориста Смирнова-Сокольского!

На Тушинском аэродроме гремел очередной праздник. Трибуны и часть поля были заполнены возбужденной толпой. Всеобщее внимание было приковано к большому дюралевому трехмоторному самолету, который стоял чуть поодаль и напоминал бы чучело монстра, если бы не большие буквы «СССР» на боку. Играли оркестры, развевались знамена, проходили отряды пионеров с горном и барабаном. Шел митинг, посвященный предстоящему беспосадочному перелету на Дальний Восток женского экипажа: Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой. Над закругленным фасадом Центрального авиационного клуба зиждился огромный портрет Сталина в каменной большевистской фуражке. Меньшими изображениями, как в фуражке, так и без оной, пестрело поле. Там и сям мелькали также недавно вошед-

шие в употребление двухголовые портреты — котоподобный Сталин, сжавший в объятиях счастливую широкоскулую мышку Мамлакат.

К самолету толпа не подпускалась, все действие концентрировалось вокруг дощатой трибуны, на которой стояли три летчицы, мощные девы в комбинезонах и кожаных шлемах. Оттуда, с трибуны, провозглашались лозунги, встречаемые взрывами энтузиазма. Вокруг вспыхивал магний, трудились фотографы.

Нина Градова, опоздавшая к началу церемонии, теперь энергично пробиралась через толпу. Чучело самолета, фуражка Сталина, двухголовый портрет... отмахиваясь от лезущей в голову антисоветчины, она показывала направо и налево свою красную книжечку корреспондента журнала «Труженица», подобралась наконец к самой трибуне и крикнула Гризодубовой:

— Привет, Валентина! Я корреспондент «Труженицы». Как командир этого беспрецедентного в мировой истории перелета скажите, пожалуйста, несколько слов нашим читателям!

Гризодубова ее заметила, протянула руку, помогла взобраться на трибуну. Мужская мозолистая лапа. Нина вытащила из кармана пиджака блокнот и шикарную авторучку «монблан», подаренную недавно вернувшимся из-за границы Ильей Эренбургом. Гризодубова, перекрикивая шум, зарокотала ей прямо в ухо, словно пламенный мотор:

— Женщины! Девушки! Мы живем в сказочное время! Кто бы мог предсказать, что российские бабы сбросят оковы вечного рабства и будут пилотировать самолеты, командовать кораблями, водить тракторы и танки?! Никто и никогда не мог этого предсказать, как не может этого себе представить и современная поработенная женщина буржуазного Запада! Мы посвящаем наш полет великой сталинской конституции, самой демократической конституции мира, и ее творцу, солнцу нашей отчизны, Иосифу Виссарионовичу Сталину!

Выговорив все это, Гризодубова достала коробку «Северной Пальмиры», предложила Нине:

— Курнешь, подруга?

Они закурили и улыбнулись друг другу не без взаимной симпатии. Предательское сладчайшее чувство причастности ко всему этому спектаклю вдруг посетило Нину. Она прыгнула с трибуны и стала прокладывать себе путь к выходу.

Если уж где-то надо работать, то почему же не в журнале «Труженица»? От пропаганды и бреховины нигде не спрячешься, а здесь хотя бы свои люди в отделе очерка, все понимающие, достаточно ироничные, современные женщины, которым к тому же нравятся мои стихи. Так думала Нина всякий раз, подходя к зданию редакции на Пушкинской, привычно уже выискивая взглядом приметы городской жизни из тех, что к «ним» все-таки не относятся: чугунного поэта, чугунные фонари, «грачей обугленных десятки», уцелевшие шатры церкви Рождества Богородицы в Путинках... И это я, «синемблuzница», футуристка, тоскую нынче по старине, выискиваю в памяти клочки из детства, из того мира, где еще не было этой чумы...

В редакции она быстро отбарабанила статью о митинге в Тушино и передала ее заведующей отделом Ирине, с которой, несмотря на разницу в десяток лет, очень дружила. Холостячка Ирина нередко ходила с Ниной и Саввой в консерваторию или в МХАТ. Больше уже и некуда было нынче ходить в Москве; выставки — сплошная свиноферма, авангардисты все попрятались, «бубнововалетчики» рисуют парсуны вдохновляющего созидательного характера. Чудеса, впрочем, еще случаются. Вот «Интернационалка» вдруг напечатала куски сногшибательной прозы некоего Джойса, вышел четырехтомник Марселя Пруста. Писатель американского «потерянного поколения» Эрнст Хемингуэй, на наше счастье, примкнул к «прогрессивным силам», в Испании занял резко антифранкистскую позицию, значит, и его, может быть, будут печатать. Словом, поговорить

еще есть о чем, и они говорили часами на кухне или где-нибудь на бульваре о западной литературе. О своих-то, прежних, совсем еще недавних, лучше не говорить, до хорошего не доведет. Многих лучше вообще не называть, как будто их и не было.

В углу редакционной комнаты засвистел чайник.

— Девочки, чай пить!

Сотрудницы распаковывали свои свертки с бутербродами, кто-то выставил корзинку домашнего печенья, воцарился веселый перерыв. Все знали, что у Нины арестованы оба брата, но никто никогда о них не спрашивал. Об арестованных не принято было говорить в присутственных местах. Нина и сама себя ловила на мысли, что в присутственных местах не только говорить, но даже и думать о своих такого рода печалях неуместно, как будто аресты и советские учреждения принадлежали к разным, не соприкасающимся мирам. То ли страх это странное правило диктовал, то ли подспудная надежда, что в один прекрасный день весь этот кошмар должен кончиться, а потому сейчас об этом лучше молчать. А может быть, лучше кричать об этом, вопить, визжать, иногда думала Нина и тут же возражала сама себе: недолго поорешь, никто и не успеет услышать.

Во всяком случае, пока что пили чай, смеялись. Нина рассказывала о недавней командировке в Крым, где она интервьюировала важного человека, председателя КрымЦИКа товарища Ибрагимова. Современное положение татарской женщины он охарактеризовал следующим образом: «Раньше татарский женщина был закобыленный женщина, теперь мы сделали из нее публичный женщина!» Хохотали до слез. Нина разошлась.

— Да ведь это дивный неологизм в футуристическом стиле — закобыленность! Девочки, а вам не кажется, что в каждой из нас есть некоторая закобыленность?

После чая Ирина увела ее в свой кабинетик обсуждать репортаж. Нина заглянула ей через плечо. Изрядно погулял по строчкам красный карандашик!

— Нинка, прости, но я взяла на себя смелость немного почистить, — сказала заводитслом. — Репортаж великолепный, но эта твоя привычная ирония...

Нина усмехнулась:

— Ты нашла там мою привычную иронию?

Ирина усмехнулась в ответ:

— Следы твоей привычной иронии, скажем так.

— Ирина!

— Нина!

Они смотрели друг дружке в глаза. У Ирины был странный нос, не курносый, но ноздрями наружу, что в сочетании с коротко обрезанными волосами и редакторскими очками придавало ей довольно свирепый вид. На самом деле уж Нина-то знала, это была нежнейшая одинокая душа. Она протянула руку через стол и накрыла Нинину ладонь своей.

— Время иронии прошло, Нинка. Нам выпало жить в героические времена.

Нина пожала плечами:

— Без иронии, Ирка, трудно уцелеть в героические времена.

— А с ней трудно не пропасть, — сказала Ирина.

— Вот так софистика!

Они обе грустно рассмеялись.





ГЛАВА XVII

Над вечным покоем

Как и все тюрьмы в стране, страшная Лефортовская тоже была переполнена, однако драки из-за места на нарах здесь случались редко, поскольку заселял камеры в основном политический состав, не чета блатарям, народ нередко интеллигентный, склонный даже к старорежимной солидарности. Во многих камерах установлена была даже очередность лежания на нарах. Час в горизонтальном положении, хочешь спи, хочешь о бабе мечтай, а потом уступай свое место товарищу по историческому процессу. В ожидании своей очереди на «горизонталку» заключенные либо стояли у стен, либо сидели голова к голове на склизком полу. В этом положении многим начинало казаться, что они едут куда-то в каком-то чудовищном трамвае. Были, конечно, и исключения из этих правил, в частности, по отношению к возвращающимся с допросов. Если человека с допроса приносили, нары ему предоставлялись без очереди. Ну, а если все-таки возвращался на ногах, тогда в общем порядке. Очередь существовала и на парашу, там всегда кто-нибудь восседал, выпускал газы в чрезмерном скоплении народа.

Однако были не только свои удручающие минусы, но и некоторые ободряющие плюсы. Вот посмотрите, шептались между собой оказавшиеся в од-

ной камере два преподавателя Московского университета, филолог и биолог, при всех физических минусах, таких, как спертый воздух, вонь, отсутствие лежачих мест, есть и некоторые психологические плюсы. Прежде всего, когда вас вталкивают в такую камеру, вы неизбежно думаете: ого, народищу-то, я не один, а не один! И это — вы заметили? — ободряет. Ну, потом, вот эта очередность на нары и на парашу, разве это не проявления человечности? На миру и смерть красна, как говорят, но вот даже и в этом приблизительном состоянии «мир», то есть «коллектив», бодрит, не дает ну полностью уже капитулировать. Всегда находится какой-нибудь шутник, поднимающий настроение. Вон, посмотрите, как Мишанин опрашивает вновь прибывших. Нет, классики знали силу коллектива. И умели на ней спскулировать, мерзавцы. Кто мерзавцы? Да классики!

Коротышка Мишанин, бойкий типус из московской шоферни, между тем действительно развлекался и других развлекал. Подбирался к новоприбывшему, деловито, то есть как на вокзале, спрашивал:

— А вы, товарищ, тут по какому делу?

Новоприбывший, взглянув на его деловитую физиономию, вдруг понимал, что его дело — это еще не конец человеческой цивилизации. Пожимая плечами, отвечал:

— Связи с польской разведкой. Не знаю уж, почему именно с польской, а не с какой-нибудь посолднее. Может, потому, что у меня фамилия на «ский»? Словом, ПШ — «подозрение в шпионаже».

Мишанин с пониманием кивал, пожимал руку, перебирался к следующему новичку.

— А ты, друг, по какому делу?

— Вредительство, — охотно отвечал новичок. — Я, понимаешь ли, поваром работал на «Шарикоподшипнике», ну вот, конечно, у нас там заговор и раскрыли по отравлению рабочих, вот такие дела.

Мишанин и этому повару уважительно кивал, понимающе хмыкал: где пища, там, мол, и срок рядом

гуляет, — подкатывался к мужичку с сидором, который тут выглядел чужаком среди городской публики.

— Ну, а ты, лапоть, тут за что?

Мужик, соблюдая платон-каратаевские традиции, добродушно смотрел на него.

— За Маркса, дорогой мой. В клубе лекция была «Есть ли жизнь на Марксе?», а я и спроси: на эту планету Маркс вербовка будет? В тот же день и взяли: ты, говорят, подрывал колхозное строительство, проявлял бухаринский троцкизм.

Мишанин бурно хохотал, валял мужичка за плечи, лез ему носом в сидор: как там насчет сальца-то, марксист? Хорошее у нас пополнение в этот раз, товарищи: польский шпион, вредитель-отравитель, троцкист-бухаринец-марксист!

Заклацали засовы, дверь отворилась, два чекиста вошли в камеру, из коридора рявкнул третий: «Градов, на допрос!»

От стены отделился Никита. Он был уже сле жив: допросы шли ежедневно, если не дважды в день.

— Держись, комкор, — шепнул ему вслед Мишанин, хотя сам-то на допросах вовсе не держался, весело подписывал весь несусветный вздор, что подсовывал ему следователь. «Держись, комкор», однако, здорово звучало, в этом, очевидно, он чувствовал какую-то поэзию энкавэдэшной тюрьмы и потому всякий раз бормотал вслед волокущемуся на избияния призраку: «Держись, комкор!»

Сквозь лестничную шахту вдруг, словно хвост огня, пролетел истошный крик: «Никита!» Комкор, влекомый двумя чекистами, чуть запнулся. Усиленный резонансом лестницы крик с нижнего этажа долетел до его ушей, словно сквозь вату бессмысленных и немых слежавшихся лет, и вдруг осветил на миг картинку детства: он с другом Холмским выгребают на ялике к излучине Москвы-рки, а маленький Кирилл отчаянно кричит с берега — его забыли!

Кирилл, тоже ведомый двумя мордоротами, забыв обо всем, бросился к перилам. Только что на площадке лестницы, два марша вверх, мелькнула любимая душа, старший брат. Никого уже не было видно, но он все еще махал рукой и кричал:

— Никита! Я тебя видел! Никита, брат!

Растерявшиеся было стражи отдернули его от перил. Он и к ним обернулся с изумленно-радостным выражением, будто увидел брата по меньшей мере на палубе прогулочного теплохода.

— Товарищи, я только что видел там моего брата!

Один страж ударил его рукояткою пистолета меж лопаток, другой въехал коленом в пах. Упавшего начали деловито обрабатывать кирзовыми сапожищами. Покряхтывали:

— Волк тебе товарищ! Свинья тебе брат!

Потом потащили нарушившего инструкции зека по полу к открытому солдатскому сортиру.

— Сунь его ряской в парашу! Пусть говна пожрет, трюксист!

Никиту через час, полуживого, швырнули обратно в камеру. Лицо, шея и грудь были в крови, глаза — раздутые пузыри, межножье тоже темное, мокрое — то ли кровь, то ли моча, не разберешь.

Тут же ему освободили нижние нары, положили на спину, вытерли тряпкой кровь, дали попить. Комкор не стонал, не понятно было даже, чувствует ли он боль. Несколько минут спустя он начал бормотать. Мишанин пригнулся, услышал что-то несуразное: «... от — Завгородина — двухдневный — паск — хлеба — пачка — махорки — от — Иванова — кочегара — шинель — от — Циммерман — папиросы — от — Путилиной — пара — сапог...» Мишанин почесал в башке — не этого ждешь от комкора в бреду.

Филолог шепнул биологу:

— Вот уж это, знаете, выше моего понимания. Никогда не думал, что наши будут прибегать к таким попыткам.

Биолог посмотрел на него, улыбнулся. Дожить до сороковки, угодить в Лефортово и все еще удивляться «нашим»!

— Да это и не пытки вовсе, мой дорогой, а «двадцать два метода активного следствия», как объяснил мне мой следователь. Ежовые рукавицы, смеялся он. Сейчас их опробывают на самых упорных, а потом и в массовое употребление пустят, на нас, грешных.

Филолог содрогнулся:

— Не знаю, как вы, а я и минуты не буду этого терпеть, подпишу все, что предъявят, пусть расстреливают!

Биолог с тоской посмотрел на коллегу из преподавательского состава МГУ:

— Есть вещи пострашней, чем собственный расстрел, мой дорогой.

Филолог ответил на это мало слышным, но страшным мычанием, будто челюсть ему разорвала ужасающая боль в корнях зубов. Нет-нет, расстрел, надюсь, будет только расстрел, ничего больше...

Из дальнего угла камеры послышался смех. Там вездесущий Мишанин рассказывал, как он сам сюда попал:

— По чистой лени, товарищи, я есмь жертва собственной лени. Никто не виноват, кроме моей собственной жопы, дорогие товарищи. Как так получилось, лапоть? Такая вещь, как лень, тебе, конечно, неизвестна? Ну, ладно, слушай, расскажу тебе историю простую, как Шекспир. Васька Лещинский... есть у меня такой дружок... Подвинься — я лягу. Взяли мы как-то с ним дюжину «жигулей», три чекушки и два мерзавчика «Московской особой», засиделись допоздна в гараже. О чем пиздели, точно не помню, ну, девчонки там, футбол «Спартак» — «Динамо», но только в один момент заспорили, кто из вождей лучше глядится. Я за Ворошилова мазу держу, а он за Кагановича, железного наркомма. Завелись по-страшному, стали друг дружку хватать, Сталина вспоминать все. Ночью, уже в квартирной койке, думаю: надо доложить на Васеньку Лещинского. А вылезать из-под одеяла неохота: тепло, пьяно, баба своя

под боком. Утром, думаю, перед сменой заскочу в органы, а утром как раз за мной и пришли. Васенька-то Лещинский оказался не такой ленивый...

Врал Мишанин или на самом деле друг его заложил, на которого он и сам хотел настучать, никого не интересовало. Важно было то, что всему чекистскому кошмару этот разбитной малый придавал какое-то бытовое, а стало быть, и несколько комическое выражение. Напряжение спадало, начинало казаться, что власть вольтинит, как подвыпивший управдом, но ничего, и до этих вольтинщиков кто-нибудь, скорее всего Сам, доберется, восстановит порядок.

Проваливаясь в обмороки, в бред и выныривая из них в столь бодрящую реальность, Никита услышал конец мишанинской «веселенькой истории» и тогда уже полностью очнулся. Может быть, и Вадим Вуйнович тогда, в Хабаровске, вот так же не поленился? Эта мысль, собственно говоря, мучила его с первой минуты ареста. Неужели Вадим? Неужели струсил и донес об им самим же спровоцированном разговоре? А может быть, даже и послан был для провокации? Нет, это невозможно, Вадим с его рыцарским кодексом чести — провокатор и стукач? Скорее уж себя самого заподозришь в чем угодно, но только не такого человека. А впрочем...

На допросах имя Вуйновича не всплывало ни разу. Осатаневшие от собственной жестокости следователи какой угодно вздор городили, придумывали одну за другой все более идиотские истории предательства и шпионажа, а вот единственный серьезный момент, реальный повод для обвинения и расстрела, тот разговор на балконе в глухой утренний час, разговор, в котором, по сути дела, речь шла о восстании, был следствию неведом. Или?.. Или к нему еще идут, хотят ошарашить доносом Вадима, именно этим сломить сопротивление?

Сегодняшний допрос начался с того, что они всем скопом набросились на него, просто терзали. Один стащил с себя пояс и хлестал пряжкой по лицу, плечам и

груди. Потом стали применять «методы активного следствия», из них самый свой любимый — закручивание в деревянные тиски мошонки и члена. Боль была не просто невыносимой, но как бы уже и несуществующей. Комкор бессознательно мальчишеским голосом смеялся и рыдал. Вдруг в узкой щелочке раскаленного пространства мелькнула Вероника, тот момент, когда она проводит пальцами по вот этому же раздутому задушенному члену. Потом доктор, их доктор, считал пульс и сказал, что можно продолжать. Они засунули его вниз головой в узкий ящик и ушли. Все исчезло, пропала всякая ориентировка в пространстве, он отправился умирать, но вдруг они вернулись, и голос доктора произнес: «На сегодня хватит».

Вот она наконец, моя расплата пришла, за Кронштадт, за Тамбов... Расплата за трусость, черт побери, за опаску додумать все до конца, за гипноз революции. Все мы были смельчаками только вместе, схваченные стадным инстинктом войны, стадной романтикой, наедине со своими мыслями каждый — трус. Так и возник нынешний сталинский гипноз. Вадим оказался смелее меня, он сам его преодолел. Отталкивая Вадима, знал ведь, что не остается никаких шансов, а все-таки дорожил своей шкурой: а вдруг пронесет? стыдно погибать в руках чекистской мрази. Лучше было бы в Кронштадте матросскую пулю поймать.

Как ни странно, но шансы на успех у вадимовского варианта были. Можно было бы разработать несколько тактических схем. По одной из них в Москву поездом направить батальон разведчиков. Армейские перевозки по железной дороге чрезвычайно запутанны, никто бы и не разобрался, что за часть и куда направляется. Батальон прибывает в Москву перед самой сессией Верховного Совета, берет Кремль и арестовывает Сталина. По другой схеме ударная группа прилетает в Москву тремя самолетами. При неудаче всех этих вариантов можно было все-таки попытаться бежать, поднять широкое восстание, освободить заключенных на Колыме и в При-

морье, попытаться восстановить Дальневосточную республику. Блюхеру предложить пост президента, если же откажется, даже и самому рискнуть или Вадима выдвинуть. Все великие сдвиги начинаются с нуля. Словом, надо было рисковать, а не ждать расправы...

Так иногда в промежутках между допросами думал комкор Градов и всякий раз в этих смелых мыслях своих доходил до точки, где вновь и вновь выскакивала мысль-предатель: а что, если Вадим был все-таки послан Чекой? Тогда все рушилось.

— Никита Борисович, вы не спите? — произнес прямо над ухом деликатный голос.

Никита с трудом повернул голову и увидел Колбасьева. Флаг-связист Балтфлота и в Лефортовской камере заведовал связью. Место его возле труб отопления было неприкосновенным. Круглые сутки он был на вахте — принимал и отправлял дальше послания, из всех недр узилища отстуканные по трубам тюремным телеграфом. Никита еще и на воле слышал о Колбасьеве, питерском интеллигенте и коллекционере джаза. Такой человек, конечно, не мог быть не замечен чекистской шваброй, вот он и был замечен. С одной стороны, в ужас приходишь от того, как они очищают страну от всего человечески ценного, а с другой стороны, есть все-таки и повод для гордости, все-таки делишь свою судьбу с такого сорта людьми, а не с мразью.

— На ваше имя телеграмма, Никита Борисович.

На лице Колбасьева тоже видны были кровоподтеки, следы допросов, но пресобладали большие, светлые, вечно любопытные глаза технического специалиста.

— По всей вероятности, пришла с третьего этажа через санблок. Вот послушайте. — Он снизил голос до полного минимума и зашептал комкору прямо в ухо: — Никите Градову от брата Кирилла. Видел тебя на лестнице. Я третьем этаже. Наши порядке. Вероника детьми приехала. Мое следствие окончено. Признал себя виновным. Не давай себя мучить. Подписывай все бумаги. Целую, люблю.

Никита не выдержал, разрыдался. Значит, и Кирка взят. Может быть, даже и Нинка. Трудно представить, что ей сойдет с рук связь с оппозицией, участие в троцкистской демонстрации. Могут взять и отца. Мысль о том, что с его близкими будут делать то, что делают с ним, была совершенно невыносима. Конец. Рушится наш мир. Все будет уничтожено, это ясно. Вдруг выплыло... из богохульника Маяковского: «Если правда, что есть ты, боже, боже мой, если звезд ковер тобою выткан...»

Камера притихла, впервые слыша то, чем на каждом допросе наслаждались следователи, необузданные детские рыдания железного комкора. Колбасьев сжал его руку. Никита ответил на рукопожатие, пробормотал: «Спасибо, Сергей Адамович». Он справился наконец с рыданием и даже чуть-чуть приподнялся, чуть привалился плечами к стене. «Хотите, я спою вам что-нибудь из Сиднея Беше?» — спросил флаг-связист. Он начал шепотом петь нечто пряное, синкопированное, с короткими взлетами барабанной дроби, которые он осуществлял ладонями по коленам; что-то на удивление знакомое.

— Что это за мелодия, Сергей Адамович?

— «The Yellow Bonnet», — ответил Колбасьев и продолжил пение.

Да, это же та самая песенка, что весь вечер вырывалась из граммофона, тринадцать, кажется, лет назад, да-да, в двадцать пятом, ну, конечно, в день рождения мамы, в Серебряном Бору, в тот вечер, когда Вадим увез отца в Солдатёнковскую больницу, в ночь смерти наркома Фрунзе. «Momma, buy me a yellow bonnet», — шепотом пел Колбасьев и потом выщелкивал брейки ладонями и языком. С этими мелодиями славный моряк так и пропадет навсегда и бесследно в каторжной слизи России, в испепеляющей стыни.

Совсем недавно Семен Савельевич Стройло получил серьезное повышение по службе и в звании, он стал стар-

шим следователем и старшим майором ГБ и перебрался во внушительный кабинет в святая святых, в самой Лубянке, чье имя наводит ужас на врагов революции во всем мире и на всех гадов внутри.

В таком кабинете бы — высокий лепной потолок с великолепной дворянской люстрой, два больших окна, открывающих вид на широкий размах Москвы от площади с новой станцией метро до башен Кремля, выглядывающих из-за теснения крыш Китай-города; в этих стенах бы — не оставляющие возражений бордовые обои, не ждущие никаких возражений портреты Ленина, Дзержинского, великого И.В.Сталина, картина Левитана «Над вечным покоем», эта грандиозная аллегория величия народного духа; за этим столом бы — тяжелый, крытый зеленым сукном, с медными углами, переживший все бури, — вот тут бы, при всем этом антураже, посетителей принимать, выслушивать просьбы, входить в обстоятельства. Увы, в условиях жестокого усиления классово-борьбы по мере продвижения к социализму приходится заниматься черновой работой, в частности, проверкой эффективности новых методов следствия.

Старшему майору ГБ Стройло подходило уже к сороковке, он стал статным, уверенным в себе командиром чекистов, вся эта комсомольская буза, известная нам по первым главам романа, а уж тем более папашины всякие пришепетывания и подхихикивания, все это давно уже испарилось. В настоящий момент мы застаем его у окна вместе с тремя младшими офицерами. Наслаждаясь небольшим перерывом в работе, они курили, обменивались еврейскими анекдотами, хохотали. «К Абраму прибегают: Абрам, Абрам, твоя жена изменяет тебе с нашим бухгалтером. С каким бухгалтером, бешено кричит Абрам, хватает что-то тяжелое. Ну, с таким высоким, черным, очкастым. Абрам с облегчением отмахивается: а-а, это не наш бухгалтер...»

Тем временем в середине кабинета на стуле сидел обвисший враг народа, лохмотья военной формы сви-

сали с его плеч и груди. С ним еще занимался молодой лейтенант. Взяв за подбородок, он отшвырнул голову зека назад и вверх так, что в разбитой и распухшей физиономии стало возможным опознать комполка Вуйновича. Лейтенант склонился прямо к его уху, прошептал со страданием в голосе:

— Брось свое дурацкое упрямство, Вуйнович! Признайся и отдохнешь. Неужели ты не понимаешь, что тебя тут обдерут, как кошку?

— Пошел на хуй, гаденыш, — с трудом ворочая языком и губами, проговорил Вуйнович.

Мгновенно вспыхнувшая ярость задула все признаки сочувствия. Ребром ладони лейтенант ударил узника по шее. Строило обернулся на звук удара, посмотрел на часы.

— Перекур окончен, ребята. Пора за работу.

Он уселся в соответствующее всему убранству кабинета кресло — в таком бы кресле с девочкой на коленях — и углубился в бумаги. Параллельно с наблюдением за тем, как проводится дознание, приходилось знакомиться с множеством уже закрытых дел — все ли инструкции соблюдены, в наличии ли все необходимые подписи: социалистическая законность должна быть на высоте. Остальные офицеры (это слово, прежде считавшееся позорной принадлежностью «беляков», теперь все чаще употреблялось) медленно приблизились к Вуйновичу. Четверо здоровенных мужланов окружили едва живого врага народа. Почему так много на одного? А потому, что в деле Вуйновича, присланном за ним еще из Туркестанского округа, была пометка: «Склонен к бунту».

Майор поводил горячей папиросой возле глаз подследственного, лениво протянул:

— Ну, давай продолжим, Вуйнович. Ладно, ладно, не будь таким букой, давай поговорим. Расскажи нам о твоих встречах с французским военным атташе. Кто тебя вывел на него, где это было, давно ли тебя завербовали?.. Ну, что, все забыл, да? Память опять

подводит? Вот беда, придется нам малость взбодрить твою память...

Вадима взяли прямо в расположении его части вскоре после возвращения с Дальнего Востока, так что он уже не мог видеть в газетах сообщение о разоблачении и аресте группы врагов, пробравшихся в командование Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, — маршала Блюхера, комкора Градова и других. Остатки наивности толкали к мысли, что, может быть, все-таки за дело взяли: ведь в течение последних месяцев несколько раз встречался со старыми однополчанами, почти впрямую вел с ними разговоры о возможном выступлении армии против НКВД. Как исключить возможность доноса: храбрейшие в прошлом вояки теперь боятся тележного скрипа. Гршил и на Никиту: уж очень тяжелым было в то утро молчание комкора в ответ на его недвусмысленный призыв. Кроме всего прочего, у Никиты есть основания не любить бывшего друга, оскорбившего его отца, вздыхавшего по его жене. Конечно, Никита — человек исключительной честности и гордости, и в прежние времена такая гнусная идея не могла бы прийти в голову, но нынче не прежние времена, нынче люди живут по принципу «пусть тебя сегодня, а меня завтра». Какой уж тут бунт, если жалкая чекистская халява среди бела дня приезжает в расположение воинской части и на глазах всего штаба и охраны забирает любимого командира?

На следствии сразу выяснилось, что НКВД ничего не знает о его недавних передвижениях и зондировании настроений в войсках. У них был собственный, бездарно сочиненный сценарий его преступной деятельности. Какие-то немислимые встречи с иностранными военными атташе, переговоры с агентами басмачей из-за афганского кордона, в целом — планы отрыва Туркестана от братской семьи народов, создание на его территории белогвардейского эмирата. Сопrotивление этому бреду казалось Вадиму бессмысленным, неуклю-

жим, унижительным делом, но не сопротивляться он не мог. Слава Богу, что не за дело, что тупым чекистам не приходит в голову провести настоящее расследование, но все-таки если бы хоть за дело принимать мучения!

В Ташкенте его лупили старым способом. Окружали втроем или вчетвером, начинали издевательский угрожающий допрос, потом орали, потом кто-нибудь, как бы не выдержав коварства и наглости врага, бил ногой или кулаком по уху, потом другой, третий, наконец, набрасывались всем скопом. Он знал такие способы допросов, видел их на «гражданке», да что греха таить, и сам пару раз принимал в них участие, когда в качестве командира конного взвода разведчиков привозил в штаб армии белых «языков». Вот теперь на своей шкуре знаешь, Вадим, каково было тем «языкам».

Впрочем, до «двадцати двух методов активного следствия» на Гражданской войне еще не додумались, а с ними комполка начал знакомиться, когда из Ташкента его перевезли на допрос в Москву, на Лубянку. Он и здесь упорствовал. Сегодня, очевидно, настал какой-то решающий момент, недаром допрос проводится не в обычной следственной комнате, а в этом начальственном кабинете, где за столом сидит какое-то неуловимо знакомое рыло в чекистских чинах. По всей видимости, сегодня они решили добиться от него желаемого любыми, самыми зверскими методами, ну, а если и сегодня не сломается, не подпишет бумаг, попросту отправить в подвал. От соседей по лубянской камере Вуйнович слышал, что упорствующих в конце концов отправляют на расстрел, а потом уж оформляют дела, как за благо рассудится.

Любое малейшее движение причиняло муку. Он поднял голову и обвел взглядом четырех следователей. Двое, майор и капитан, были знакомы по прежним допросам, они уже явно питали к нему какие-то свойские, едва ли не родственные, садистские чувства. Другие двое, лейтенанты, появились в его поле зрения только сегодня. Ну, а тот, что за столом, старший, тот как бы

непосредственного участия не принимает, погружен в более серьезные дела, но нет-нет да и глянет тяжелым глазом, и как только соприкасаешься с этим взглядом, немедленно понимаешь: все кончено.

Первая часть допроса прошла обычно: повтор idiotских вопросов о французах и басмачах, спорадические ошеломляющие удары по голове или в живот. Потом заплечники решили курнуть и вот сейчас приступили ко второй, более серьезной части «разговора». Майор щелкнул пальцами, лейтенант подвез металлический столик на колесиках, чем-то сродни хирургическому, только явно не стерильный. На нем лежали «следственные инструменты». При взгляде на столик Вадим содрогнулся. Два-три метода уже были на нем опробованы, но самое страшное было еще впереди. Не сдамся, не сдамся! В бою пусть убьют, ублюдки! Может, кто-то из них не выдержит, выстрелит, может, удастся завладеть пистолетом, может, к окнам пробьюсь, вырву решетку... Все это мгновенной бурей пронеслось в сознании, в следующую секунду комполка вскочил, ударом ноги перевернул «хирургический» столик, поднял над головой стул и начал его вращать, испуская дикий, несмысленный уже вой затравленного вконец зверя.

Старший майор ГБ Стройло, перекосившись, смотрел на эту сцену. На всякий случай расстегнул кобуру револьвера. Ну и зверь попался, ну и животное! Где-то я уже видел этого — он глянул в бумаги — Вуйновича. Ё-мое, а не на даче ли Градова в двадцатых годах? Из Никиткиных корешов, кажись, ну, тогда понятно: из них из всех белогвардейщина и тогда перла.

Кто-то из лейтенантов прыгнул сзади на плечи взбесившегося комполка. Перед падением на пол тот все-таки успел заехать стулом по башке майора. В конце концов четверо чекистов обратали этого полуживого бунтовщика. Ярости их не было конца. Они работали всеми конечностями, да еще и башки свои пускали в ход.

— Полегче, товарищи! — предупредил Стройло. Он понимал и сочувствовал своим коллегам. Поневомо-

ле озвереешь на этом участке работы. Что делать, временами в наших людях от соприкосновения с этой человеческой пакостью просыпаются какие-то парадоксальные эмоции. С ним самим недавно произошел малоприятный, если смотреть со стороны, эпизод. Вот так же при нем другая бригада допрашивала так называемую «старую большевичку», а на самом деле еврейскую гадину, продавшуюся давным-давно итальянским фашистам. Все шло своим чередом, пока вдруг дряхлая мразь не взбеленилась. Выступить начала: «Меня жандармы допрашивали, но никогда... жандармы никогда на женщину руки не поднимали! Белые никогда так, как вы!.. Никто никогда!..» Вдруг ее как бы осенило: «Только гестапо так, как вы! Гестаповцы! Гестаповцы!!» Тут вдруг что-то случилось со старшим майором ГБ Стройло, не смог удержать голову в холоде по заветам Феликса Эдмундовича, горячее сердце слишком взвырвало, и чистые руки малость запачкал. Рванулся, растолкал окружавших преступницу товарищей, швырнул старуху на кушетку, дернул юбку, зад заголил подлюге, вытащил свой добротный тяжелый ремень со звездой на пряжке и пошел гулять по дряхлым свалывшимся ягодицам. «Вот тебе, сука, твои встречи с Владимиром Ильичем, вот тебе, старая ведьма, Маркс и Энгельс и Готская программа!» — и так гулял, пока подлюга уже вопить не перестала и сам вдруг конвульсиями не пошел, такими мощнейшими конвульсиями с фонтанными исторжениями, как когда-то в незапамятные годы молодости иной раз получалось с профессорской дочкой; даже неловко потом было перед товарищами. Вдобавок ко всему невыносимый запах распространился по кабинету, и от старухи и от старшего майора самого. Нет, так дело не пойдет, друзья, нужно научиться выдержке, хотя и понять, конечно, нас всех можно: работаем с подонками рода человеческого, эксцессы неизбежны.

Чекисты защелкнули наручники на запястьях Вуйновича, связали ему ноги. Запрокинувшись, комполка

лежал на паркетном полу, над ним, перевернутая, парила картина Левитана «Над вечным покоем». Он вдруг острейшим и проникновеннейшим образом понял то, что пытался передать своими красками и чего не добился художник, то, что никакими красками, никакими словами, даже никакой музыкой не выразишь. Потрясенный этим пониманием, он забыл о своих муках и о чекистах, все забыл, чем жил, даже Веронику, о которой не забывал и тогда, когда о ней не помнил, единственное, чего он страстно пожелал, — сохранить мгновенное озарение, но оно после этого тут же ушло. Чекисты расстегивали ему штаны, вытаскивали хозяйство, приспособливали зажим к применению еще одного метода «активного следствия». Работали только трос. Четвертый, молодой лейтенант, блевал в углу, в раковину. Стройло сложил все свои папки в стол и закрыл на ключ. На поверхности осталось только дело Вуйновича, раскрытое на машинописной странице с отдельной строчкой внизу: «Заключение следствия признаю правильным». Здесь требовалась сущая чепуха, подпись подследственного, и из-за этой чепухи весь этот цирк и разыгрывался, с ревом, борьбой, с резким запахом недопереваренной лейтенантом пищи.

Уходя, Стройло сказал офицерам:

— Продолжайте, товарищи, не останавливайтесь, пока гад не подпишет.

Майор только глянул на него в ответ очень нехорошим взглядом.

Еще одно важное дело предстояло Стройло в этот день — осмотр новой экипировки в блоке, где приводилась в исполнение высшая мера пресечения преступной деятельности. Спустившись на один из подземных уровней Лубянки, он прошел системой коридоров к ничем не примечательным дверям, за которыми как раз и находился расстрельный блок. Осужденные на казнь, разумеется, доставлялись сюда другим путем, эта дверь предназначалась для персонала. За дверью все сверка-

ло свежей краской и чистотой. В комнате отдыха два сержанта играли в шашки. Тихо наигрывало радио — оперетта «Мадемуазель Нитуш». Пройдя метров пятнадцать по коридору, Стройло оказался в собственно производственных помещениях. Все здесь было выполнено на высшем уровне. Вот просторная комната ожидания для осужденных. Отсюда по одному они будут направляться в камеру казни и располагаться лицом к стене, затылком к стрелку, который находится в специальной кабинке. Процедура почти напоминает нечто медицинское, что-то вроде рентгеноскопии. За стеклом сидит помощник, он включает рубильником вмонтированный поблизости автомобильный двигатель для заглушения выстрелов и других нежелательных звуков, в частности пропагандных выкриков, перед которыми иные враги не останавливаются даже в последний час. Результаты работы, то есть тела, из камеры казни будут переправляться в транспортировочную комнату с пониженной температурой и там накапливаться до прибытия спецтранспорта. Транспорт подъезжает задним ходом к окну во внутреннем дворе. Из окна по наклонному желобу тела скользят прямо в кузов и затем уже транспортируются в соответствующем направлении. Осмотрев все эти помещения и приспособления, Стройло остался удовлетворен: даже и в этом деле ведь следует придерживаться современных гуманных норм.

Он уже покинул отремонтированный расстрельный блок, когда туда привели первую партию клиентов, дюжину мужчин, собранных из разных московских тюрем. Среди них был уже знакомый нам остряк Мишанин. Он так до конца и не понял серьезности происходящего с ним приключения.

— Неплохая банька, мужики! — бодрился он в комнате ожидания. — Раздеваться, что ли?

— Сидеть, не двигаться! — рявкнул на него конвойный.

Пришел дежурный офицер. Сержанты бросили свои шашки и пошли делом заниматься.

ГЛАВА XVIII

Рекомендую не рыдать!



Бабье лето ликовало над Серебряным Бором. Радостные глубинно-голубые небеса над золотыми, багряными и охристыми лиственными, как будто бы помолодевшими хвойными. Ласковый ветерок проходил через рощи, как бы успокаивая: все в порядке, все замечательно, несколько листочков сорвано, но это только лишь с эстетической целью, только для того, чтобы их полстом привнести в общую картину дополнительные гармонии. Чуть покачиваются паутинки, меж них бесцельно, опять же только для гармоний порхают свежие, только что вылупившиеся из обманутой куколки бабочки. Красота ненадежности.

— Или, впрочем, наоборот, — подумал вслух Леонид Валентинович Пулково.

— Ты о чем, Лё? — спросил Борис Никитич Градов.

— О красоте, — проговорил физик. — Надежна ли красота?

— С этим вопросом обратиться к нашей поэтессе, — улыбнулся Градов и тут же помрачнел, сразу же вспомнив, что из трех его детей двое в тюрьме и только одна дочка еще осталась на воле, только Нинка, к которой он и рекомендовал обратиться с вопросом о надежности красоты.

Два старых друга — на этот раз не только в смысле стажа дружбы, но и

вообще два старых уже, за шестьдесят, человека — стояли на высоком берегу Москвы-реки. По реке буксирчик тащил баржу с бочкотарой. Над рекой, высоко, призрачно, будто слепые, парили два длиннокрылых планера.

— Подумать только, вот так парить без всякого мотора. — Пулково из-под ладони смотрел на планеры. — Ты заметил, Бо, нынче у молодежи какос-то воздушное помешательство. Все эти планеры, аэростаты, парашюты... Откуда только смелость такая берется?

— Смелость нынче переселилась в небеса, — саркастически заметил Градов. — На земле ею и не пахнет.

— Может быть, старая смелость отмерла, а народилась новая, нам неведомая? — предположил физик.

— Если это так, то, значит, и с трусостью произошла какая-то кардинальная метаморфоза, — сказал хирург.

Они невесело посмеялись.

— Что-то мы с тобой расфилософствовались сегодня. — Градов повернулся спиной к реке. — Пошли дальше!

Опушка рощи над рекой издавна была любимым местом для пикников. Там и сям видны были следы воскресных пиршеств — пустые бутылки из-под портвейна, водки, пива, консервные банки, яичная скорлупа, обертки шоколадных конфет, даже кожица испанских апельсинов: голодуха в стране внезапно кончилась, магазины с каждым годом заполнялись все большим набором того, что по привычке голодных лет все еще именовалось словом «жратва». В траве и кустах видны были клочки газет, разрозненные буквы лишь кое-где собирались в более или менее осмысленный, и чаще всего страшный, текст: «Позор пре...», «...очь грязные ла...», «Суrowый приговор нар...»

— Загрязнение природы, — сказал Пулково. — Когда-нибудь это станет колоссальной проблемой.

— У нас в Серебряном Бору это уже колоссальная проблема, — буркнул Градов.

Они шли быстрым шагом по тропинке мимо дач. Как и в старые времена, энергично, до усталости мобилировались перед обедом.

— Впрочем, есть проблемы и поколоссальнее.

Градов глянул себе через плечо — никого — и показал тростью на одну из дач, мирные стекла которой отражали голубое небо и сосны, а также промельки сильно расплотившихся в округе белок.

— Видишь эту дачу, Лё? Помнишь такого Волкова, из Наркомтяжпрома? Неделю назад его взяли, а дачу поставили под сургуч, предполагается конфискация. А вот эта, с другой стороны, третья в ряду, здесь жили Ярченко, его ты определенно помнишь, крупный работник Наркомфина, хоть и из выдвиненцев, но ценнейший специалист, они у нас нередко бывали. После того как его взяли, семью выбросили в тот же день, дачу заколотили. Вот там, чуть в глубине, у пруда, — та же история: крупный партизц Трифионов, их Юрочка часто играл с нашим Митей в теннис и футбол... Серебряный Бор прочесывается еженощно. Похоже на то, что и моя очередь подходит. Чего еще ждать после ареста мальчиков?

Последние две фразы были произнесены с некоторой даже легкостью, не оставлявшей сомнения в том, что Борис Никитич только об аресте сейчас и думает. Да кто не думает об этом теперь, кроме меня, подумал Пулково. Только со мной происходит нечто странное, я совсем об этом не думаю в применении к себе, как будто меня не могут взять в любой день, тем более еще с моим багажом двадцатых годов, тем обыском, привозом на Лубу... Фатализмом это не назовешь, фаталисты только и думают о «фатум», а у меня лишь быт в голове, лишь мои эксперименты, доклады, мысли о поездке, о моих главных планах, будто никаких препятствий нет и быть не может. Странная, пожалуй, даже недостойная игра с самим собой...

Под ногами то похрустывали мелкие сухие веточки, то пружинила слежавшаяся хвоя. То и дело дорогу

перебегали белки. Над забором дачи финансиста Ярченко сидел на ветке большой самец белки. Мистер Белк, подумал про него Пулково. Пройдя мимо, он обернулся. Белк сидел со своей шишкой в классической позе и напоминал Ленина, углубившегося в газету «Правда». Леонид Валентинович заметил, что и Борис Никитич смотрит на белка.

— Ишь, каков, — пробормотал он. Они переглянулись и засмеялись.

— Послушай, Бо, попробуй не думать об аресте, — сказал Пулково. — Черт их знает, у меня иногда такое впечатление складывается, что они выдергивают людей наугад, без системы. Предугадать ничего невозможно, это просто как рой шальных пуль. Совсем необязательно, что одна из них попадет в тебя. Попробуй постоянно переключаться на другие дела, у тебя ведь их немало, а если об арестах, то только о мальчиках, как им помочь, о соседях, обо всех, кроме себя. Понимаешь? У меня почему-то это получается.

Пока он это говорил, Градов задумчиво смотрел себе под ноги, потом спокойно, без всякого надрыва, произнес:

— Может быть, ты думаешь, что я опять праздную труса? Как тогда, в двадцать пятом? Нет, сейчас этого нет...

Пулково глянул через плечо. Сзади не было никого, кроме большого белка, увлеченного своим делом.

— Ну, а кроме всего прочего, Бо, вожди стареют, им нужны врачи, а ведь ты считаешься там именно тем, кем являешься, — крупнейшим хирургом, да и вообще чудодеем, целителем. Ты просто нужен им!

Градов пожал плечами:

— Это вовсе не гарантия. Профессора Плетнева они тоже считали чудодеем-исцелителем, однако объявили отравителем Горького. Ребятам моим мое положение в кремлевской медицине пока ничем не помогло. Ты знаешь, Лё, в верхах происходит что-то чудовищное, какой-то критический перекося, какая-то злокачественная лей-

кемия... Третьего дня Александр Николаевич, ты знаешь, о ком я говорю, рассказал мне зловещую историю. Собственно говоря, он никогда бы мне ее не рассказал, если бы не графин Агашиной настойки, который мы с ним вдвоем усидели. Вдруг расплакался и начал выкладывать. Помнишь внезапную кончину Орджоникидзе? Александра Николаевича, когда это случилось, вызвали для подписания протокола. Вместе с шестью другими крупнейшими величинами, в самом деле замечательными врачами, как бы к ним по отдельности ни относиться, Александр Николаевич осматривал тело, и все они своими собственными глазами видели пулевое ранение в виске, и все они подписали заключение о том, что смерть наступила в результате паралича сердца. То есть, не произнеся ни слова возражения, сделали то, что от них потребовали. Никаких дополнительных вопросов не возникло, после чего их всех развезли по домам, предупредив, что они имели дело с важнейшей государственной тайной. Позволь мне тебя спросить, Лё, это что, тайна государства или... — Он остановил друга и прошептал ему прямо в ухо: — ...Или преступной шайки?

По коже Пулково поползли мурашки.

— Как же ты избежал этого, Бо? Должен признаться, что я и тогда был удивлен, не найдя твоего имени в синклите.

Градов, опустив голову и скрестив позади руки, пошел вперед.

— Понимаю, о чем ты говоришь, — сказал он. — Вот так получилось, тогда, в двадцать пятом, не избежал, а сейчас избежал. По правде говоря, это Мэри меня спасла. Завесила шторы, заперла кабинет, всем говорила по телефону и приезжающим: Бориса Никитича нет, он в Ленинграде или в Мурманске, точно на данный момент неизвестно. Конечно, если бы я был на консилиуме, я бы тоже подписал, в этом нет никаких сомнений, но... но я сейчас не об этом, Лё, не о нас, слабых и грешных... Впрочем, что там, никто не может сделать ничего...

Некоторое время они шли молча. Сквозь прозрачные вуали бабьего лета вдруг прошла струя резко холодного, то есть настоящего, ветра. Она взвихрила лесной мусорок на тропинке и реденький ковылек на головах двух друзей.

— Эх, Бо, дорогой ты мой Бо! — вдруг произнес Пулково, и Градов даже чуть споткнулся от удивления: такие эпитеты не были приняты в их полувекковой сдержанной дружбе. Леонид Валентинович тут же, конечно, понял, что нарушил стиль, как-то неловко переменил ногу, заговорил с какой-то чуть ли не мальчишеской небрежностью. Звучало это тоже не очень-то естественно, но в общем-то он понемногу выбирался из своего сентиментального ляпа. — Ты знаешь, я тебе всегда завидовал, что ты врач, что ты так здоровски... — даже устаревшее гимназическое словечко употребил, — так здоровски своим делом занимаешься и дело у тебя по-настоящему полезное, практическое, а я в бесконечных отвлеченных экспериментах погряз...

— А сейчас уже не завидуешь? — усмехнулся Борис Никитич.

— Сейчас я хотел бы, чтобы ты был физиком и работал со мной в одном институте.

— Это почему же? — изумился Градов.

— Потому что мне стало иногда казаться среди нынешней чумы, что моя наука дает какую-то странную гарантию. Пусть небольшую, ограниченную, но все-таки гарантию. Помнишь мой разговор с Менжинским десятилетней давности? Так вот, сейчас вопрос сверхоружия волнует их там в сто раз больше. Что-что, но разведка у них поставлена на широкую ногу...

— У кого «у них»? — спросил Градов.

— «У них» в смысле «у нас», — поправился Пулково и продолжил: — И разведка приносит все больше и больше информации об исследованиях в Великобритании, Германии и в Северо-Американских Штатах. Они просто ужасно боятся отстать от Запада. С моей точки зрения, бояться пока еще нечего, для производ-

ства атомного оружия нужно подойти к цепной реакции деления, для этого придется накопить колоссальное количество составных элементов, нужна, скажем, такая фантастическая вещь, как тяжелая вода, ну, в общем, об этом можно говорить часами, но... но если вдруг в исследованиях произойдет какой-то решительный поворот, а он не исключен, потому что там работают гении физики, тот же Эйнштейн, тот же Бор или хотя бы молодой американский парень Боб Оппенгеймер, тогда СССР может оказаться безоружным, и ему ничего не останется, как капитулировать!

— Страшно! — вскричал Градов. — Что ты такое говоришь, Лё? Что за ужас?!

Пулково как-то странно посмотрел на ужаснувшегося возможностью капитуляции СССР друга, улыбнулся и пожал плечами:

— Ну, это все из области теории, Бо, ты же понимаешь. Кто капитулирует, перед кем... сам черт ногу сломит в нынешней политической обстановке. Главное, что я хотел сказать: мы, физики атомного ядра, сейчас окружены колоссальной «отеческой заботой» партии. Нам в пять раз увеличили жалованье, осыпают привилегиями. Приезжают из ЦК, из НКВД, бродят в лабораториях, приговаривают: «Работайте спокойно, товарищи», едва ли не чешут за ухом. «Если есть какие-нибудь просьбы, пожелания, немедленно высказывайте». Можешь себе представить, мне даже разрешили двухмесячную командировку в Кембридж...

В этот момент Градов споткнулся уже основательно, ибо крутануло в голове.

— В Кембридж, Лё? Ты хочешь сказать, что едешь за границу, в Англию, Лё?

Пулково крепко взял его под руку:

— Да, Бо, я уезжаю через два дня, и это вот как раз то самое главное, что я хотел тебе сегодня сказать. Я не могу себе этого представить, Бо, мне стыдно, что я уезжаю в эти страшные дни, но ведь я двенадцать лет об этом и мечтать не смел! Увидеть их обоих!

— Их обоих, Лё? — Ошарашенный Градов едва ли мог продвигаться дальше. — Кого это «их обоих»?

Они сели на распиленные и приготовленные к вывозу бревна, и Лё поведал Бо свою сокровенную тайну. В 1925 году в Кембридже у него вдруг разгорелся роман с молодой немкой Клодисей, ассистенткой Резерфорда. Клодия, то есть по-нашему Клава. Удивительная девушка, научный потенциал на уровне Мари Склодовской-Кюри, а внешностью не уступала Мэри Пикфорд. Ей было в ту пору 25, а старому греховоднику, как ты, мой праведный однолетка и патриарх семьи, конечно, помнишь, было уж полвека.

Ничего прекрасней этого романа в моей жизни не случилось, Бо. Разница в возрасте придавала ему какой-то поворот, от которого мы оба сходили с ума. Мы съездили в Париж и жили там в дешевой гостинице в Латинском квартале. Мы как-то замечательно тогда с ней выпивали и танцевали. Общались на смеси ломаных языков, «осквернение лексики», как она говорила, но получалось замечательно. Потом мы еще съездили в осенний Брайтон, часами шатались там по пустынным пляжам, писали формулы на песке... Да что там говорить!

Он усхал и стал ее с грустью забывать, предполагая, что и она его с грустью забывает. Оказалось же, что он ей оставил весомый и все прибавляющий в весе сувенир. В 1926 она родила мальчика! Пулково узнал об этом случайно от одного общего друга, которому, собственно говоря, ничего не было известно об их романе. Он написал Клодии — ты помнишь еще те времена, можно было переписываться с заграницей — и спросил, разумеется, косвенно, не впрямую: не следует ли ему считать себя отцом ребенка? Она ответила, что именно он и является отцом, но это его ни к чему не обязывает, он может не волноваться, Александр — как понимаю, она специально выбрала такое международное имя — будет воспитан ею и ее родителями. Женщина удивительного такта и достоинства!

В 1927 году они обменялись несколькими письмами, он стал уже думать о заявлении на повторную командировку, но в это время началась слезка. Больше всего он боялся, что в ГПУ заговорят о его любимой и о сыне.

— Инкриминировать связь с иностранкой тогда еще не могли, все-таки нэп еще шел, но само упоминание их имен в этом учреждении наводило на меня ужас. Оказалось, что чекисты ничего не знали, иначе Менжинский, конечно, не упустил бы возможности хоть немного пошантажировать. Они и сейчас, конечно же, ничего не знают. Разве бы дали добро на поездку, если бы знали, что у меня в Англии семья? Собственно говоря, никто в мире об этом не знал до сего момента. Теперь знаешь ты, Бо. Уже в том же двадцать седьмом я написал ей последнее письмо и дал понять, что переписку следует прекратить. Зная ее, я представлял, что она следила за ситуацией в России и понимала, к чему у нас все идет. Вот так все эти годы и прошли. Иногда появлялся наш общий друг, он пользуется здесь репутацией «прогрессивного иностранца» и в друзьях у него не только мы, но и весь СССР, передавал от нее приветы. От него я узнал, что ее родители эмигрировали из Германии — у них в родословной есть евреи — и сейчас они живут все вместе под Лондоном, то есть Сашино детство проходит в семье, среди любящих людей. В прошлом году этот друг привез мне от нее журнал с текстом ее выступления на семинаре по элементарным частицам, но самое главное содержалось не в выступлении, а в... вот, Бо, смотри...

Страшно волнуясь, Пулково вытащил из кармана плаща свернутый вдвое выпуск научного журнала. Там среди убористых текстов, формул и диаграмм имелась небольшая фотография «Группа участников семинара на вилле Грейс Фонтэн». Персон около десяти ученых расположились в плетеной мебели на типичной английской лужайке. Среди них была одна женщина. Сходства с Мэри Пикфорд Борис Никитич в ней не нашел,

но, парадоксально, нашел что-то общее со своей Мэри в молодые годы. Самое же потрясающее состояло в том, что на заднем плане, возле террасы, можно было различить мальчика лет десяти и даже заметить у него под ногой футбольный мяч.

— Это он, — едва ли не задыхаясь, прошептал Леонид Валентинович. — Уверен, что это Саша. Ему столько же лет, сколько Борису Четвертому. Конечно же, для того она и послала этот журнал, чтобы я увидел сына. Посмотри, Бо, ты видишь, какой мальчик, волосы на подбор, носик кругленький, вся фигура... Ну, что скажешь?..

— Он действительно на тебя похож, — произнес Градов то, чего от него так страстно жаждал услышать Пулково.

Старый физик мгновенно просиял. Даже и в студенческие романтические годы Градов никогда не видел своего друга в таком коловороте эмоций. Он и сам неслыханно волновался. Этот Пулково, от него всегда ждешь неожиданностей, но такое! Завести себе семью в Англии, ну, знаете ли!

— Знаешь, у меня в кабинете есть великолепная лупа, — сказал он. — Сейчас мы рассмотрим твоего Сашу.

Они встали. Некоторое время шли в молчании. Показались уже крыша и мансардные окна градовской дачи. Борис Никитич вдруг остановился и заговорил, не глядя на Пулково:

— Как я понимаю, мы больше уже никогда не увидимся... во всяком случае, в этой жизни. Я хочу тебе сейчас сказать, Леонид, только одну, может быть, самую серьезную в моей жизни вещь. Мы с тобой никогда не говорили напрямую о событиях двадцать пятого года, об операции наркома Фрунзе. Так вот, невзирая ни на что, я остался и всегда остаюсь честным врачом. Понимаешь? Таким же русским врачом, какими были мой отец и дед...

Безупречный и сдержанный денди, профессор физики, после этих слов резко обнял Бориса Никитича и затрясся в рыданиях. Он бормотал:

— Бо, любимый... мой единственный друг... мой ближайший...

При большом пристрастии к словечку «мы» советская интеллигенция часто попадала впросак. Не скажешь ведь «мы проводим чистки», если самого тебя вычищают, «мы боремся с так называемыми врагами народа», если ты вдруг и сам оказываешься так называемым врагом. В последние дни Борис Никитич на теме «мы — они» почему-то заклинился. Относя себя с полным правом к «старорежимщикам», он обычно употреблял «они» по отношению к власти, но вдруг вот в разговоре с Пулковом резануло, когда тот сказал: «Что-что, а разведка у них»... Чисто логическое недоразумение — у кого это «у них», у Запада, что ли, или у нас, у СССР? Ага, тут дело не только в логике, ты уже отождествляешь себя с этим государством. На тебе уже сказалась их оглушающая тотальность. Ты уже и ворчишь, даже и яростью пыласшь в адрес «нас», а не в «их» адрес. Позвольте, говоря «мы», я имсю в виду не режим, даже не государство, но общество, Россию, в конце концов. Однако припомни, говорил ли ты так когда-нибудь при старом режиме, при «гнилом либерале» Николае Романове? Ты всегда отделял «их» — царя, охранку, чиновников. Здесь же, признайся, произнося «мы», ты подсознательно включаешь сюда все, и, может быть в первую очередь, Сталина, Политбюро, Чку, хоть и терпеть их всех не можешь...

В отчаянии он думал: ну как же я могу говорить «мы» и включать в это понятие тех, кто арестовал моих мальчиков? В ужасе он представлял своих ребят в чекистской тюрьме. В городе ходят глухие слухи, что там применяются страшные пытки. Нет, все-таки это уж чресчур, у нас этого быть не может; «у нас»...

Сам он давно уже приготовился. Втайне от Мэри собрал себе чемоданчик «на отправку» — смену белья, свитер, умывальные принадлежности, — спрятал его в нижнем ящике стола в кабинете. В Первом медицин-

ском, где у него была кафедра, уже прошла серия арестов. Брали пока из второго эшелона. То же самое происходило в Военно-медицинской академии. Ведущие профессора пока что не пострадали, но все ждали, что скоро и до них дойдет очередь.

— Ждете, батенька? — спросил его на днях старый Ланг. — Что касается меня, то я только лишь гадаю, куда раньше отправлюсь — на Лубянку или в более отдаленные пределы, куда они уже не доберутся.

Самое мучительное было дело — смотреть на Мэри. За несколько месяцев она постарела на десять лет, забыты уже были гордые позы, бурные выходы, стакато эмоций, давно уже она не прикасалась к роялю. Было видно, что она ежечасно, ежеминутно думает о Никите, о Кирилле, о внуках, о разрушающемся очаге, которым обычно так гордилась. Волна какой-то решительности иногда проходила по ее лицу, сменяясь выражением беспомощности и простоватости, которое Борис Никитич так обожал.

Дом погрузился в оцепенение. Даже старенький, хоть вполне еще мощный Пифагор реже увязывался за мальчишками в сад, предпочитая сидеть рядом с Мэри или, по крайней мере, на кухне возле Агаши. Последняя не заводила больше тесто для своих сокрушительных, всеми столь любимых пирожков, и даже банки с вареньями и соленьями на зиму закатывала без прежнего энтузиазма. Слабопетуховский, успевший за это время жениться на дочери начальника управления милиции и обзавестись даже детками, дружбы с Агафьей и ее граненым графинчиком не прекратил. Часто он являлся теперь сумрачный, сидел на кухне, сообщал Агаше, что в «сферах» о градовской даче говорят нехорошее, уже как бы прикидывают, как сию распорядиться в недалекое будущее.

— Что же ты посоветуешь, Слабопетуховский, что же посоветуешь? — отчаянно вопрошала Агаша.

— Нечего тут советовать, — сумрачно отвечал Слабопетуховский. — Моя информация на них сейчас не

влияет. Сходите в церковь, свечку поставьте, вот и весь совет.

Вероника после нескольких недель полупрострации стала понемногу приходить в себя. Каждые два дня она отпраплялась на Лубянку навести справки о муже. Всякий раз она получала один и тот же ответ: «Следствие продолжается, передачи и свидания не разрешены». Очереди к этим окошечкам, за которыми сидели энкавэдэшные люди-автоматы, были невыносимы. Широколицые, мыльного цвета, не поймешь какого пола люди-автоматы. Никогда не знаешь, есть ли у него на самом деле какие-нибудь сведения или просто так отбрасывается. Никакие улыбки на них не действуют, как будто оскопленные там сидят.

Что касается более широких слоев мужского населения Москвы, то они, несмотря ни на что, как и раньше не оставались равнодушными к явлениям Вероники. Иные представители так просто вздрагивали при виде ее, как будто к ним приближалась воплощенная мечта жизни. При всем трагизме своего положения, Вероника не разучилась наслаждаться любимой столицей. Пройтись по Кузнецкому, по Петровским линиям, «произвести впечатление» — в этом всегда было «нечто», и сейчас в этом осталось «нечто». Никита это прекрасно понимал и никогда не упускал возможности взять свою любимую с собой в командировку, в Москву. Уж он-то знал, что она не из дешевых, и если иногда позволяет себе кокетничать с мужчинами своего круга, то никогда на дешевые трюки не пойдет. Мужчин «своего круга» она и сейчас безошибочно угадывала в московской толпе и даже позволяла иным из них приближаться. Увы, как только они узнавали, что она жена того самого комкора Градова, их тут же как ветром сдувало. Однажды даже знаменитый и бесстрашный пилот Валерий Чкалов предложил подвезти ее в своей машине до Серебряного Бора, однако, узнав, кто она такая, тут же позорно засуетился, заторопился куда-то и пересадил ее на трамвай. То же самое происходило и на тен-

нисном корте. Едва она появлялась, как все ее старые партнеры начинали безумно торопиться.

Мужчины в этой стране вырождаются, некому будет воевать.

Может быть, и в самом деле рискованно было сыграть с ней пару сетов на серебряноборском корте? Вот, например, член Инюрколлегии Морковьев осмелился, элегантно продулся и на следующий день исчез. Впрочем, часть партнеров и без ее вмешательства давно уже отправилась в места не столь отдаленные.

Что же, всех храбрых и честных пересажают, кто же будет воевать против империализма?

Вероника стала больше времени проводить с детьми, особенно с Верочкой, нежнейшим Божьим созданием, собирательницей гербария и неутомимой рисовальщицей. С Борей трудно было проводить больше времени, потому что он ей этого времени не давал, после уроков вечно застревал в школе, в каких-то авиамодельных кружках, или вдвоем с Митсей отправлялся на стадион.

В школе с ним сначала были неприятности. Однажды мерзкая училка математики стала его при всех распекать за плохо сделанные домашние уроки, за списанную у соседа по парте задачку и вдруг возопила, направив на одиннадцатилетнего мальчика карающий перст: «Теперь всем нам видно: каков отец, таков и сын! Яблоко от яблони недалеко падает!»

Борис IV пришел домой, захлебываясь от яростных слез. Вероника рванулась в школу забрать его документы. Директор, однако, убедил ее не делать этого: Борю все любят, он прекрасный футболист, давайте забудем этот плачевный эпизод, наш сотрудник перестарался, ведь сам товарищ Сталин подчеркивал, что «сын за отца не ответчик», давайте просто переведем Бориса в параллельный класс. Впервые в глазах постороннего человека Вероника прочла почти неприкрытое сочувствие. Трудно было удержаться от слез.

Словом, Боренька продолжал ходить в пятый класс той же школы на Хорошевском шоссе, где в седьмом

классе обучался его ближайший друг и приемный кузен Митя, бывший Сапунов, почти уже забывший свою первородную фамилию в градовском клане. Несмотря на разницу в возрасте, мальчики были едва ли не неразлучны, вместе по авиамodelям, вместе на велосипедах, вместе на корте в ожидании сумерек, в ожидании, когда взрослые игроки разойдутся, чтобы успеть перекинуться хотя бы десяток раз почти уже невидимым мячом. «Игроки сумеречного класса», — иронически называл их, да и себя самого, еще один их приятель и бывший сосед Юра Трифонов.

— Вот подрастем, Борька, и тогда мы им покажем, гадам, — однажды сказал Митя, прервав разыгрывание этюда Капабланки. Борис IV немного огорчился: он думал, что выигрывает, а оказалось, Митя думает совсем о другом.

— Кому? — спросил он.

— Коммунистам и чекистам, — твердо сказал Митя. — Тем, которые наших батек загубили. Ух, как я их ненавижу!

— А Сталина? — тихо спросил Борис IV.

— Сталин тут ни при чем. Он ничего не знает об их делах, — уверенно рубил Митя. — Он великий вождь, вождь всего мира, понимаешь? Он не может знать обо всем. Его обманывают!

Их школа участвовала в ноябрьской демонстрации, и они вдвоем шли в рядах авиакружка, несли над головами свои модели. С приближением к Красной площади обоих мальчиков охватывало все большее, почти ошеломляющее волнение, а когда появился Мавзолей и на нем отчетливо видное ярко-серое пятно Сталина в шинели, немислимый триумф, ликование, какое-то запредельное счастье охватило их и слило воедино с многотысячной ликующей толпой. Он там, он на месте, в главной точке страны, а значит, все будет в порядке, отцы вернутся, и справедливость будет восстановлена! Вот сейчас прикажи он мне умереть на месте, думал Борис IV, и не колеблясь — на пулеметы, на ко-

лючую проволоку, с торпедой под водой взрывать фашистский линкор! И с Митей, бывшим кулацким отродьем, творилось что-то похожее.

— Вот погоди, погоди, Борька, — шептал он, — вот вырастем и дадим Сталину знать, кто ему друг, а кто враг на самом деле!

Митя давно уже считал себя неотъемлемым членом градовской семьи и, в глубине души, матерью своей полагал Мэри Вахтанговну, а не взбалмошную, неряшливую Цецилию, свою, так сказать, мать по закону. После ареста Кирилла Цецилия как-то стремительно опустилась, перестала даже причесываться, стирать рубашки, частенько от нее как-то резко и отталкивающе пахивало, и это был запах беды, неизбежного горя и распада. Для Мити было сущей мукой бывать «дома», то есть в их маленькой комнатенке, коммунальной норе на пятом этаже так называемого Народного дома на Варварке, где эта женщина часами сидела за книгами, не произносила ни слова и вдруг начинала тихонько всхлипывать и скулить, глядя невидящими глазами на свой любимый бюстик Карла Маркса, что стоял у стены прямо под картой мира, кудрявой головой как бы подпирая ледяную подушку Антарктиды. Потом вдруг она вскакивала.

— Почему, почему ты все время хочешь туда? Ты мой сын, ты должен быть со мной! Ты голоден? Хочешь, сварю тебе суп?!

Она бросалась на коммунальную кухню разжигать примус, ломала спички, бестолково качала керосин, ничего не получалось, обжигала себе руки. Соседи грубо хохотали над гримасами «еврейки», Митя упрашивал:

— Тетя Цилия, не надо мне супа. Дай лучше денег, я булку куплю и ливерной колбасы.

Супы Цецилии — опусы абсурда. Дед Наум, ее отец, пожимал плечами: «У нашей Цильки — взрослый ребенок? Это же парадокс века». Наконец приезжала Мэри, одна или с дедом Бо, и Митя отправлялся в свои родные края, где по ночам над большим и теплым домом раска-

чивались и гудели сосны, где бродил любезный друг Пифагор, где по утрам так радостно пахло свежими творожниками, где, наконец, был Борька IV, появившийся на свет, как все здесь говорили, для возобновления династии.

Кажется, именно Митя первый увидел, как подъехала к их воротам «эмка» с туго задернутыми шторами в боковых окнах. Он сам не знал, что его разбудило среди ночи. Был сильный ветер, сосны шумели, и вряд ли мотор легкового автомобиля был различим сквозь этот гул. Он глянул в окно и увидел, как в качающееся световое пятно фонаря въезжает кургузая каретка и останавливается прямо напротив их ворот.

Впрочем, может быть, и не Митя первым увидел чекистскую машину, а сам дед Бо, которого уже несколько ночей кряду мучила бессонница.

— Вот они, приехали, — прошептал он, как ему потом казалось, даже с облегчением и стал влезать в халат, чтобы открыть дверь долгожданным гостям. Мэри уже стояла за его спиной, как будто тоже не спала, а ждала.

Из машины не торопясь выгружалась ночная команда: мужчина в военной фуражке и в штатском пальто, надетом на форму, женщина в кожаном пальто и в мужской, хотя и по-дамски заломленной, кепке, младший командир со служебной овчаркой на поводке.

— Господи, собака-то зачем, чего вынюхивать, — пробормотал Градов.

Младший командир знающим жестом просунул руку через штaketник, оттянул щеколду калитки, пустил собаку и проследовал за ней. Мужчина и женщина прошли вслед.

Не торопясь, они приближались, в точности как персонажи кошмара. Собака не отвлекалась на запахи леса, которые вскружили бы голову любому нормальному псу.

Борис Никитич обнял жену:

— Ну, вот видишь, и за мной все-таки приехали.

Урожденная Гудиашвили вспыхнула и затряслась в последней грузинской отчаянной ярости.

— Я не пушу их в мой дом! Иди, звони Калинину, Сталину, хоть черту лысому!

Борис Никитич поцеловал ее в щечку, погладил по плечу:

— Перестань, Мэри, милая! Судьбу не обманешь. В конце концов врачи и там нужны. Глядишь, и выдюжим. Если не будет конфискации, постарайся поскорее продать дачу и пересехать к Галактиону, в Тифлис. А сейчас... там в кабинете, маленький баульчик... я приготовил на этот случай...

Трясучка оставила Мэри. Сгорбившись, она отшатнулась от мужа и прошептала:

— Я давно уже знала про этот баульчик и еще шерстяные носки тебе туда положила...

Внизу уже звонили в дверь, один раз, другой, третий, потом послышался резкий наглый стук кулаком и сапогом, крики: «Открывайте! Открывайте двери немедленно!» Градовский дом в панике просыпался. Залаял Пифагор, прошелестела Агаша, прогрохотали сверху ребята. Борис Никитич решительно прошел к дверям, еще в халате, но уже в брюках и ботинках.

— Кто же это, Борюшка, в такой-то час? — прошептала Агаша. — Али на операцию тебя опять потащут?

Он открыл дверь и поразился выразительности открывшихся перед ним лиц. Что угодно было в них, но только не безучастность. Казалось, что они еле сдерживаются, чтобы не завизжать от упоения жизнью. Это были не просто специалисты ночного дела, но явные энтузиасты и большие ценители своей неукоснительной и безжалостной власти. Единственным бесстрастным профессионалом в группе была сука одной с Пифагором породы, и, только глянув на нее, старый пес заскулил в тоске и, пятясь, стал отползать назад, пока не забрался в кухне под кушетку.

— Мы из НКВД, — сказал старшой в пальто. — У нас ордер на арест...

— Входите, — быстро проговорил Градов. — Я готов.

Много раз прорепетировав в уме эту сцену, он решил не выказывать никаких эмоций, как будто не с людьми имеет дело. Даже презрения к себе они от него не увидят. Как будто роботы-могильщики явились, а не живые существа.

Старшой усмехнулся. Он, очевидно, сталкивался и с такими, стойкими. Он был явно не робот. Ему нравилось смотреть, как кривляются беспомощные человеки, заподозренные в грязнейшем сифилисе — государственной измене.

Группа прошла внутрь. Старшой быстро оглядел всех присутствующих. Повернулся к Борису Никитичу и снова усмехнулся с каким-то возмутительнейшим презрением:

— Не беспокойтесь, профессор Градов. Мы не за вами. У нас ордер на арест гражданки Градовой Вероники Александровны, вашей невестки.

— Мамочка! Мамочка! — совсем по-детски закричал Борис IV. Вероника, только еще спускавшаяся по лестнице и завязывающая халат, разом села на ступени, уронила руки и голову.

— Вай! — на грузинский манер воскликнула Мэри и бросилась к Веронике.

Заплакала проснувшаяся в маминой спальне Верулька. Запричитала Агаша. Плечи Вероники содрогнулись. Слышались какие-то странные, басовитые, казалось бы, совершенно не присущие ей рыдания.

Чекистка в кожанке вышла вперед и голосом опытного режиссера подобных действий возгласила:

— Всем проживающим на данной жилплощади надлежит собраться внизу, в столовой. Рекомендую не рыдать! Москва слезам не верит. Сейчас придут понятия, и начнем обыск.

Чекист с собакой криво улыбнулся Агаше:

— По-буржуйски тут живете, я погляжу! — Он заглянул под кушетку на съжившегося Пифагора. — Жи-

вотное свое заприте где-нибудь в чулане, а то может и неприятность произойти. — Он выразительно похлопал по кобуре пистолета.

Борис Никитич был совершеннейшим образом ошеломлен и потрясен. Ни малейшей, даже самой подсознательной радости от того, что «не за ним», а за кем-то другим, от того, что остался на свободе, он не испытывал. В отличие, надо сказать, от Мэри, которая потом бесконечно казнилась, что в первом ее «вай», наверно, слышалась произвольная радость, все-таки ее самого близкого человека вдруг миновала чаша сия, в отличие от нее он был просто уничтожен таким поворотом. Удар, которого он столько ждал и был готов принять как мужчина, как деятель науки — твердой походкой русского врача по мученической тропе, пока не упаду, — этот удар вдруг направили на беззащитное, нежное существо, на ни в чем не повинную — как будто сам-то он в чем-то действительно был повинен — женщину! Тут уж ни о какой сдержанности, даже в адрес этих подлых роботов, речи быть не могло, он клокотал от ярости.

— На каком основании вы забираете не меня, а беззащитную женщину?! — вдруг закричал он на старшего.

Старшой сел к обеденному столу, разложил перед собой бумаги, нехорошо глянул на дрожащего старика.

— Вы бы лучше на нас голос не повышали, профессор. Ваша невестка проходит как соучастница по делу вашего сына Градова Никиты Борисовича. Давайте к делу. С какого времени проживает с вами гражданка Градова Вероника?

Пришли в сопровождении милиционера понятые. Ими оказались киоскерша с трамвайного кольца и... не кто иной, как товарищ Слабопетуховский. У последнего на лице мрачно уже отразились все превратности его жизни. Весь обыск он молча просидел в углу, словно истукан с островов Пасхи.

На всю процедуру задержания ушло часа два-три. Поскольку гражданка Градова В.А. проживала не от-

дельно, а как бы во всем этом доме, обыску подлежал весь дом, однако идиотский этот обыск был проведен только лишь для формы. Сержант со служебной собакой прошел для чего-то по всем комнатам. Собака явно не понимала, чего от нее хотят, нервничала, то приседала на лапы, тормозила без причины, то куда-то бессмысленно устремлялась. Чекистская баба прошуровала библиотеку, опять же ничего относящегося к делу не нашла, кроме каких-то фотоальбомов, где молодой Никита попался на снимках в компании с другими командирами РККА.

— Не смейте трогать! — закричала Мэри Вахтанговна. — Это наши! Это не ее и не его альбомы! Наши! Мои и мужа, заслуженного врача РСФСР, трижды орденоносца! Руки прочь!

Перекосившись как бы от брезгливости, чекистка швырнула ей альбомы назад, но затем взялась уже за дело основательно: составлялась опись личного имущества Вероники, то есть ее туалетов, совершивших немалый путь по дорогам двадцатого века из парижских магазинов в московские комиссионки, оттуда — на дальние рубежи социалистической державы и обратно в Москву в полной готовности снова повиснуть на комиссионных плечиках. Здесь были вещи, вызывавшие ярость чекистской бабы: шифоны, крепдешины, меховая шуба, теннисные ракетки, флаконы французских духов. Будь ее воля, за одни уже эти вещи поставила бы эту дамочку к стенке, сперва, конечно, как следует пропустив через ребят и девчат. В добавление к «шмотью» тут были опять же личные Вероникины фотоальбомы, пачки писем — какого черта они эти старые письма, да еще с засушенными крымскими цветочками, хранят? — ну и самое главное: сберкнижка и аккредитивы на изрядную сумму.

Старшой все это хозяйство аккуратно переписал.

— Вопрос о личном имуществе будет решен позднее, пока что мы концентрируем все это в комнате задержанной и комнату эту печатаваем.

При слове «опечатываем» у Бориса IV расширились глаза. Он поймал себя на том, что процедура растапливания сургуча и пришлепывания пломбы с печатью вызывает у него жгучее любопытство.

Вообще следует сказать, что все события последнего времени, аресты отца и дяди и вот теперь — матери, то есть катастрофический развал семьи, вызывали не только горе и уныние в душе мальчика, но и какое-то странное возбуждение, острейшее чувство новизны жизни. Он иной раз воображал уже себя отпетым бродягой, тертым пареньком, вроде героя Джека Лондона, что подался к устричным пиратам и промышлял с ними в заливе Сан-Франциско.

Вдруг он вздрогнул, услышав свое имя, произнесенное каким-то невероятным образом самим командиром отряда, хранителем сургуча.

— Градовы Борис Никитич, одиннадцати лет, и сестра его Вера Никитична, шести лет, временно, до особого распоряжения, остаются под опекой деда и бабки. Вот здесь распишитесь, профессор.

— Что значит «временно»?! — вскричала Мэри, как раненая орлица. — Что значит «до особого распоряжения»?! Они всегда останутся с нами! До конца наших дней!

— Этот вопрос будет рассматриваться, — сказал старшой. — Не исключено, что государство возьмет их под свою опеку.

— Через мой труп! — возопила Мэри.

— Ты... — сказал старшой и внимательно посмотрел на нее, как бы давая понять, что при таких нервах у гражданки вполне возможен и названный ею вариант.

— Мэричка, успокойся! — Профессор обнял жену. — Детей мы им не отдадим ни в коем случае. Завтра же подаем заявление об усыновлении Бобки и удочерении Верули.

— Гы-ы-ы, — вдруг обнажил зубы проводник служебной собаки.

— В чем дело, Епифанов? — строго повернулся к нему старшой.

— Да так, товарищ майор. Просто подумал, что ребята-то будут не «Никитичи», а «Борисычи»...

— Ну, все, — сказал старшой. — Прощайтесь с родственниками, Вероника Александровна! — Он встал и вдруг поймал на себе взгляд подростка Дмитрия Кирилловича Градова, бывшего Сапунова, 1923 года рождения, взгляд, полный окончательной, непримиримой ни при каких обстоятельствах ненависти. Вот такие будут нас убивать, если что. Вот такие нас будут кончать всех до последнего младшего чина.

Мэри и Вероника слились в объятиях и залились слезами. Да неужели же когда-то существовало соперничество между двумя этими женщинами?

— Вероника моя, ласточка моя, голубушка моя...

— Ну, хватит сюсюкать, — сказала чекистская баба. — Пакости делать не сюсюкают, а сейчас рассюсюкались!

Вероника вытерла слезы и вдруг предстала перед всеми в совсем неожиданном, строгом и собранном образе.

— До свидания, дети, не бойтесь ничего. Вокруг не только звери, есть и люди. Боба, присматривай за Верулей. Митя, я тебя прошу позаботиться о моих детях. Дети, слушайте и берегите бабушку и дедушку. До свидания, Мэричка, родная. До свидания, милый Бо. Передайте мой поцелуй Нинке, Савве и Леночке. Подготовьте к новости моих родителей. До свидания, Агашенька, всегда тебя буду помнить. Будьте здоровы и вы, Слабопетуховский!

— Будьте здоровы, дорогая и любимая Вероника Александровна! — твердо вдруг произнес Слабопетуховский. Grimаса прошла по его лицу, словно трещина по камню.





ГЛАВА XIX

«Мне Тифлис горбатый снится»

В Серебряном Бору еще царило оцепенение и разброд после страшной ночи, когда в квартире одного маленького счастливого семейства в центре Москвы протрещал будильник. Глава семьи, свежеепеченный профессор и доктор наук тридцатичетырехлетний Савва Китайгородский, привычно протянул мускулистую руку и прижал колокольчик, чтобы не разбудил раньше времени жену и дочь. Тут только он заметил, что лежит в постели один, в полуоткрытую дверь увидел, что Нина в майке «Спартака» и в байковых шароварах копошится на кухне. Он счастливо и с хрустом потянулся. Поваляюсь еще минут десять, а если и опоздаю сегодня на полчаса, ничего не случится: профессор может себе позволить. Нинка, по всей вероятности, возится со своей «стенной печатью», сочиняет свои «хохмы». «Хохма», то есть шутка, была самым модным московским словечком, совсем недавно приплывшим в столицу из Одессы-мамы под парусами Леонида Утесова и «южной школы прозы». Все только и говорили: «хохма». Ну, есть новые «хохмы»? Вот так «хохма»! Прекрати свои «хохмы»!

Семейство Китайгородских принадлежало к совсем небольшому числу московских счастливцев, обладавших отдельной квартирой, а не комнатой в

коммуналке. Один из пациентов Саввы, работник Мосгорисполкома, причем даже не крупный, а из среднего звена, в благодарность за успешную операцию так все это спроворил, по такому каналу сумел направить Саввино заявление, что в результате два года назад они получили однокомнатную квартиру в десятиэтажном, русского модерна доме по Большому Гнездниковскому переулку. Дом этот был уникален. Построенный незадолго до Первой мировой войны, он был похож скорее на отель, чем на обычный квартирный дом. Все дело в том, что он нацелен был на холостяков, молодых московских интеллигентов-профессионалов: юристов, дантистов, служащих банков и прочая. Каждая квартира в нем, или, как их иногда называли, «студия», состояла из одной, довольно большой комнаты с прекрасным широким окном, кухни и ванной (sic!). Нынче, конечно, какие уж там холостяки, все квартирки были забиты семьями, иной раз многолюдными и разветвленными, но больше одной семьи не вселяли, и потому все тут были счастливы и гордились — живем в отдельных квартирах! В доме до сих пор надежно функционировали лифты и имелась замечательная, обширная, выложенная кафелем крыша, задуманная для прогулок молодых холостяков, погруженных в мысли о своих профессиях, о символистской поэзии, о дивидендах фондовой биржи, а главным образом о девицах. Нынче на крыше, разумеется, играли дети. Высокие стальные решетки, предотвращавшие дореволюционных холостяков от излишнего символизма, ныне надежно предотвращали детей от излишнего подражания стальной авиации.

Телефонов в квартирах не было, но зато — по счастливой иронии судьбы — весь десятый перестроенный этаж занимало гнусное издательство «Советский писатель», и Нина могла в любой момент забежать к какой-нибудь подружке в кабинет и «брякнуть» оттуда.

Да и до «Труженицы» было буквально две минуты хода — направо на улицу Горького, через нее и еще

раз направо, за углом на Пушкинскую, вот и все. Нина продолжала сотрудничать в «Труженице», несмотря на то что ее друг, заведующая отделом Ирина, уже несколько месяцев как пропала. Пропала, и все, и — с концами. А где же Ирина? А у нас теперь, Ниночка, новая заводделом, вот познакомьтесь: Ангелина Дормидонтовна, ударница труда из Гжатска... Очень приятно, но где же Ирина? Она у нас больше не работает. А где же она сейчас работает? Ну, Нина, право, не задавай наивных вопросов. Ах, вот как, опять все то же, все из той же оперы, был человек и пропал, и не задавайте наивных вопросов — вот так «цохма»!

В иных кругах московской интеллигенции бесконечный круговой террор НКВД вызывал уже не ужас, а черный юмор, юмор висельников. В своей кухне Нина, например, повесила плакат, обращение к благоверному: «Если тебя заберут раньше и в мое отсутствие, проверь, выключил ли газовую плиту и электрические приборы!» Так все-таки было немного легче жить. Пропавшая Ирина была не права, остатки юмора все-таки выручали, ну, а бегство от него ничуть не спасало. Во всем остальном, если допустимо сказать «остальное» об остальном, жизнь Нины с Саввой можно было бы назвать почти счастливой. Леночке шел уже третий год, оба в ней души не чаяли. В романтическом смысле Нина, что называется, «перебесилась». Прежде всего она вдруг обнаружила, что давний ее вздыхатель, смешноватый интеллигентик Савва, исключительно красив. В прежние времена она почему-то никогда не обращала внимания на его фигуру и, только разделив с ним постель, нашла его плечи широкими и мускулистыми, талию гибкой, бедра узкими и длинными. Когда он склонялся над ней и спадали вниз его светлые волосы, он казался ей истинным северным рыцарем, сущей «белюкурой бестией». Сильный, сладостный любовник, верный муж, настоящий джентльмен, чудесный друг — что еще нужно женщине, даже если она и считается «противоречивой поэтессой».

Что касается Саввы, то он не только не думал о чем-то еще дополнительном, не только не анализировал свою семейную гармонию, он просто и представить себя не мог с какой-либо другой женщиной. Конечно же, он страдал иногда. Я не могу дать Нинке всего, что ей нужно для творчества. Она поэт, ей нужны временами крутые виражи, взлеты и падения, какие-то «американские горы» эмоций, иначе музы отлетят от нее, а я ей даю только свою любовь, ровное повседневное движение. Ну, что ж...

Нине иногда даже казалось, что он выписал ей своего рода свободный билет на кратковременные спирали. Так, она была почти убеждена, что от него не ускользнули несколько ее встреч с только что вернувшимся из Европы Эренбургом. Знаменитый «московский парижанин», поэт и мировой журналист... Она увидела его в «Национале» сидящим в одиночестве у окна, с трубкой в зубах, над стаканом коньяку... Она даже споткнулась, как взятая вдруг под уздцы лошадка. «Вон Эренбург, только что из Испании и, конечно же, через Париж. Хотите познакомиться?» — сказал кто-то. Все было ясно с первого же момента. Они встретились несколько раз на квартире его друга. Он сидел на подоконнике, смотрел, как всегда, в сторону, читал ей из записной книжки: «Прости, что жил я в том лесу, Что все я пережил и выжил, Что до могилы донесу Большие сумерки Парижа»... Она, как когда-то с другими поэтами, а иногда и с мерзавцами, сама расстегнула ему рубашку. Казалось, вот возвращаются прежний хмель и туман, жадно проглатывается некая квинтэссенция существования. Кто-то дал ей понять, что органы буквально ходят по пятам за Эренбургом, а значит, и ее уже взяли «на заметку», но она это вряд ли тогда и расслышала, и, уж конечно, меньше всего думала она об «органических соображениях», когда внезапно с горечью обнаружила, что все испарилось и встречаться больше не нужно. Тайна сия вылилась в итоге в стихотворный цикл, о котором причастные тайнам говорили с двусмысленными

улыбками, а поэтесса, вдохнув всей грудью перед лицом свежего бурного моря, вернулась к своему мужскому идеалу, профессору Китайгородскому.

Что ж, я знал, на ком женюсь, думал Савва. Я знаю ее уже так давно, знаю ее в тысячу раз лучше, чем она меня. В конце концов она — мое счастье именно в том качестве, в каком и существует.

Он потянулся еще раз и резко выскочил из-под одеяла. Сделал растяжку левых конечностей, потом правых конечностей. Десять приседаний. Стойка на руках. Потом пошел вытаскивать из постели Еленку.

— Вставай, моя оладья, на работу пора, — сказал он ей.

Девочка свое детское учреждение давно уж называла «работой».

С дочкой на руках он прошел в кухню и увидел, что Нинка и в самом деле пришлифовывает к стене новый плакат, на котором он сам изображен в лестно-карикатурном виде и покрыт стихоплетством.

Молодой профессор Савва —
Нашей хирургии слава.
Привлекательный мужчина,
Незнаком с тоской и сплином.
Патефон вчера купил,
Увеличил ценность скарба.
Телеграмму получил:
«Я люблю вас. Грета Гарбо».

Ну, конечно, все замечательно поохотали, лучше всех Еленка. Читать она еще не научилась и требовала повторения стиха, чтобы запомнить и продекламировать «на работе».

— Только про Грету Гарбо не надо, Еленка, — сказала Нина, — а то разоблачишь наши связи с заграницей. Вместо «Я люблю вас. Грета Гарбо» читай «Одобрю. Доктор Карпов».

— Хорошо, — сказала Еленка. — Так даже лучше.

— Какой еще доктор Карпов? — возмутился Савва. — Твоя мать — неисправимая «синеглазница», Еленка. Конъюнктурица. Ради Греты Гарбо я готов рискнуть своей шкурой.

Он потащил дочку умываться и сам принял душ. Личная ванная — ну, не роскошь ли, ну, не счастье ль? Потом варил дочке манную кашу. Нинка тем временем жарила яичницу. Все наконец уселись за стол.

— Что касается твоей шкуры, профессор, то она у тебя, как у слона, — сказала Нина. — Сегодня ночью лифт три раза поднимался и опускался, а ему хоть бы что, знай себе посапывает.

— А почему же мне не спать, если еще не моя очередь? — спросил Савва. — Едут за кем-то другим, а я должен вскакивать, да?

— Вот так логика! — восхитилась Нина.

— Ну, а кого взяли-то ночью? — небрежно так, с некоторой светской пресыщенностью поинтересовался он. Нинка в ответ тоже замечательно изобразила скучающую леди.

— Дворник сказал, когда я спускалась за газетой, что троих и взяли. Никаких особенных сюрпризов. Ну, Големпольского взяли, Яковлеву Маргариту Назаровну, Шапиро... Последнего с женой.

— Значит, не троих, а четверых, — сказал Савва.

— Что? — спросила Нина, выискивая в газете радиопрограмму.

— Если Шапиро взяли с женой, значит, всего сегодня взято четверо, — сказал Савва.

— Ну, конечно, — кивнула Нина. — Големпольского взяли одного, Маргариту Назаровну одну, а Шапиро с женой вместе. Значит, всего сегодня взято четверо.

Еленка уже давилась манной кашей в ожидании взрыва хохота. Савва покивал с явным одобрением:

— Хороший улов.

Нина не выдержала, расхохоталась. Еленка залилась счастливым смехом. В этот как раз момент в дверь позвонили.

— Ну, вот и за пятым пришли! — радостно воскликнул Савва.

— А может быть, и за шестой? — лукаво предположила поэтесса.

Савва пошел открывать. Чепуха, конечно, органы по утрам не ходят, нигде еще не зафиксировано, чтобы в такой ранний час пришли, когда люди собираются на работу, у них и у самих, должно быть, в этот час-то пересменка. Может быть, просто телеграмму принесли от Греты Гарбо? Следует сказать, что страсть отдаленной голливудской красавицы к московскому доктору Савве Китайгородскому давно уже стала темой в семье и среди друзей.

А вдруг все-таки накликали мы беду своими хохмами, подумал Савва и открыл дверь. За дверью и в самом деле стояла беда в виде ближневосточной старухи с трагически сжатым ртом и ввалившимися глазами. Он не в первый же момент узнал в этой скорбной фигуре свою тещу, а узнав, воскликнул:

— Взяли отца?!

Впервые так назвал своего многолетнего научного руководителя.

Мэри глотнула воздуха, положила себе руку на сердце, потом покачнулась и схватилась за притолоку.

— Хуже, Саввушка, Веронику увели...

В этот момент выбежала Нинка, вскрикнула, увидев слабеющую и будто на глазах синеющую мать:

— Да что же ты стоишь, как остолоп! — подхватила Мэри, потащила внутрь.

После бессонной ночи Мэри Вахтанговна пошла на первый трамвай, чтобы застать своих в Большом Гнездиновском переулке до ухода на работу. Трясаясь чуть ли не час в духоте и давке, она боялась умереть. Может быть, только горькие мысли и спасали ее, отвлекали от сползания в пучину. Но потом опять, уже без мыслей, а только лишь в состоянии горя, полной беды, она начала соскальзывать. Одна пассажирка даже поинтересовалась не без участия: «Что с вами, гражданочка? Вы

откуда?» — но тут ее остановка подошла, и она стала пробиваться к выходу.

Савва и Нина уложили мать на кушетке в кухне, открыли форточку, натащили подушек и одеял. Приняв большую дозу капель Зеленина, Мэри стала возвращаться к жизни. Черты ее смягчились, синева уступала место обычным краскам.

Она приехала к Нине и Савве, чтобы посоветоваться. Больше ждать нельзя, иначе все мы будем уничтожены. Из всех наших детей остались только вы да Цилька, но от Цильки толку мало: она только и делает, что пишет одну за другой докладные записки в Центральный Комитет, объясняет, как правильно Кирилл толковал различные установки генеральной линии. В общем, я решила действовать. Не могу я в конце концов сидеть сложа руки и смотреть, как мои дети один за другим исчезают в этих застенках. Что я могу сделать? Быть может, ничего, а быть может, много. Я все-таки грузинка, и Сталин все-таки грузин. Пробьюсь к нему! Мэри совсем уже забыла о своем самочувствии. Глаза ее горели, как к финалу бравурной увертюры Россини. Она отправится в Тифлис, поднимет все свои старые связи, всех родственников, всех друзей, установит цепочку, по которой можно будет пройти и постучаться в двери к Сталину. Все грузины все-таки родственники, так или нет? Ну, что ты скажешь, Нина? Что ты скажешь, Саввушка?

Савва, изумленный, молчал. Для него идея найти такую вот грузинскую «цепочку» к Сталину звучала пока, точно напрашиваться в родственники огнедышащему дракону. Он никогда прежде не думал о Сталине как о грузине, вообще как о homo sapiens. Он, например, не мог себе представить его своим пациентом, с общечеловеческим анатомическим строением.

Нинка несколько минут сидела в задумчивости, уж она-то знала Тифлис лучше, чем кто-либо другой из этой тройцы, потом сказала:

— А знаешь, мама, в твоей идее что-то есть. Надежды, конечно, мало, но все-таки она где-то там брез-

жит. Зверства хватает и в Грузии, но там иногда, и нередко, и порой в самых неожиданных проявлениях, люди вдруг возвращаются к своей сущности. Здесь же — один Молох...

Мэри вдохновилась. Конечно! Возьми только одного моего брата Галактиона, он знает весь город, и его знают все! Он пойдет куда-то на пир, поговорит с одним, шепнет другому. Почти уверена, что он найдет для меня доступ к Берии, а через него... Есть и другие возможности. Я слышала, например, что мой племянник Нугзар Ламадзе сделал большую карьеру...

Нина схватила ее за руку:

— Только к этому не приближайся, мамочка. Это страшный человек, он... — Она осеклась.

Мэри внимательно на нее посмотрела:

— Ну, я просто к примеру вспомнила про Нугзара, можно и без него...

В кухню прибежала Еленка. Над головой она держала куклу с подрисованными усами и бородой, кричала торжествуя:

— Мама, баба, смотрите! Это была Грета Гарбо, а теперь стал доктор Карпов!

Мэри не была в родном городе уже больше десяти — одиннадцати? двенадцати? — лет, словом, с декабря двадцать седьмого, когда она сопровождала свою «беспутную левачку» — язык не поворачивается сказать «опрометчивую троцкистку» — в безопасную фармацевтическую гавань, к дяде Галактиону. С тех пор имя города было переименовано на Тбилиси, чтобы полностью устранить колонизаторский оттенок. Тбилиси, Тбилисо звучит в самом деле более по-грузински, против этого она не возражала, хотя сама предпочитала называть город на старый лад. В «Тифлисе» для нее звучал не колонизаторский, а, скорее, космополитический оттенок; это был город-базар, город-карнавал, проходные ворота с Запада на Восток.

Подъезжая к городу, она привела себя в порядок, причесалась, седеющую косу забрала в пучок на затыл-

ке, подмазала губы хорошей помадой, надела Вероникину шляпку, не попавшую в энкавэдэшную опись. Посмотрела на себя в зеркало — ими был богат «международный» вагон — и осталась довольна: достойная, впечатляющая дама средних лет в шляпке и меховой жакетке, купленной у Мюра и Мерилиза в 1913 году; меховщики старой России знали свое дело!

Так она и сидела, в шляпке и жакетке, молча смотрела в окно, пока по мягким холмам осенней раскраски к ней подплывал Тифлис. Вдруг вспомнились короткие годы независимости. В самом начале Гражданской войны ей удалось выехать с маленькой Нинкой из голодной Москвы на юг. Шестнадцатилетний Кирилл наотрез отказался ехать с ними. Искать убежища от Революции, ну уж, знаете ли! Единственное, что он обещал, — не поступать к Никите в полк до окончания школы.

Разгоревшаяся на многотысячные версты Гражданская война напрочь отрезала Тифлис от Москвы. В Грузии правил меньшевик-либерал Ной Жордания, возникла независимая республика. Повсюду бушевало злодейство, царил голод и мор, а за Кавказским хребтом свободные грузины совместно с армянами и персами, русскими, греками и евреями сидели под каштанами, пили вино и тархунный напиток Лагидзе, ели свежий лаваш, редис, травы, неплохой по нынешним временам шашлык, как всегда, исключительный сациви с орехами, лобио, рыбешку цхвали.

В Тифлисе исключительно расцвела артистическая жизнь. Еще в германскую многие поэты и художники из столиц рванули на юг, чтобы не попасть под призыв, ну, а потом бежали уже от красных, от белых, от зеленых, то есть от всех, кто не понимал, что именно революция в искусстве спасет мир, а не банальные пушки, не вульгарные шашки, не пошлейшие массовые убийцы-пулеметы.

Открывались повсюду маленькие театрики и кафе богемы. Поэт-футурист Василий Каменский читал свою

поэму «Стенька Разин», скача по манежу цирка на белом жеребце. Сергей Городецкий в своем журнале символистом за милую душу издевался над правительством. Ной Жордания однажды был изображен на обложке в виде преомерзительнейшего козла. В ответ на издевательство премьер улыбнулся: «Эти поэты!» Член группы поэтов «Голубые роги» Тициан Табидзе однажды столкнулся на Головинском проспекте с мэром Тифлиса. «Слушай, Тициан, почему мрачный ты идешь по моему городу с молодой женою?» — спросил мэра. «Негде нам жить, господин мэра, — пожаловался Тициан. — Нечем платить за апартаменты». Мэр вынул ключ из кармана: «Только что, Тициан, реквизирует я особняк Коммерческого клуба. Там и живи ты с молодой женою, там и работай. Только лишь Грузию не лишай своих стихосложений».

Вот был пир и бал в ту же ночь в Коммерческом клубе, съехалась вся богема! И Мэри там была, ее затащил свояк, порывистый юноша-художник Ладо Гудиашвили. Перезнакомил со всеми: и с «Голубыми рогами», то есть с самим Тицианом, его друзьями Паоло и Григолом, и с молодыми москвичами и петербуржцами, футуристами, только что сомкнувшимися в группу «41^а», братьями Зданевичами, Игорем Терентьевым, со знаменитым скандалистом Алешей Крученых. Появился в ту ночь и бродячий будетлянин России, гениальный «председатель Земли» Велимир Хлебников. Явился еле живой, в лохмотьях, в расколоченных бапмаках, в солдатских обмотках. Оказывается, пробрался через череду враждующих армий из Астрахани. Тут же был сбор объявлен в пользу Хлебникова. Мэри сняла с руки перстень. Он глянул на нее и задохнулся: она была с обнаженными плечами!

Да-да, вот так тогда еще случалось с мужчинами при взгляде на нее: они задыхались — о, Мэри! И это несмотря на то, что Тифлис был полон молодыми красотками-поэтессами и художницами, а ей уж было тридцать девять.

За ней стал бешено ухаживать армянский футурист Кара-Дервиш. Приглашал ее на чтения в «Фантастический духан» и в «Павлиний хвост», на постановки абсурдных «дра» Ильи Зданевича в театр миниатюр. По возрасту он был ближе к ней среди этой молодежи, но ухватками забивал и мальчиков: то стрекозу на щеке нарисует, то большой «третий глаз». Она всегда на такие вечера брала с собой двенадцатилетнюю Нину, прежде всего, конечно, для того, чтобы подчеркнуть сугубо дружеский характер своих отношений с Кара-Дервишем, то есть отсутствие интимного характера в этих отношениях — господ, господ! — сугубо товарищеского характера.

Ах, что это были за вечера! Очень запомнился Илюша Зданевич, такой денди, всегда с иголки, бледный от сумасшедшей влюбленности в Мельникову. Ярый футурист, враг всей «блоковщины», он экспериментировал в своей зауми с непристойностями, с анальной темой, а на Мельникову смотрел с обожанием, будто блоковский герой на Прекрасную Даму. Как его «дра» назывались? Одна, кажется, «Янко, король Албании», другая «Жопа внаем»... кого-то там приклеивали к стулу, он никак не мог оторваться. Великолепнейший вздор.

Нинка смотрела на всех распахнутыми, будто озера, глазами, особенно на поэтических девушек — Таню Вечорку, Лали Гаприндашвили. Может быть, эти вечера и затянули ее в поэзию.

Вот Хлебников, братцы, опять Велимир появился, опять весь ободранный, читает что-то пророческое: «Грака хата чророро, линли, эди, ляп, ляп бем. Либибиби нираро Сяноахо цетцерец!»

Мэри просили сыграть. Сыграй что-нибудь атональное, Мэри! Сыграй из «Победы над солнцем», вот тебе ноты! Мэри сядила к инструменту, если этим гордым словом можно назвать пианино в «Фантастическом духане», вместо атональной матюшинской музыки играла Бетховена. Гул голосов гас, затишалось шарканье «ошв, чихочох чах», как сказал бы поэт. Молодые лю-

ди явно не спешили «сбросить Бетховена с парохода современности». На лицах иных видела Мэри следы истинного волнения.

Все было так прекрасно и шатко в Тифлисе той трехлетней весной, он плыл, будто цветущая мраморная льдина в море крови и слизи, в море гражданского тифа, ковчег Ноя Жордания, — то ли потонет, то ли расколется; может, потому и прекрасно, что шатко; все испытывали головокружение.

Вот и у Мэри сильно закружилась голова, когда встретила его взгляд. Нет, это был не Кара-Дервиш, и пусть его имя никогда никому не откроется, имя того, кто был на пятнадцать лет младше ее и писал, конечно, стихи, того, с кем единственным она изменила своему Бо. В двадцать первом, когда все кончилось, ему удалось убежать за границу, и он пропал. Оттуда уже не возвращаются ни люди, ни их имена. Да и зачем это ей сейчас, без пяти минут старухе? Даже в памяти не нужно вызывать это имя, назовем его просто — Тифлис. Тем более не стоит вспоминать трагикомической стороны романтического порыва, тех небольших насмешек Венеры, которые он ей передал: тогда этого было трудно избежать. Все прошло, все промылось и прогремело чистейшим ключом в темно-синей ночи; пианиссимо.

К концу двадцатого года весь этот переселившийся к югу «серебряный век» испарился и отлетел куда-то, может быть, к своим истокам, к греческим островам. Грузинская республика агонизировала. В двадцать первом ввалилась Красная Армия, свободе пришел конец, и согрешившая Мэри вернулась с дочкой в Москву, где, как ей казалось, все еще оставался последний клочок независимости, дача с роялем и любящий Бо.

Тифлис, впрочем, вскоре снова ожил, при нэпе он снова зазвенел своими сазандариями, этот древний человеческий дом все-таки трудно превратить во вшивую казарму. Так или иначе, моя дочка через десять

лет тоже, кажется, получила здесь свою долю «серебряного века». Так думала Мэри Вахтанговна Градова, урожденная Гудиашвили, подъезжая к родному городу.

На вокзале ее почему-то никто не встретил. Наверное, телеграмма не доставлена, такое случается, иначе здесь бы уже гремел голос брата, волоклись бы охапки цветов, уже на перроне провозглашались бы будущие тосты.

Извозчиков в Тбилиси больше не было, а такси достать невозможно. В растерянности Мэри не знала, что делать, — не тащиться же с тяжелым чемоданом на трамвае. Наконец увидела камеру хранения, оставила там свой багаж и поехала в центр города налегке. Жадно смотрела из окна трамвая на прогрохатывающие мимо улицы. Город в основном, конечно, не изменился, только к сизоватым его крышам, розоватым фасадам и глубоким синим теням прибавилось огромное количество красных полос — лозунги социализма.

Она вышла из трамвая в центре и пошла пешком по бывшей Головина, ныне проспекту Руставели. Против такого переименования тоже трудно возразить — почему главная улица грузинской столицы должна носить имя русского генерала, а не восьмисотлетнее имя рыцаря царицы Тамар, казначея и поэта?

Увы, вдобавок к Руставели еще две грузинских личности украшали каждый перекресток — Сталин и Берия. «Да здравствует великий вождь трудящихся всего мира товарищ Сталин!», «Да здравствует вождь закавказских трудящихся товарищ Берия!» — там и сям начертано то грузинской вязью, то супрематизмом партийной кириллицы. Какие уж, впрочем, тут супрематизмы, все будетляне давно задвинуты в самые темные углы, сидят и пикнуть боятся, а многие уже и покинули этот мир, оказавшийся столь негостеприимным для их космического эксперимента. Искусство принадлежит народу и должно быть понятно народу! Вот какие пар-

суны соцреализма выставлены в окнах, вот какие воздвигнуты скульптуры пионера с планером, пограничника с винтовкой, девушки с веслом!

Мэри жадно смотрела по сторонам. Народ вроде бы остался все тот же: озабоченные серьезные женщины, дети с папками для нот и фуглярами для скрипок — каждая «приличная» семья в этом городе считала долгом учить детей музыке, — все те же мужчины, их можно грубо разделить на ленивых и лукавых. Меньше стало людей в национальной одежде, почти не видно бурок, зато больше милиции. Почти исчезли лошади, курсирует троллейбус, катят авто, крутят, как оглашенные, мальчишки на велосипедах. Чего-то еще не хватает... Чего же? Ах, вот чего — постоянного тифлисского шума голосов, этого вечного клекота нашего странного языка, который прежде охватывал тебя со всех сторон, едва выйдешь на улицу. Заглушается моторами или говорить стали тише?

Меньше стало или даже почти исчезли с главного проспекта прежде бесчисленные ресторанчики, духанчики, кафе, подвальчики, террасы со столиками. Кое-что, впрочем, осталось. Вот, например, заведение «Воды Лагидзе» хотя и не носит больше презренного имени эксплуататора, по-прежнему демонстрирует знакомые с незапамятных лет стеклянные конусы с сиропами — ярко-бордовый, ярко-лимонный, ярко-темно-зеленый.

Мэри зашла в обширный зал и взяла стакан напитка. В углу торговали свежими хачапури. Запах был такой, что слюнки потекли. Чуть смешавшись, она заказала себе парочку на родном языке.

Продавец как-то странно посмотрел на нее, ответил на ломаном русском. Съев хачапури, она отправилась дальше.

Вот здесь она обычно сворачивала с Головинской, когда шла к брату. Улицы все круче забирали вверх, вскоре она оказалась в кварталах старого города, где вроде бы вообще ничего не изменилось: крытые балко-

ны, скрипучие ставни, крупный бульжник под ногами. Издалека, сверху доносилось какое-то пока еще не различимое пение. Скоро она уже выйдет к родным местам, к маленькой площади, к аптеке с двумя большими матовыми шарами над входом. Еще несколько минут, и она увидит своего брата, своего «бурнокипящего» Галактиона, который, конечно же, что-то придумает, найдет способ как-то помочь ее разгромленному семейству, во всяком случае, смягчит ее горь.

Пение приближалось, теперь она уже могла различить многоголосицу, креманчули. Страшная, мрачная и тревожная песня, возможно донесенная из времен персидского нашествия. Старческие голоса. Заглянув во дворик, она увидела четырех стариков, сидящих вокруг стола под чинарой. Очевидно, они играли в нарды перед тем, как запеть. Закрыли глаза и ушли в далекие миры, в свою вековую полифонию.

Растревоженная пением, она вдруг почувствовала, что крутой подъем не дается ей даром, сердце стучит гулко и неровно, ноги отекли. Вот наконец видны уже и матовые шары. Вывеска «Аптека Гудиашвили» замазана так, что не различается. Но что это? И окна почему-то замазаны теперь белой краской, и ничего не видно внутри, и двери аптеки заколочены двумя крест-накрест досками. Похоже, что заведение по каким-то причинам закрыто. Ремонт? Инвентаризация? Для чего же тогда забивать дверь досками? Пройдя мимо главного входа, озадаченная, если не сказать панически перепуганная Мэри подошла к дверям, за которыми была лестница наверх, в квартиру фармацевта. Позвонила в знакомый ручной звонок и вдруг заметила на дверях еще два звонка, новых, электрических. Возле одного из них чернильным карандашом на дощечке было написано: «Баграмян — 2 раза», «Канарис — 3 раза». Возле другого коротко: «Бобко». Уплотнили? Это немыслимо! Неужели власти уплотнили знаменитого фармацевта, которого все в округе называют «благородным Галактионом»? Она

еще раз нажала пружинку звонка. Внутри раздались шаги, чуть приподнялась штора на окне, кто-то глянул в дверной глазок. Послышался женский нехороший голос, как будто бы металлическая стружка посыпалась:

— Вам кого, гражданка?

— Я приехала к Гудиашвили! — громко, но с большим достоинством сказала Мэри в закрытую дверь.

— Таких здесь нет, — ответил голос из-за двери.

Минута или две прошли в молчании. «Таких здесь нет» — это прозвучало как страшный абсурд. Все равно что спросить на Кавказе, в какой стороне Эльбрус, и получить ответ: «Таких здесь нет!»

— Позвольте, как это нет? — Голос у Мэри уже дрожал, уже бесконтрольно разваливался, заглушался подступающими слезами, комом слизи, ползущим вверх по гортани. — Я его родная сестра. Я приехала из Москвы увидеть брата, его жену Гюли, моих племянников...

Металлический стружечный смешок бессмысленно прозвучал в ответ. Потом густой мужской голос сказал:

— Они здесь больше не живут, гражданка. Уходите и наведите справки в пятом отделении милиции.

Двери так и не открылись. Штора упала. Глазок ослеп.

Приклоняясь к земле, стараясь не упасть, Мэри проковыляла прочь от дверей к середине площади и здесь закачалась, потрясенная, и зажатая, и развеянная ошеломляющим чувством неузнавания пространства. Она бы упала, если бы кто-то не взял ее крепко под руку и не помог уйти с горба этой булыжной горы в боковую сумрачную улицу. Здесь она подняла лицо и увидела рядом знакомого с детства толстяка Авесалома.

— Мэри, дорогая, — зашептал он. — Тебе не надо было сюда приходить. Сейчас я тебя отведу к нам, переночуешь, а завтра — чем раньше, тем лучше — уез-

жай обратно. Тебе не нужно сейчас быть в Тбилиси, совсем, совсем не нужно здесь быть, милая Мэри.

Меньше всего на свете Нугзар Ламадзе хотел быть следователем по делу своего собственного дяди. Такое могло ему только присниться в страшном сне — сидеть напротив оплывшего измученного Галактиона в качестве неумолимого следователя, направлять ему в лицо слепящую лампу. Иногда все дело фармацевта Гудиашвили и троцкистской подпольной группы, прикрывшейся вывеской аптеки № 18, казалось ему подкопом под него самого, попыткой сбить с небосклона его стремительно восходящую звезду. С самого начала, когда он только услышал в управлении, что готовится арест Галактиона, он попытался отойти от этого дела как можно дальше, как бы не обращать на него внимания, благо и других дел было невпроворот. Вдруг однажды после застолья по поводу вручения республике переходящего Красного знамени старый его друг, а ныне почти уже небожитель и вождь народов Закавказья отвел его в сад в сторону и спросил, что он слышал о деле аптекаря Гудиашвили.

— Знаю, Нугзар, что он твой родственник, понимаю, как тебе тяжело, и все-таки хочу тебя предупредить: среди некоторых товарищей бродит сомнение. И это естественно, согласишься: ты — племянник, он — дядя. Все знают, что Галактион всегда издевался над нашей партией, над самой идеей, и в этой связи...

Тут Лаврентий Павлович сделал паузу, подошел к фонтану с русалками, подставил ладонь под одну из струй — говорили, что «вождь народов Закавказья» перенял свои паузы у самого Сталина, — долго играл со струей, тихо улыбался, казалось даже, что забыл — Нугзар молча стоял сзади на протокольном расстоянии, — потом вернулся к своей мысли:

— ... И в этой связи его приход к троцкистским ублюдкам, к последышам Ладо Кахабидзе, никого у нас не удивил. Поэтому, Нугзар, как твой старый товарищ,

как твой собутыльник и соучастник в молодых делах... — Он шаловливо засмеялся. — Помнишь еще «паккард» с тремя серебряными горнами? Словом, я бы тебе посоветовал взять все это дело на себя, провести самому все следственне, всем доказать, что ты настоящий, без страха и упрека, рыцарь революции.

Он издевается надо мной, мелькнуло у Нугзара, и он подумал, что мог бы сейчас кулаком по затылку оглушить Берию, а потом бросить его башкой вниз в фонтан. Или он просто издевается надо мной, что все-таки маловероятно, или он испытывает меня. Может быть, он лепит из меня самого преданного ему человека? Он собирается идти еще выше, и ему нужен самый преданный человек, а для этого он поначалу должен этого человека сломать.

Так или иначе, подполковник Нугзар Ламадзе, который был уже начальником отдела и восходящей звездой наркомата в общесоюзном масштабе, стал следователем по делу заурядного аптекаря Гудиашвили. В течение всего следствия он не допускал никакой фамильярности, не называл Галактиона «дядей», обращался по инструкции на «вы», неукоснительно предписывал «конвейер», когда упрянца испытывали бессонницей и жаждой. Единственное, что он себе позволял в отступление от инструкции, — выходил из следственной комнаты, когда являлись по его вызову два сержанта поучить мерзкого старика уму-разуму.

Если сегодня не подпишет, сразу вызову сержантов, а сам уйду на полчаса, думал Нугзар, глядя из темноты на расплзшийся под яркой лампой мешок дерьма, что был когда-то его громогласным, жовиальным дядей Галактионом. Пусть этот мешок дерьма пеняет на себя.

— Ну, что ж, подследственный Гудиашвили, опять будем в молчанку играть? Советую вам прекратить эту глупую игру, ведь практически нам все уже известно о том, как вы превратили свой дом и советское учреждение, аптеку номер восемнадцать, в прибежище троцки-

стского подполья. Известно и когда это началось, а именно в тот день в тысяча девятьсот тридцатом году, когда к вам приехал близкий друг Троцкого, лазутчик Владимир Кахабидзе. Ну, что ж, Гудиашвили, опять в молчанку будем играть?

Дядя Галактион с трудом разлепил разбитые губы под некогда роскошными, а ныне слипшимися и пожелтевшими усами:

— Нет, сегодня поговорим, дорогой племянник, сегодня я тебе кое-что скажу.

Нугзар ударил кулаком по столу:

— Не смейте называть меня племянником! У меня нет в дядях троцкистских подголосков!

— Вот я про это и хотел тебе сказать, Нугзар, то есть, простите, гражданин следователь, — продолжал Галактион, будто не обращая внимания на окрик. Было такое впечатление, словно он на что-то решился и теперь уже не отступит. — Вы говорите, что я с троцкистами снюхался, как будто вы забыли, что троцкизм — это одна из фракций коммунизма. Как будто ты забыл, что меня всегда тошнило от всего вашего проклятого коммунизма во всех его фракциях. От всего вашего грязного дела! Ты понял меня, шакал?!

Галактион теперь сидел выпрямившись, глядел прямо на Нугзара, в глазах его поблескивали застывшие торжественные молнии. Вал ярости выбросил Нугзара из его кресла. Ничего не помня, он схватил со стола тяжелое мраморное пресс-папье и со всего размаха ударил им Галактиона прямо в лоб. Как был с этими застывшими молниями в глазах, так с ними Галактион и свалился на пол. Ноги и руки дернулись пару раз, изо рта выплеснулась какая-то жидкость, после чего он затих, то есть снова превратился в мешок дерьма. Нугзар стоял над ним. Скотина проклятая, наконец подумал он, ты всегда надо мной издевался. К этому жопошнику Отари ты серьезно относился — ах, такой поэт! — а меня считал щенком и шутком. Вы, Гудиашвили, всегда к нам, Ламадзе, снисходительно относились. Мразь, белая

кость, считали нас ниже себя. Старый идиот, ты даже не понимаешь, что я тебя от расстрела спасаю, шью тебе пособничество, а не прямое соучастие...

Дверь кабинета открылась. Пользуясь особыми правами, без стука козочкой влетела секретарша, младший лейтенант Бридаско, простучала каблучками по паркету, обогнула лежащее на полу тело, даже не взглянув — большое дело! — жарко зашептала своему чудесному красавцу начальнику:

— Ой, товарищ подполковник, сейчас вам такой звонок был, такой звонок! Прямо от него звонили, Нугзар, прямо от Лаврентия Павловича! Сказали, что он тебя ждет у себя прямо сейчас! Воображаешь?!

Нугзар мрачно глянул на восторженную комсомолку. Дурочка, не знает, сколько мы бардачили вместе с этим «самим», с Лаврентием Павловичем, с «вождем народов Закавказья». Он ткнул носком сапога лежавшее тело. Тело не ответило на толчок никак, как будто именно мешок с чем-то. Нугзар покрылся испариной, еле сумел скрыть охвативший его ужас. Движением ладони приостановил несколько неуместное в смысле интимности движение бедер младшего лейтенанта Бридаско.

— Вызовите доктора, — сказал он ей. — Кажется, плохо с сердцем у подследственного Гудиашвили.

После чего обогнул этот «мешок с чем-то» и быстро вышел из кабинета.

Он всегда боялся Лаврентия. Каждая встреча с мерзавцем — именно это слово и употребил Нугзар, размышляя на эту тему, — казалась ему посещением клетки с хищником, и не такого, как тот бестолковый медведь, с которым Нинка когда-то, в тот день, звездный с самого утра, целовалась, а настоящего, подлейшего хищника и истребителя, ягуара. Правда, после общения в течение нескольких минут этот образ бессмысленной и неотвратимой опасности пропадал. Начинали мелькать более добродушные метафоры — свинья, горилла, просто подлый человек. Ну, а под пьяную лавочку оказы-

вался Лаврик любезным дружкой, не более подлым, чем ты сам, такая же, как и ты сам, горилла и свинья.

У Берии в здании ЦК был теперь новый кабинет, в котором Нугзар еще не бывал, вернее, не кабинет, а анфилада комнат, начинавшихся приемной, продолжавшаяся кабинетом и заканчивающаяся, очевидно, спальней, если опять же не клеткой с ягуаром. Повсюду креслица-рококо, пышные люстры, шторы тяжелого шелка; неизменные три портрета — Ленин, Сталин и Дзержинский.

Нугзара провели прямо в кабинет и оставили одного. Через несколько минут вошел Берия, обменялся с подполковником товарищеским рукопожатием, после чего, оглянувшись, как бы для того, чтобы убедиться в отсутствии посторонних, крепко обнял дружка. Волна тепла окатила Нугзара, смыла всю гадость, свалившуюся на душе, в том числе совсем недавнюю — мраморное пресс-папье, неподвижное тело некогда любимого дяди... С удивившей его самого доверчивостью он ответил на объятие — вот друг, с ним я не пропаду.

Берия вынул из шкафчика красного дерева великолепный графин коньяку, два хрустальных бокала. После первого глотка тепла в душе еще прибавилось.

— Садись, Нугзар, — показал Берия на софу с ножками в виде грифонов и сел рядом.

Он мало изменился за последние годы, такие рано облысевшие ребята мало меняются с годами, только, конечно, несколько округлился, вернее, что называется, посолиднел. Повороты загадочно поблескивающего пенсне чем-то напоминали Нугзару всеобщего архиврага Троцкого. «На носу очки сияют, буржуазию пугают...»

— Охо-хо, — вздохнул Берия. — Чем больше власти, тем меньше свободы. То ли дело раньше-то, Нугзар, помнишь, с девчонками на «паккарде» и на дачку до утра! Вот были времена! И политические проблемы решали стремительно, по-революционному... Помнишь, Нугзар, как политические проблемы решали?

Он вдруг снял пенсне и заглянул в глаза друга далеко не близоруким взглядом, как бы мгновенно напомнил ему тот момент, когда Нугзар с пистолетом в руке распахнул дверь и увидел двух читателей, Ленина на стене и Кахабидзе под ним за столом.

— Да и мужские дела решались весело, Нугзар, а? — продолжил Берия и подпихнул ногу Нугзара своей круглой коленкой. — Впрочем, мы еще и сейчас с тобой ебари что надо, а, Нугзар? Слушай, давай, к черту, хоть на пять минут забудем о делах, давай об общей страсти поговорим, о женщинах, а? Знаешь, Нугзар, хочу тебе кое в чем признаться: люблю русских баб больше всего на свете! Гораздо больше люблю русскую бабу брать, чем какую-нибудь нашу грузинскую княжну. Когда русскую бабу ебешь, кажешься себе завоевателем, а? Обязательно чувствуешь, что ты как будто рабыню ебешь или наемную блядь, верно? Согласен со мной, Нугзар? Интересное явление, правда? Интересно, как вот в этом деле с полукровками получается. К сожалению, никогда не пробовал полукровки, в том смысле, что полурусской, полугрузинки. А у тебя, Нугзар, случайно не было какого-нибудь дела с полукровочкой, а? Не поделишься опытом с товарищем? Что с тобой, Нугзар? Ну, не хочешь, не говори, никто же не заставляет.

Заместитель начальника следственного отдела по особо важным делам Нугзар Ламадзе чувствовал себя в этот момент так, как будто его одновременно швырнули и в котел с кипящей водой, и в ледяную прорубь. Обжигающие и леденящие волны шли не чередой, а одновременно через его тело. Тело окаменело, и в то же время в нем шла бешеная пляска нервов и сосудов. На грани обморока он соскользнул с кожаной поверхности дивана и припал перед Берией на одно колено.

— Лаврентий, прошу тебя! С той единственной ночи в тридцатом году я ни разу ее не видел, ни разу ничего не слышал о ней!

Берия встал с дивана, отошел в глубину кабинета, занялся наполнением бокалов. Нугзар, не вставая с колена, смотрел на его спину, ждал своей участи.

Он, конечно, врал. В 1934 году он приезжал в Москву и встречался с Ниной. Он все о ней знал: она была уже третий год замужем за доктором, известная поэтесса. А все-таки вряд ли забыла она ту ночь, говорил он себе. В это понятие «та ночь» входили для него чуть ли не вся его юность и, уж во всяком случае, весь тот день ранней осени тридцатого, кульминация приключений молодого абрека: спасение Нины из лап огромного зверя, покушение, убийство назойливого «читателя», ложь, театр, игра, шантаж и, наконец, полное и безраздельное обладание Ниной, словом, «та ночь»!

Приехав в Москву, он забросил все дела и два дня выслеживал свою цель. Он видел, как она выходила с мужем из отцовского дома, как они шли, смеясь и целуясь, к остановке трамвая, как расставались в центре, как Нинка шла одна, будто бы погруженная в свои мысли, будто бы не обращая внимания на взгляды мужчин, садилась на бульваре, шевелила губами, стишки, наверное, свои сочиняла, как вдруг делала какой-то решительный победоносный жест и беззвучно смеялась, как стояла в очереди в какую-то театральную кассу, заходила в редакцию «Знамени» на Тверском, как налетала вдруг на какую-нибудь знакомую и начинала трещать, будто школьница, как весело обедала в Доме литераторов, куда и он свободно проник при помощи своей красной книжечки и где продолжал наблюдение, оставаясь незамеченным, тем более что она и не особенно-то смотрела по сторонам.

Она была все так же хороша или еще лучше, чем в Тифлисе, и он, что называется, дымился от желания, или, как Лаврентий бы грубо сказал, «держал себя за конец».

Однажды во время этой двухдневной слежки, преследования, или, так скажем, романтического томления, он подумал: а может быть, вообще не подходить к ней, вот так все оставить, такая колоссаль-

ная влюбленность на расстоянии, такой романтизм? Даже рассмеялся сам над собой. Хорош абрек! «Та ночь» обрывками замелькала в памяти. На второй день он к ней подошел у книжного развала в Театральном проезде. Она купила там несколько книг, собралась уже перебежать улицу к автобусу, но тут что-то попало ей в туфельку. Прислонившись к фонарному столбу, она вытряхивала туфельку. Он кашлянул сзади и сказал:

— Органы пролетарской диктатуры приветствуют советскую поэзию!

Признаться, он не ожидал такой сильной реакции на незамысловатую шутку. По всему ее телу прошла судорога, если не сказать конвульсия. Повернулась, и он увидел искаженное страхом лицо. Впрочем, судорога улеглась и гримаса страха пропала еще до того, как она поняла, кто перед ней. Отвага, очевидно, взяла верх. Так вот кто перед ней! Теперь она уже расхохоталась. Тоже, очевидно, сразу многое вспомнилось.

— Нугзарка, это ты?! Нашел способ шутить! Так человека можно и в Кащенко отправить!

Он обнял ее по-дружески. Ему так понравилась эта манера обращения: Нугзарка — как будто они просто такие приятели, которые когда-то волюнили вместе.

— Эй, Нинка, я уже все про тебя знаю, дорогая! — засмеялся он. — С кем спишь, с кем обедаешь — все известно недремлющим стражам отчизны!

— Вот то-то мне и кажется уже второй день, что за мной стали ходить, — сказала она.

Болтая, они пошли вниз по Театральному по направлению к гостинице «Метрополь», где он как раз и снимал номер полулюкс. Она сделала ему комплимент по поводу нового костюма. Ого, плечи широкие, брюки колом — настоящий оксфордский шик! Возле гостиницы он взял ее за руку и остановил.

Как и в «ту ночь», она посмотрела исподлобья и тихо спросила:

— Ну, что?

— Пойдем ко мне, — сказал он с немного излишней серьезннкой, с ненужной ноткой некоторой драмы.

Она тут же рассмеялась, пожала плечами:

— Ну, и пойдём! — И пошла вперед, беззаботно раскачивая связочку только что купленных книг. Вот так все просто, дитя двадцатых, плод революционной антропософии.

Дальнейшее прошло совсем не так, как представлялось ему сотни раз в его закавказском отдалении. Все изменилось, «той ночки» уже не вернешь. И он уже не тот молодой разбойник, и она уже не та, что тогда, не пьяная, не отчаявшаяся, не загнанная в угол, иными словами, не добыча героя, а напротив — счастливая и в замужестве, и в своем деле, уверенная в себе и просто позволившая себе подсыпать чуть больше перца в ежедневную пищу.

Все могло бы повернуться иначе, в сторону «той ночки», если бы она сначала решительно отказалась и только потом уж уступила под страхом, под угрозой разоблачения троцкистского прошлого. Он сам все испортил своим шутливым тоном, а она этот тон тут же с ловкостью необыкновенной подхватила, и вот он оказался — Нугзарка! — в дураках. «Той ночки» не получилось, не состоялось сладостного насилия над «жаждущей жертвой», как это он много раз определял в уме.

И еще что-то было, чего он не мог определить, но что делало ее совершенно самостоятельной и неуязвимой личностью. Только через полгода он понял эту неясность, когда до Тифлиса дошла новость о том, что Нина Градова родила девочку. Она была уже основательно беременна к моменту их встречи. Мадемуазель Китайгородская уже предъявляла свои права в ее чреве.

Одержимость своей кузиной злила и пугала подполковника. Вокруг берут тысячами народ, не имеющий никакого отношения к троцкизму, а ведь она-то, Нинка-гадина, как раз и была когда-то настоящей троцкисткой, уж он-то это точно знал, она была зафик-

сированным членом подпольной группы нынешнего эмигранта Альбова.

Зная специфику работы своих любимых органов, Нугзар понимал, что вовсе не обязательно в эти времена иметь реальные обвинения, чтобы загреметь на Колыму или «под вышку». И все-таки сосало под ложечкой: а вдруг так повернется, что все выплывет, и она, его мечта, девушка «той ночки», покатится — вообразить ее в лагерном бараке было немислимо! — и он сам, на радость завистливой сволочи, будет вышвырнут из рядов, а потом смят и уничтожен.

В тридцать седьмом ситуация еще пуще усугубилась. После ареста братьев Нинку могли взять просто как родственницу. При всей слепоте карающей машины у нее есть нюх, и вынюхивает чужих она совсем неплохо.

Так и получилось. Полгода назад из Москвы «на доработку» пришло ее дело. Московское управление НКВД собрало материал на Градову Н.Б., родственницу осужденных врагов народа и обвиняемую сейчас в связи с агентом французской и американской разведок И.Г.Эренбургом. Никаких упоминаний не было о троцкистском кружке. То старое дело с донесениями Стройло проходило, очевидно, по другому департаменту, в том смысле, что где-то было навечно погребено в шкафах среди миллионов других папок. Новое же дело было прислано в Грузию для уточнения имеющихся сведений о связях Градовой с недавно разоблаченными врагами народа Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе. Самое же замечательное заключалось в том, что Эренбург в это время постоянно ездил за границу и печатал в «Правде» волнующие репортажи с театра военных действий в Испании.

Нугзар ободрился этим обстоятельством и подумал, что при помощи небольшой хитрости можно будет попытаться спасти Нинку и ее семью. Ну, все-таки хоть в память о юности, что ли. Ну, у каждого ведь все-таки есть в душе «та ночка», та тучка золотая на груди уте-

са-великана, и у него вот эта проклятая Нинка с ее пышной гривой каштановых волос и вечно штормовой погодкой в ярко-синих глазах.

Он передал ее дело вместе с целой охапкой других самому ленивому из своих сотрудников и сделал так, чтобы оно, данное дело, казалось наименее значительным. Протянулось несколько недель, после чего Нугзар, придравшись к ленивому, устроил ему дикий разгон и перевел с понижением в Кутаиси. Дела же распределил между более расторопными сотрудниками, ну, а что касается заветной папочки, то ее он просто забросил на дно уходящего в архив ящика. Там оно может пролежать до скончания века, если, конечно, Москва вдруг не встрепенется, ну, а тогда уж — прощай, синеглазая ночка-тучка! — всю вину за неразбериху можно будет свалить на ленивого. Впрочем, по всем признакам в Москве в горячке массового ревертора тоже царил не меньший бардак, а может быть, оттуда как раз и распространялась наибольшая бардачность. Нугзар между тем следил за публикациями Эренбурга, все прочитывал внимательно и одобрительно кивал головой: сильный публицист, могучее перо, настоящий публицист-антифашист!

И вот сегодня такой ошеломляющий удар с самой неожиданной стороны. Сам Лаврентий знает про мои дела с Ниной! Может быть, она уже арестована, и мне сейчас будет предложено самому вести следствие, чтобы «погасить кривотолки среди товарищей»? А может быть, он сейчас уличит меня во лжи, взъярится, выхватит свой браунинг, который он носит всегда во внутреннем кармане пиджака, прямо над селезенкой, и застрелит меня вот здесь, на месте, где я стою на одном колене, словно католик в костеле? С ним такое случилось. Ей-ей, все знают, что несколько человек свалились на ковер прямо в его кабинете. После чего он вызывал своих служащих и говорил: «Внезапный финал, плохо с сердцем. Уберите и смените ковер!» Ну, что ж, мне будет поделом! Жаль только, что это будет пуля, а

не мраморное пресс-папье, но, во всяком случае, я хотя бы тут же сравняюсь во всех рангах с дядей Галактионом и не буду вести следствие моей ночки-тучки...

Берия подошел с двумя бокалами, наполненными удивительным по цвету — темный дуб с оттенком вишни — «Греми».

— Вставай, Нугзар, перестань дурачиться!

Нугзар вскочил, принял бокал из рук «вождя трудящихся Закавказья», чокнулся, выпил залпом. Берия расхохотался:

— Люблю тебя, подлеца!

Потом отставил свой бокал, нажал на плечи Нугзару, усадил на софу и глубоко заглянул в глаза, будто пробуравил.

— Я рад, что ты всегда меня понимаешь правильно, Нугзар. Теперь слушай новости. Дни маршала Ежова сочтены. Меня переводят в Москву, ты сам понимаешь, на какое место. Прямо по правую руку С а м о г о. Ты поедешь со мной.



ГЛАВА XX

Мраморные ступени



Мрак и оцепенение царили в доме Градовых, как будто оставшиеся члены семьи боялись лишних движений, чтобы не разбазарить остатки тепла. Это напоминало военный коммунизм, когда топить было нечем, хоть и протапливались нынче по всем комнатам отличные «старорежимные» голландки, а из кухни частенько доносились запахи вкусной готовки. Из всех обитателей дома в Серебряном Бору, пожалуй, одна лишь Агаша развивала повышенную активность: беспрерывно носилась со стопками чистого белья, переставляла банки с соленьями и вареньями, то и дело затевала тесто, чинила старые одеяла и шторы, командовала истопником и шофером Бориса Никитича, ездила за свежими припасами на Инвалидный рынок. Так проходил у нее день, а к вечеру набиралось новых хлопот — загнать ребятишек на ужин, проверить постельки, подать к столу, убрать со стола и только уж потом приткнуться где-нибудь в кабинете возле Мэрюшки, покуковать под музыку великолепных композиторов прошлого.

Из замоскворецкой гражданочки неопределенного возраста Агаша начала уже превращаться в неопределенного возраста бабуся из тех, на которых только диву даешься — как это они все успевают, как умудряются столь

длительно и бесперебойно тянуть свои возы. В старейшие времена, как была Агаша еще барышней мелкокупецкой гильдии, на масленичных гуляньях случилось ей страшно простыть и подхватить двустороннее воспаление яичников. С тех пор осталась она бездетной и бессемейной — кто ж возьмет такую? — и градовский дом стал для нее семьей, единственным пристанищем среди всемирного, как она выражалась, хавоса. Ну, а сейчас вот, чувствуя, что дом разваливается, борясь с внутренней дрожью, все-то Агаша бегала, все-то вылизывала, выскребала, все-то, опять же по ее выражению, узаконивала. Не может ведь рухнуть, казалось ей, такой ухоженный, такой теплый, сытый, «узаконенный» дом! Как же все-таки сделать, что бы еще такое придумать, чтобы не ходили по этому дому оставшиеся так, будто им вечно зябко. И все равно было зябко, колко, неуютно. Мэри вернулась из Тбилиси сама не своя, никакие смелые идеи ее больше не посещали. Настроившись на сугубо трагический лад, она только лишь ждала — кто следующий: Цилия, Бо или единственный ее оставшийся ребенок, то есть Нинка, или за внуками вдруг придут безжалостные и уверенные в своей непогрешимости злодеи.

Нина, когда приезжала с Саввой и Еленкой подышать воздухом, не могла вынести застойно-трагического взгляда матери, начинала орать: «Перестань на меня так смотреть!» Мэри беспомощно бормотала: «Ниночка, я так боюсь, с твоим прошлым ты...» Нина начинала намеренно хохотать, потом подсаживалась к матери, целовала ее. «Мамуля, ну, мы же не можем так сидеть и ждать... Мы жить хотим! А прошлое... да что с этим прошлым? Неужели ты не понимаешь, что сейчас за это не берут? Это тогда за это брали, а сейчас берут ни за что».

Глядя на нее, такую уверенную, как бы даже бесстрашную, полную юмора и вызова, Мэри немного успокаивалась: может быть, и в самом деле таких дерзких сейчас не берут? Зато Цецилия Розенблум с ее бес-

толковостью, с ее опущенностью и марксистско-ленинской одержимостью, казалось ей, абсолютно обречена. Каждый ее приезд в Серебряный Бор казался Мэри чудом: как, еще не арестована? Все еще пишет свои апелляции, кассации, докладные в вышестоящие партийные органы, все еще доказывает невиновность Кирилла, его принадлежность к генеральной линии, верность Сталину? Цецилия тоже ее успокаивала: «Мэри Вахтанговна, вы же понимаете, мы проходим сейчас через неизбежный и необходимый исторический цикл. В условиях построения социализма в одной, отдельно взятой стране периодически возникают условия обострения классово-борьбы. Сейчас этот цикл близится к завершению, подходит время итогов, суммирования результатов, коррекции, вы понимаете, я подчеркиваю, коррекции принятых мер. И в результате этой коррекции, я уверена, Кирилл Градов вернется к нормальному плодотворному труду. Мы не можем себе позволить разбазаривание таких безупречных кадров!» — «Кто это «мы», Циленька?» — печально спрашивала Мэри. «Мы — это партия», — уверенно отвечала золовка. Чтоб вас черт побрал, думала свекровь, уходила к своему единственному прибежищу, к роялю, перебирала минорные ключи.

Редкие случаи, когда в доме возникало какое-то подобие мажорной ноты, происходили после особенно сложных и удачных операций, проведенных Борисом Никитичем. Тогда открывалась бутылка вина из так называемой «московской коллекции дядюшки Галактиона». Агаша тут же вытаскивала из духовки пирог, как будто он давно уже там сидел и ждал, оживлялись и весело болтали дети, забыв о пропавших родителях, после ужина профессор просил жену сыграть что-нибудь «из старого репертуара», и она, скрепя сердце, играла.

В жизни Бориса Никитича, с одной стороны, как бы ничего и не изменилось. По-прежнему он читал лекции, оперировал, руководил экспериментальной лабораторией, консультировал больных, в том числе и из

Кремлевской поликлиники. По-прежнему приходилось ему иной раз и обед прерывать, и даже среди ночи вставать по срочному вызову. Надо сказать, что он никогда против этих тревог не роптал, всегда отправлялся туда, где его ждали, ибо такие вот экстремальные моменты всегда входили в его «философию русского врача», завещанную и отцом Никитой, и дедом Борисом. Теперь же, казалось Мэри, он бросался на эти вызовы даже с какой-то преувеличенной поспешностью, выходил к воротам еще до того, как прибудет автомобиль, как будто дом его тяготил и он пользовался любым случаем, чтобы поскорее его покинуть.

Старый Пифагор всегда считал своим долгом провожать хозяина до ворот. Теперь он сидел рядом с Бо в ожидании машины. Подняв воротник и нахлобучив шапку, профессор смотрел в глубину улицы, иногда опускал руку на голову Пифагору, произносил бессмысленное: «Вот так, Пифагор, вот так». Пес смотрел на него вверх влюбленным, но все-таки недоумевающим взглядом: при всем своем уме он не до конца понимал, что происходит в доме.

Ночная работа всегда вдохновляла Градова. Помощь, оказанная ночью, была благородным делом вдвойне. Ночной пациент почему-то был ему особенно дорог, любой ночной пациент, хоть и попадались теперь иногда среди ночных пациентов весьма странные штучки. Один из них, например, поверг недавно профессора в глубочайшее замешательство, вверг его в мучительные раздумья, как практического, так и философского порядка, впрочем... впрочем, давайте позднее расскажем об этих раздумьях, а пока повторим, что с профессиональной стороны жизнь Бориса Никитича Градова совсем не изменилась.

Другое дело — общественная жизнь именитого деятеля советской медицины. Прежде приходилось спасаться от приглашений в президиумы, от бесед с журналистами, от приема иностранных делегаций друзей Советского Союза. Теперь его как будто исключили, злове-

щий признак это — отстранение от так называемой общественной, полностью фальшивой и идиотской советской жизни. Были и другие признаки сгущавшейся опасности, прежде всего, разумеется, взгляды сотрудников в институте, в клинике, в лаборатории. Чаще всего он ловил на себе воровато-любопытные взглядики — как, мол, все еще здесь, а не там? — нередко замечалось отсутствие взгляда, отвод глаз в сторону, быстрое отвлечение к другому предмету, слепнущие вдруг от мысли глаза — что поделаешь, народ вокруг ученый, задумчивый, — иной раз он замечал взоры, полные молчаливой симпатии, которые тоже быстро упархивали прочь, их он называл про себя «пугливые газели».

Это постоянное ощущение сгущающейся опасности вконец измучило Бориса Никитича. Он чувствовал себя в западне. Был бы один, бросил бы вызов — оставил бы все чины и посты и уехал бы в деревню, в сельскую больницу, или даже в Среднюю Азию, в горный аул. Увы, не могу себе позволить: пострадаю не только я, но все, кто от меня зависит, любимая семья, да и те, кто в узилище, от этого не выиграют.

Один из его пациентов по Кремлевке посоветовал ему написать прочувствованное письмо в самый высокий адрес и даже дал понять, что проследит за прохождением письма. Борис Никитич внял совету, засел за составление текста, мучился, вычеркивал, перечеркивал в поисках убедительных, верноподданнических, но в то же время и достойных фраз, думал даже привлечь на помощь профессиональную литературу, то есть поэтессу Нину Градову, но тут вдруг обнаружилось, что пациент тот, его доброхот, только что исчез, катастрофически провалился под поверхность жизни и поверхность за ним сразу же затянулась.

Так все это продолжалось в ужасе и оцепенении, на укороченных шагах и приглушенных фразах, пока вдруг однажды в его клиническом кабинете не протрещал телефон и женский голос, звенящая фанфара распирающего все существо энтузиазма, не произнес:

— Борис Никитич, дорогой профессор Градов, вам звонят из Краснопресненского райкома партии! Только что текстильщицы Красной Пресни выдвинули вашу кандидатуру в депутаты Верховного Совета! Мы хотим знать, согласны ли вы баллотироваться в высший орган власти нашей страны, представлять в нем нашу замечательную медицинскую науку?

— Позвольте, это звучит, как какой-то неуместный розыгрыш, — пробормотал Градов.

Ласково, радушно, ну, просто в стиле кинофильма «Волга-Волга», голос рассмеялся. Вот, мол, экий рассеянный профессор, отрешенный от жизни мудрец. Не знает, что по всей стране идет кампания выдвижения кандидатов!

— Ну, какой же розыгрыш, дорогой профессор, мы сейчас едем к вам — из райкома, и из райисполкома, и ткачихи, и журналисты. Ведь это же такое радостное, уникальное событие — ткачихи выдвинули профессора медицины!

Градов бросил трубку, заметался, едва ли не зарычал. Страна идиотов! Детей бросают в тюрьму, отца выбирают в Верховный Совет! Спасаться! Не отдавая себе отчета в происходящем, он уже влезал в пальто — домой, домой! Единственный инстинкт еще работал и гнал его под родную крышу, но в дверь уже лез секретарь парткома, сущий хмырь, скопление низких эмоций, который все это время кабаном смотрел, а теперь растекался, как яичница по сковородке.

— Борис Никитич, дорогой, какая честь для всего института!

Весь день прошел в немыслимой, поистине абсурдной круговерти.

Прибежали «робкие газели», в глазах восторг, обожание: ну, ну, значит, все прошло, все позади, значит, миновало? Любопытствующие тоже перли, в глазах вопрос: значит ли это, что и сыновей градовских теперь освободят? Прикатили и журналисты из «Московской правды», «Медицинской газеты», «Известий», полез-

ли с карандашиками. Какова была ваша реакция на такую удивительную новость, товарищ профессор? За толкав себя в кресло и не вылезая из него, он бурчал в ответ: «Весьма польщен, но вряд ли достоин такой чести...» Все вокруг восхищенно смеялись: вот, смотрите, экая бука, настоящий человек науки, что и говорить!

Первое ошеломление прошло, он стал думать об этом неожиданном выдвижении, которое, без сомнения, было скомандовано сверху, с очень больших высот, и все больше наливался мраком: дело, конечно, было замешано на говне. Трижды подумаешь, прежде чем принимать этот спасательный круг.

Вечером Мэри реагировала на новость весьма однозначно:

— Неужели ты пойдешь к этим дебилам, Бо?! Неужели примешь участие в этой комедии выборов?! Дашь свое имя палачам?!

Он ничего не ответил и ушел в спальню, хлопнув по дороге всеми имеющимися дверьми. На улице ждала машина, чтобы возвести на собрание к восторженным текстильщикам. Он вышел из спальни при всем параде: темно-синий костюм, галстук в косую полоску, вполне безупречный джентльмен, если бы не три больших варварских ордена на груди.

— Кое-кто может себе позволить гневные риторические возгласы, я не могу, — сказал он, как всегда в минуты ссор, обращаясь к бюсту Гиппократу. — В отличие от некоторых безответственных и легкомысленных людей я не могу отвергнуть унижительного позора. Мне приходится думать о тех, кто в беде, и о семьях, которые, может быть, я смогу спасти своим позором. Мне приходится думать также об институте и о своих учениках! — С умеренной яростью поднял кулак, посмотрел, куда лучше ударить, ударил по обеденному столу, хорошо задребезжало, крикнул: — В конце концов, о больных, черт побери! — И вышел вон. В последний момент, перед тем как захлопнуть дверь, заметил, что Агаша крестится и Мэри крестится вслед за ней.

Они обе довольны, подумал он. Очень довольны, если не счастливы. Хоть на время, но главная катастрофа отошла, оплот не рухнул.

«Жить стало лучше, жить стало веселее!» — гласило короткое изречение, или, вернее, утверждение, а скорее всего, меткое наблюдение, выложенное аршинными красными буквами по окнам Центрального телеграфа и окаймленное электрическими лампочками. Засим следовало и имя меткого наблюдателя — И. Сталин, и его гигантский портрет. Ему и все приписывалось — улучшение и дальнейшее увеселение жизни. Особенно это касалось витрин магазинов на улице Горького. Как в газетах пишут: «Есть чем похвастаться московским гастрономам в эти предновогодние дни!» Тут вам и гирлянды колбас и фортеции сыра, пирамиды анчоусных консервов, щедрая россыпь конфет, обернутые серебром горлышки бутылок, как парад императорских кирасиров, ей-ей, не хуже. И вот потому-то и людской румянец живей мелькает сквозь мягкий снегопад, и смех как-то стал повкусней, и глазята бойчее. «Всех лучше советские скрипки на конкурсах мира звучат, всех ярче сверкают улыбки советских веселых девчат...»

Увы, остались еще и в нашей семье уроды, которых ничто не радует. Трое таких шли вверх по главной магистральной столице, двое внешне приличных мужчин и одна даже привлекательная женщина. Все трое курили на ходу, вот вам и интеллигенция. Это были Савва Китайгородский, Нина Градова и ее старый друг по тифлисским временам, художник Сандро Певзнер.

Он только что приехал из-за гор и сразу наведалься к Нине, которую столько лет мечтал узреть во плоти, память о которой не затуманилась ни вином, ни романами, ни живописью. Он очень волновался, как его встретят замужняя Нина и ее супруг-доктор, но встретили его замечательно, едва ли не сердечно, сразу же показали, что он «свой», то есть человек их круга, которому доверяют и от которого ждут ответного доверия, Савва стал собираться за «горючим» к ужину, Сан-

дро, естественно, как грузин не позволил ему отправиться одному в эту благородную экспедицию, тут и Нина за ними увязалась, так что решили вроде бы прогуляться, показать южанину новый центр Москвы.

В магазине, впрочем, разыгралась несколько неприличная сцена. Сандро не давал никому платить. Едва видел Нину у кассы, бросался к ней с пачкой купюр, едва замечал, что Савва собирается рассчитаться, тут же и его оттирал плечом, бросал кассиршам деньги, выкрикивал: «Сдачи не надо!» Ну, словом, грузин, богатый щедрый гость, восточный купец. Между тем его живопись не приносила ему почти ни копейки, и он работал за паршивенький оклад в Худфонде, распространял по предприятиям полотна и бюсты вождей. Он был очень типичным грузином, этот Певзнер, он и выглядел как грузин, со своими усиками, в большой кепке и демисезонном реглане с поясом. Удивительна способность евреев приобретать черты народов, среди которых им довелось жить. Русского Певзнера вы сразу отличите от польского, а уж между грузинским и турецким Певзнерами совсем нет ничего общего. Так или иначе, утяжелив бутылками карманы, троица покинула «Гастроном» и медленно двинулась вверх, к Большому Гнездиновскому переулку. Непрерывно и ровно, чуть только завихряясь на углах, падал мягкий снег. В толпе мелькали люди с елками на плечах. Деда-морозы в витринах соседствовали с отцом трудящихся всего мира, который непреложно напоминал трудящимся о быстротечности ежегодной этой идиллии и о вечности пятилетки. Сандро рассказывал Нине и Савве страшные тбилисские новости: «Тициан взят и исчез, Паоло застрелился... «Голубые роги» объявлены меньшевистской подрывной организацией. Степа Калистратов арестован и судим как троцкист. Он получил, кажется, десять лет, и пять лет поражения в правах. Отари, по слухам, просто был растерзан в НКВД...»

Нина сняла перчатку и на секунду приложила ладонь к щеке Сандро. Слухи о страшных арестах среди

грузинской интеллигенции уже давно стали доходить до Москвы. Сандро подтверждал самые ужасные. Тут уж никакой «юмор висельников» не поможет — уничтожается жизнь не только взятых, но и оставшихся на свободе, прошлое начинает зиять огромными кубами пустоты, а самое страшное в том, что пустые объемы тут же пытаются прикрыть плоской двухцветной фальшивкой.

— Ты не женат, Сандро? — спросила она.

— Какое там, — вздохнул он. — Друзья пропадают, сам ждешь с минуты на минуту, разве тут до женитьбы. Даже любовницу сложно держать в таких обстоятельствах.

— Ага, любовницу! — сказал Савва.

— Да-да, — покивал Сандро. — Моя вечная мучительница. Нина ее знает.

— Ну, он живопись свою имеет в виду, — пояснила Нина. — Что ты сейчас пишешь, Сандро?

— Рыб пишу, птиц, мелкие фигурки оленей, куски пейзажа, предметы со стола, все в таких фантастических комбинациях, понимаешь. В общем достаточно, чтобы пришить формализм. Я — знаешь как, да? — иногда пару-тройку холстов отвожу тете в Баку. Может, хоть что-нибудь сохранится.

— Кажется, все-таки волна пошла на спад, — сказал Савва, — когда живешь в многоэтажном доме, это заметно.

— Послушайте, друзья!

У Сандро в его речи, сопровождаемой жестикуляцией, иногда мелькали какие-то странные движения, сходные с театром марионеток. Так и сейчас он обратился налево и направо, то есть к Нине и Савве, держа руки согнутыми в локтях и ладонями кверху.

— Послушайте, художник — это всегда глупый, интеллектуально отсталый человек. Я не понимаю, что происходит. Исторически, философски не могу найти объяснения этим делам. Вы мне не можете объяснить?

— Савва может тебе объяснить, у него своя теория, — сказала Нина.

Савва взялся объяснять:

— Вся современная история России выглядит как череда прибойных волн. Это волны возмездия. Февральская революция — это возмездие нашей высшей аристократии за ее высокомерие и тупую неподвижность по отношению к народу. Октябрь и Гражданская война — это возмездие буржуазии и интеллигенции за одержимый призыв к революции, за возбуждение масс. Коллективизация и раскулачивание — возмездие крестьянам за жестокость в Гражданской войне, за избиение духовенства, за массовое Гуляй-поле. Нынешние чистки — возмездие революционерам за насилие над крестьянами... Что там ждать впереди, предугадать невозможно, но логически можно предположить еще несколько волн, пока не завершится весь этот цикл ложных устремлений...

Сандро прошел несколько шагов в задумчивости, потом повернулся к Савве:

— А знаете, Савва, я готов принять вашу теорию.

— Но ведь это же метафизика, — с некоторой лукавинкой сказала Нина.

— Вот именно! — воскликнул Сандро.

Несколько прохожих на него обернулись. Стоящий возле афиши человек с тростью и с трубкой в зубах, очевидный иностранец — они сейчас были редкие гости в Москве и поэтому мгновенно выделялись из тысяч, — вынул изо рта трубку и внимательно взгляделся.

— Мы что-то раскричались, — сказала Нина. — Забыли, что «Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на полразговорца, Там припомнят Кремлевского горца»?

— Это, кажется, Осипа? — спросил Сандро.

— Да, и говорят, это стоило ему жизни, — ответила Нина.

— Неужели Осип?..

— Точно неизвестно, но, во всяком случае, он там.

Сандро быстро перекрестился.

— Крестишься, Сандро? — тихо спросила Нина.
Он смутился и не ответил.

Иностранец, это был американский журналист Тоунсенд Рестон, долго смотрел вслед этой троице, пока их спины не скрылись за снегопадом и мелькающими заснеженными прохожими. Он только что приехал, бросил чемодан в «Национале» и вышел на первую вечернюю прогулку. Эти прогулки прежде давали обычно ключ для его примечательных статей. Обстановка фальшивости, которую он ожидал увидеть, все-таки поразила его, ибо явно уже приобрела устойчивые надежные черты и никому, кроме него, не казалась фальшивой. Тем более невероятно было увидеть среди этого зловещего всеобщего театра сравнительно молодых людей, что медленно шли по течению толпы, погруженные в серьезный, грустный и совершенно отчужденный от фальшивки разговор. Русского за эти годы Рестон так и не выучил и потому не уловил ни грана смысла, однако сам вид этой троицы как бы неким эпиграфом лег на еще пустые страницы.

За несколько дней до Нового года в Большом Кремлевском дворце была назначена сессия только что избранного Верховного Совета. Рестон после едва ли не скандала в ВОКСе получил аккредитацию на первое торжественное заседание. Он знал, что ни черта не увидит с балкончиков для иностранной прессы, кроме президиума, мягко аплодирующих вождей да ликования в зале. Впрочем, сказал ему коллега, постоянный корреспондент «Таймс», там ничего не будет, кроме мягко аплодирующих вождей и ликующих депутатов. Да, думал Рестон, тут все уже закручено туго. Напрасно большевиков иной раз ругают «красными фашистами», они гораздо круче итальянских опереточных злодеев. Скорее уж Муссолини можно было бы назвать под горячую руку «черным большевиком». У Иосифа же только один

ровня в мире — Адольф. Двадцатый век цветет двумя формами восхитительного социализма — классовой и расистской.

Эти мысли Рестон не решался впрямую высказывать в статьях. За свои высказывания о советском режиме он давно уже в леволиберальных кругах снискал репутацию «реакционера». В леволиберальных кругах, к которым прежде он сам себя причислял! Интеллигенция Запада отвергает расовую, но зато легко клюет на классовую наживку. Хотя бы намеками, расстановкой параллелей он старается провести идею о почти полной идентичности двух режимов. Увы, эта простая мысль либералами не прочитывается. Даже Фейхтвангер, сбежав от нацистов, аплодирует большевикам. Дает себя одурачить «открытыми процессами». Конечно, Сталин пока еще не давит евреев, но и до этого дело дойдет. Писатели, однако, за редким исключением, не видят сути, а между тем надвигаются страшные события. Без всякого сомнения, два режима, несмотря на то что сейчас они клянут друг друга, в самое ближайшее время сблизятся. Еще через некоторое время они ударят по Западу. Германская индустрия и русские ресурсы — этого удара атлантическая цивилизация не выдержит. В мире установится режим, где уже не будет ни левых, ни правых либералов. Словом «либерал» будет подтираться чекистско-гестаповская задница.

Какого черта я сюда приехал, разве я всего этого не знаю без путешествий в Москву? Какого черта я все таскаюсь в эту страну? Что меня сюда тянет? У меня тут даже любовницы нет. Женщины бросаются прочь, как только узнают, что я американец. Чистки, расстрелы и лагеря, похоже, уже добились здесь все живое. Здесь уже и деревья выглядят запуганными до предела. Раньше еще можно было поговорить с кем-нибудь на улице, можно еще было частично полагаться на переводчика. Сейчас все переводчики ВОКСа ежеминутно под немигающим оком Чеки. Простые люди не могут скрыть, что считают этих переводчиков прямыми офицерами

Чеки. Что они переведут и каковы будут последствия для собеседника? Дэмит, а русский выучить я так за эти годы и не удосужился, пьянчуга и лентяй. Какого черта я опять сюда приехал и хожу по этим улицам, как глухонемой, да к тому же и не один, всегда с хвостиком. Вот только сейчас, кажется, в связи с расширившимся пространством оторвались...

С этими мыслями известный на Западе политический обозреватель Тоунсенд Рестон вышел на брусчатку Красной площади, по которой гулял еще в самом начале нашего повествования вместе со «сменовеховским» профессором Устряловым, ныне бесследно пропавшим среди частокола так и не сменившихся вех. Площадь была вылизана до последней соринки, выметена так, будто и не прошли недавно снегопады. В прозрачно-темно-синем небе четко выделялись подсвеченные сильными лампами башни, зубчатые стены, всеми переливами струились флаги. Огромные портреты вождей, как всегда, создавали у Рестона ощущение сюрреальности.

По всей площади одиночками и маленькими группами не торопясь шли люди. Все в одном направлении — к воротам Спасской башни. Раньше тут они обычно робко так в очереди стояли, в очереди к ленинскому телу, вспомнил Рестон, а сейчас никого нет у Мавзолея, кроме стражи. В чем тут дело? Ага, сообразил он, на сессию идут. Это как раз и идут депутаты, «хозяева своей страны и судьбы», как ему объяснили в ВОКСе.

Народ шел веселый, очень плотный, тепло или даже слишком тепло одетый. Немало было азиатов, они как раз и двигались маленькими группками. Среди фигур и лиц, отражавших исключительную простоту избранных народа, Рестон вдруг заметил и лицо интеллигента. Пожилой человек в мягкой шляпе и в прекрасном старом пальто, очки, борода, в руке трость. Вот, почему бы не поговорить с этим господином, подумал Рестон. Возможно, он знает иностранные языки...

Этим человеком был Борис Никитич Градов, депутат Верховного Совета СССР от трудящихся Краснопресненского района Москвы. Он направлялся на торжественную сессию в Кремль и вспоминал утренний разговор с женой.

Мальчики были в школе, Верулька в детском саду. Мэри и Агаша готовили им сюрприз — убирали новогоднюю елку. Отличнейшее дерево, как всегда, привез Слабопетуховский. Игрушек, разумеется, изобилие. Вернутся дети, и ахнут, и запляшут. Осиротевшим при живых родителях, им особенно нужны такие праздники.

Вдруг Мэри взяла мужа за пуговицу и отвлекла в кабинет.

«Послушай, Бо, может быть, рассказать детям о том, что такое рождественская елка, что это за праздник, откуда это пришло, вообще обо всем этом?»

Борис Никитич после этого предложения немедленно, как это с ним стало случаться, разобиделся едва ли не до слез. Разобиделся и рассердился.

«Прости меня, Мэри, но у меня такое впечатление, что ты меня постоянно испытываешь! Что это значит? Еще раз хочешь показать, что я дерьмо, что никогда не могу сказать «нет» тому, что ненавижу, и «да» тому, что люблю? Это ты хочешь сказать?»

Мэри умоляюще сжала руки на груди: «Да как же ты так можешь говорить, Бо, мой милый?! Уж кому, как не мне, знать, какой крест ты несешь! Как я могу тебя испытывать? Я ведь этот вопрос тебе задала, как самому близкому и мудрому человеку. Я просто сама не знаю. Я просто боюсь: а вдруг мы детям повредим, если расскажем о Христе...»

Борис Никитич тут же все понял и тут же устыдился своей обиды. Приласкал старую подругу, внутри все потеплело от нежности.

«Прости, Мэричка, мою вспышку. Это эмоциональное напряжение, под которым мы все живем... Знаешь, мне кажется, сейчас не нужно приобщать ребят к религии, с этим следует повременить. Они очень от-

крыты, легко зажигаются, в их положении это может навлечь на них беду. Я знаю, что ты стала ближе к религии и что это тебе помогает. Меня и самого, поверь, порой тянет в какой-то тайный храм».

Нынче лобой храм стал тайным, и он сейчас был перед ним. Собор Василия Блаженного в этот торжественный вечер сессии сталинского парламента тоже был подсвечен и как бы приобрел новый объем в прозрачной ночи. Как сейчас они пишут о нем в газетах: «Входит в исторический ансамбль Красной площади». Видимо, отказались уже от планов сноса. Говорят, что после взрыва и расстрела пушками храма Христа Спасителя вопрос с Василием Блаженным был уже решен, как вдруг взбунтовался главный архитектор столицы, сказавший якобы: «Если хотите взрывать Василия Блаженного, взрывайте его вместе со мной». Синклит вождей, по слухам, был смущен, возникла проволочка, а потом произошла смена установок на сохранение «исторических ансамблей».

Борису Никитичу неудержимо захотелось перекреститься на храм. Вот, как тот архитектор, бросить вдруг всем вызов, снять шапку и перекреститься. Он снял шапку, как будто ему на секунду стало жарковато и перекрестился под пальто, мелко, но трижды. В этой стыдливости не только советский страх гнезвился, но и все позитивистское воспитание Бориса Никитича, которое ему отец Никита дал с одобрения деда Бориса. Теперь этому воспитанию, похоже, подходил конец. Красный шабаш, идущий из-за вот этих зубчатых стен, подрывал веру в «рацию», в «торжество человеческого разума», даже в ни в чем не повинную теорию эволюции. Философия раскачалась, страстно хотелось прибиться к каким-то другим, сокровенным берегам.

Вдруг какой-то человек, слегка обогнав профессора, приподнял шляпу и обратился по-английски:

— Excuse me, sir, by any chance, do you speak English?*

* Извините, сэр, вы случайно не говорите по-английски? (англ.)

Борис Никитич опешил. Это было так неожиданно, что он даже слегка качнулся, уперся тростью в брусчатку. Английский здесь, возле этих стен, возле... Сталина? Воздух здесь, казалось, не должен пропускать этих звуков.

— Yes, I do*, — пролепетал он, как школьник.

Незнакомец дружески улыбнулся. Градов растерянно улыбнулся в ответ. О Боже, какой незнакомый незнакомец был перед ним, какой ошеломляющий иностранец!

— Would you be so kind, sir, to give me a few minutes? I'm American journalist**, — сказал Рестон. Он был очень рад: какая удача — поговорить с русским интеллигентом старой закваски без помощи этих воксовских переводчиков!

Не ответив на этот вопрос ни слова, Борис Никитич шатнулся в сторону и резко зашагал, едва ли не побежал, вот именно побежал прочь. Американский журналист! Да что это такое, опять я подвергаюсь испытанию, и такому ужасному испытанию! Говорить без посредников с иностранцем, да еще с журналистом, когда твои сыновья в тюрьме, когда сам ты идешь на ристалище, когда ты в двух шагах от Сталина... нет, это уж слишком!

Он стремительно двигался в сторону горловины Спасских ворот, как будто искал убежища за этими воротами. Перед воротами, однако, пришлось затормозить, там красноармейцы проверяли депутатские удостоверения. Тут он опомнился, совладал с дыханием, вытер пот со лба. Трус и раб, сказал он себе. Позор. Сзади, прямо из-за плеча мужской голос густо произнес: «Молодцом, профессор. Так и надо. Ходят тут всякие, вынюхивают». Градов не обернулся, прошел под арку. Тень совы вдруг мелькнула над ним в коротком гулком тоннеле.

* Да (англ.).

** Не будете ли вы так добры, сэр, уделить мне несколько минут? Я американский журналист (англ.).

Депутаты медленно — так им было сказано: медленно, торжественно, товарищи! — поднимались по мраморным ступеням внутри Большого Кремлевского дворца. Вдоль всего первого марша и на промежуточной площадке лестницы стояли репортеры, фотографы и операторы кинохроники. Горели сильные осветительные приборы. Депутаты лицами выказывали большое торжественное счастье. Особенно хорошо получалось у тех, что в чаплахках, из Средней Азии, лица их сияли искренним обожанием в адрес стоявших наверху. А там, на вершине лестницы, мягко аплодируя и улыбаясь, ждали посланцев народа члены Политбюро ВКП(б), и в центре их группы, в светло-сером кителе и высоких шевровых сапогах, стоял Сталин. Он аплодировал всем и каждому в отдельности, а некоторых из депутатов задерживал возле себя, чтобы сказать и выслушать несколько слов.

Градов поднимался вместе с молодым авиаконструктором, которого встретил в вестибюле. Они были знакомы по Дому ученых, о нем говорили как о гении аэродинамики, кроме того, кажется, он одно время ухаживал за Ниной. В отличие от гостей из солнечного Узбекистана конструктор почему-то то и дело посматривал на часы и все что-то говорил Борису Никитичу о перспективах ракетного зондирования верхних слоев атмосферы. Градов его не слушал, а только лишь смотрел, как с каждым шагом приближаются матово поблескивающие, отличного черного цвета сапоги. С внутренним содроганием он вспомнил эти ноги без сапог, свою ужасную тайну. Тайна была такой глубокой и смрадной, что он был бы счастлив ее раз и навсегда забыть.

— А вот это, Иосиф Виссарионович, поднимается выдающийся хирург, профессор Градов, — не прекращая мягко аплодировать, сказал Молотов. Теперь уже все старые друзья на людях обращались к Сталину по имени-отчеству, в то время как он величал их по старому — Вячеслав, Клим...

— Который? Молодой или старый? — прищурился Сталин.

Притворяется Коба, подумал Молотов. Прекрасно ведь знает обоих.

А ты зачем притворяешься, Скрябин, подумал Сталин. Прекрасно ведь знаешь, что я знаком с Градовым.

— Пожилой, с тремя орденами, — сказал Молотов.

Сталин юмористически покосился на него:

— Познакомь меня, Вячеслав!

Да, Сталин знал Градова, но у него не было ни малейшего желания выдавать государственную тайну даже тем немногим, кто ее знал, в частности Молотову.

Месяца три назад на ближайшей даче в Кунцево среди ночи у генерального секретаря начались конвульсии. Мелькнула даже мысль — не умираю ли? Не за себя было страшно, а за дело. Историю, конечно, не остановить, но затормозить можно, и надолго: не каждый год появляются такие последовательные и упорные вожди, люди такого колоссального кругозора, как этот данный мученик конвульсий, бедный мальчик Сосо; немного стало уже путаться в голове. Конвульсии возникли не на пустом месте. Началось все с большого банкета в честь покорителей Арктики, где, кажется, слишком много покушал. Оттуда поехали на дачу к вновь назначенному наркомвнуделу, земляку Лаврентию. Там, в более интимном кругу, много пили, танцевали с подругами. Стула, однако, не было, а вот аппетит опять появился. К утру Берия накрыл такой стол с кавказскими деликатесами, что удержаться от нового обжорства Сталин не смог. Комбинация орехового сациви и карских шашлычков под соусом ткемали всегда способствовала закреплению, однако прежде Сталин умел справляться с этим досадным, «ридикюльным», как когда-то в семинарии говорили, вздором без посторонней помощи, дедовским способом, при помощи двух пальцев. На этот раз дедовский способ не помогал. Дни проходили за днями, но облегчения они не приносили. Сталин тяжелел, мрач-

нел, на заседаниях правительства то и дело приходил в ярость, требовал немедленной очистки страны от всех, от всех врагов народа! Сказать постоянно дежурившим возле него врачам энкавэдэ, что его мучает, он не решился: никакого не было желания произносить перед этими олухами слово «запор», выставлять вождя трудящихся в «ридикюльном» положении. Врачи же, в свою очередь, дрожали от страха, боясь сделать в адрес великого вождя такое позорное предположение. День за днем Сталин героически боролся со свалившимся на него испытанием. Уходил в свои личные комнаты, куда никому доступа не было, часами сидел на толчке, просматривал старые газеты со статьями ныне арестованных товарищей по оружию, убеждался в своей правоте — правильно арестованы товарищи! — ждал блаженного мига. Блаженный миг не приходил, живот казался ему вместилищем свинца, вернее, сплошным куском свинца. В голове стало уже путаться, посещали какие-то мысли о матери, а это значит — путается в голове, свинец подпирал уже под горло, разделить бы его по девять граммов, роем пустить по свету, то есть не остается сомнений в том, товарищи, что налицо перед нами явные признаки свинцового отравления, о котором нередко предупреждали большевики. В такой вот момент он распахнул дверь, крикнул: «Доктора!» — и повалился на тахту. Вбежали энкавэдэшные врачи:

— Что с вами, товарищ Сталин?

— Свинцовое отравление, — был ответ.

Врачи бестолково засуетились. Один из них катал в ладони две слабительные пилюли.

— Может быть, дать... вот это? — спрашивал он у второго.

— Что это?

— Ну, вы же знаете что!

— Ну, хорошо, давайте, давайте это, а то...

Пилюли эти, может быть, и сработали бы, получили Сталин дней на пять раньше, сейчас они лишь вызвали приступы мучительнейших конвульсий. Жижка какая-

то вытекала по каплям, свинцовая же стена стояла нерушимо. В такой конвульсии Сталин однажды и исторг имя Градова: «Градова привезите, мерзавцы! Настоящего врача, профессора Градова!» Имя Градова запомнилось ему еще с двадцатых, еще до того важного партийного мероприятия, в котором Градов частично участвовал, Сталин знал об этом знаменитом московском профессоре и где-то в тайничке всегда резервировал за собой это хорошее, сугубо русское — не то что всякие вовси-шмовси — имя как имя целителя, настоящего врача. С тех пор, конечно, жизнь постоянно усложнялась и классовая борьба ужесточалась, разное происходило с людьми, за всем не уследишь, но вот в роковой час конвульсий имя вдруг снова выпрыгнуло из тайничка: Градова! Градова!

Борис Никитич возвращался после операции домой дикой пронзительной ночью, в промозглый и гудящий час ведем, когда его машину на Хорошевском шоссе перехватили два автомобиля чекистов. Он сразу понял, что это не заурядный арест, а что-то посерьезнее. Старший в группе сказал ему металлическим голосом:

— Пересаживайтесь в нашу машину, профессор. Дело самой высшей государственной важности. — В машине тем же тоном, исключавшим любую возможность диалога, он добавил: — Учтите, секретность стопроцентная. За малейшее разглашение понесете ответственность в самых строгих формах.

Пациента, то есть Сталина, он увидел лежащим на тахте в кабинете. Ошеломляющий смрадный запах. Пациент был в полубессознательном состоянии и бормотал что-то по-грузински. Никто не решался приблизиться к нему, даже расстегнуть задравшийся китель. Энкавдэшные врачи трепетали в углу кабинета.

— Разденьте больного! — немедленноскомандовал Градов и сам начал расстегивать пуговицы кителя. Охранники быстро потащили с ног вождя сапоги. — Сни-

майте брюки! — Поползли командирские штаны. Удивило низкое качество кальсон. — Марлю! Вату! Теплой воды! Клеенку! Судно! — продолжал командовать профессор, потом обернулся к энкавэдэшникам: — Доктора, подойдите!

Не без интереса он смотрел на двух медиков невидимого фронта. Не похоже было, что они привыкли врачевать, должно быть, в других делах больше практиковались.

— Анамнез! — сказал он им.

Врачи замаялись, забормотали:

— Полное отсутствие перистальтики... стеноз кишечника... не решались до вас, профессор, применить меры... картина нетипичная... товарищ Сталин не обращался...

— Кальсоны тоже снимайте! — гаркнул Борис Никитич на охрану. Голый Сталин теперь лежал перед ним. Он начал пальпировать совершенно каменный под слоем жира живот. В этот как раз момент началась очередная конвульсия. По клеенке из-под Сталина поползла скудная жижа. Отдельно от всего тела плясал на правой ступне шестой пальчик. Градов оторвал взгляд от этого редкого явления и посмотрел в лицо больного. Из-за оспин и морщин глянули осмысленные мукой глаза. Сталин прохрипел:

— Помоги мне, кацо, и проси, что хочешь.

— Сколько дней у вас не было стула, товарищ Сталин? — мягко спросил Борис Никитич. Он знал, что самый звук его голоса оказывает на больных благое действие. Вот и Сталин вздохнул с явной надеждой.

— Десять дней не было, — простонал он, — а может быть, и больше... две недели, а?..

— Сейчас мы вам поможем, товарищ Сталин, потерпите еще немного. — Градов одобряюще похлопал Сталина по руке, ловя себя на ощущении того, что перед ним уже никакой не «вождь народов», а просто пациент. Любого пациента он вот так же похлопал бы по руке. Затем он попросил провести его к телефону, позвонил в кунцевскую Кремлевку и начал отдавать распоряжения.

Стоящие рядом три человека с лицами борзых собак ловили каждое его слово. Через двадцать минут из больницы привезли двух медсестер со всем необходимым. Борис Никитич наладил восходящую клизму, сделал несколько уколов — зуфилин в вену, камфору под кожу, магнезию внутримышечно. Комбинация подействовала немедленно, сняла напряжение, расслабила гладкую мускулатуру, снизила кровяное давление, упорядочила ритм дыхания и пульс. Клизма тоже делала свое дело, через несколько минут состоялся прорыв линии обороны, пролом вавилонских стен, называйте это как угодно, но только не выходом сталинского дерьма. Между тем дерьмо шло и шло, сестры не успевали менять и выносить судна, победоносно лопались пузыри газа, с ревом, подобным дальнему камнепаду, пробуждалась перистальтика. Смрад шел разнородными волнами, ибо каждый выходящий слой нес свое. К нему нельзя было привыкнуть, надо было просто сказать себе, что так обстоят дела.

Сталин лежал с блаженной улыбкой на обострившемся хитром лице. Никогда, никогда, никогда в жизни он не испытывал такого потрясающего освобождения плоти и усталого духа. Даже когда из ссылки убежал, не говоря уже о революции семнадцатого года. Все тогдашние освобождения немедленно вызывали какую-то собачью трясучку, жажду немедленной деятельности, и только вот сейчас, после этого «прорыва» — он так в уме и определил это словом «прорыв», — всякая трясучка вдруг прошла и открылись мягкие склоны и дали разной синевы, благодатный, чуть звенящий картлийский сентябрь, и он в этой благодати, почти в ней растворенный, почти молекулярный, как будто не он творил и будет творить все эти революционные ужасы. В эти волны тепла и отречения вливалось иной раз лицо с бородкой и глазами, которые и в самом деле были зеркалами чистой души. «Как себя чувствуете, больной?!» — спрашивало лицо. Оно каким-то больным интересовалось, так по-человечески простодушно кем-то интересовалось, да что там хитрить — интересовалось Сосо. «Спасибо, профессор, я хорошо се-

бя чувствую, хорошо...» Выплывало и дрожало вблизи человеческое лицо. Ну попроси меня о чем-нибудь, профессор, и все получишь. Попроси за своих сыновей, и они через два дня будут с тобой. Проси сейчас, профессор, пока хочу тебя благодарить, потом будет поздно. Сулико-о-о, Сулико-о-о...

Нет, не могу я тебя сейчас ни о чем просить, тиран, думал Градов. Врач не может просить пациента в момент оказания помощи, а ты сейчас все еще мой пациент, а не грязный тиран, тиран...

Шагнув на одну ступеньку вниз, Молотов подал руку Градову:

— Поздравляю вас, профессор Градов, с избранием в Верховный Совет! Хочу вас представить товарищу Сталину!

Сталин пожал руку Борису Никитичу. Он был сейчас в отличном состоянии здоровья. Промытые наодеколенные усы и шевелюра отливали темно-рыжим блеском.

— Поздравляю, профессор! Это очень хорошо, что в нашем советском парламенте рядом с рабочими и колхозниками будут заседать представители советской науки, в частности нашей передовой медицины.

Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Если он сейчас попросит о сыновьях, я его уничтожу, подумал Сталин.

— Благодарю вас, товарищ Сталин, — сказал Градов и тактично отошел в сторону потока депутатов.

Сталин с одобрением проводил его взглядом. В следующий миг ему вдруг показалось, что окно над мраморными ступенями залепил огромный глаз совы. Потом все прошло.

Антракт VII. Пресса

Герои Советского Союза в Вашингтоне. Уже давно ни одно крупнейшее авиационное событие не имело такой большой

прессы, как перелет Чкалова, Байдукова и Белякова. «Воздушные герои», «Победители магнитных джунглей вершины мира», «Советская столица стала ближе к нам, чем мы думали» — в таких выражениях американская пресса оценивает подвиг советских героев. Президент США Ф. Д. Рузвельт ждет летчиков в Белом доме.

Московская милиция арестовала Бурцеву, занимавшуюся производством абортов на квартирах своих пациентов и в номерах бани.

Радио. Северный полюс.

Москва, ЦК ВКП(б), товарищу Сталину, товарищу Молотову.

Дорогой Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович!

Наша четверка восторженно встретила весть о высшей награде родины. Впереди нас ждет большой труд, но мы твердо знаем, что окружены Вашей любовью и заботой и вниманием всей страны.

Мы приложим все силы, чтобы оправдать Ваше доверие и чтобы при любых обстоятельствах хранить честь нашей родины.

Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров

На выпуск займа укрепления обороны СССР трудящиеся отвечают дружной подпиской.

После долгого молчания Союз советских писателей Карелии наконец решил обсудить вопрос об авербаховщине в литературе. Прения показали, какой огромный вред нанесли карельской литературе пережитки рапповщины. Буржуазные националисты Луото, Оннонен, Райтунайнен ориентировали писателей на создание общефинской (явно буржуазной) литературы. Эти троцкистско-фашистские идейки привели к тому, что карельский народный эпос «Калевала» стал приписываться финнам. Националисты исключены из Союза писателей.

ЦК ВКП(б) с глубоким прискорбием извещает о смерти после продолжительной болезни старого большевика, видного хозяйственного работника тяжелой промышленности, члена ЦК ВКП(б) Иосифа Викентьевича Косиора.

Речь колхозника Данилы Онищенко: «Я горячо приветствую партию и правительство за долгожданный заем. Три моих сына являются бойцами Красной Армии, Иван — командир батареи, Михаил — летчик, Павел — связист. У меня есть еще два сына, трактористы. Если враг посмеет сунуться к нашей границе, мы с сыновьями пойдем крушить вражеских гадов. Каждый член нашей семьи подписался на сто рублей».

За последние дни в Германии умерли от зверских пыток гестапо несколько политических заключенных. Газеты называют известного германского спортсмена Вилли Гроссейна, Валентина Шмецера и др.

Величайшая стройка второй пятилетки завершается: канал Москва — Волга, начатый по инициативе товарища Сталина, построен! Привет строителям замечательного сооружения сталинской эпохи.

По предварительным данным, Ирина Вишневецкая (первый пилот) и Катя Медникова (второй пилот) побили международный женский рекорд высотного полета (6115 метров).

Состоялся первый двусторонний трансатлантический перелет английской летающей лодки «Каледония» и американской летающей лодки «Сикорский 42-В». Предстоит открытие регулярных трансатлантических почтово-пассажирских линий.

Фашистские хозяева ликвидированной фашистской банды Тухачевского и К° никак не могут оправиться от неожиданного и тяжелого поражения. До сих пор они скорбят по своим верным агентам. Еще бы, выведен из строя один из важнейших военно-шпионских отрядов фашизма. Всему миру очевиден грандиозный провал их разведки.

С сделанным негодованием автор статьи в военной газете «Дойче Вер» пытается отвести от Тухачевского обвинения в шпионаже, но тут же вынужден признать, что он был организатором контрреволюционного заговора: «Тухачевский хотел стать русским Наполеоном, но он слишком рано раскрыл свои карты или, как это обычно бывает, в последнюю минуту стал жертвой предательства».

«В числе судей, — продолжает «Дойче Вер», — были военные пролетарии, Блюхер и Буденный». Этими «военными пролетариями» гордится наша страна, гордятся трудящиеся всего мира. Заявление «Дойче Вер» выдает фашистскую разведку с головой.

Клиенты, требуйте от работающих парикмахеров, чтобы они мыли руки!

Из речи прокурора СССР товарища Андрея Януариевича Вышинского: «...Мы все помним слова великого Сталина о том, что «новая конституция СССР будет моральной помощью и реальным подспорьем для всех тех, кто ведет ныне борьбу против фашистского варварства». Вот почему так беснуются сейчас наши враги.

В СССР, где победил социализм, где нерушимо закрепились подлинная культура и демократия, законность является могучим оружием дальнейшего прогресса, дальнейшей борьбы за социализм.

Товарищ Сталин указал на опасность «идиотской болезни» беспечности, на необходимость преодолеть эту болезнь, чтобы уметь распознать и победить врага. Сейчас контрреволюционная антисоветская агитация прибегает к самым разнообразным приемам и очень неплохо умеет замаскировать свои антисоветские выступления. Так, например, недавно в г. Куйбышеве был задержан на базаре один «глухонемой», у которого на груди красовалась дощечка с контрреволюционной надписью: «Помогите глухонемому, лишили работы, раздели и есть не дают». В милиции оказалось, что этот «глухой» вовсе не глух, «немой» вовсе не нем, он оказался раскулаченным кулаком, который в этой форме избрал определенный способ борьбы с советской властью».

Крупная победа «Спартак» над футболистами Страны Басков. Счет 6:2.

40 тысяч физкультурников из 11 республик демонстрируют на Красной площади свою силу, бодрость, отвагу, пламенную любовь к родине и беспредельную преданность лучшему другу советских физкультурников товарищу Сталину. Пляски, пирамиды, танки из цветов!

Молодость наша была голодна и сурова,
Зрелости нашей открылись несметные клады.
В сталинских днях на земле возвращается снова
Век красоты, воспетый в легендах Эллады.

Небо сегодня особенно ясно над нами,
Солнце для нас по-особому ласково светит,
Радость свою расцветили живыми цветами
Дети октябрьской победы, счастливые гордые дети.

Алексей Сурков

Мы видели Сталина, видели его улыбку, ласковую, отеческую... По первому зову Сталина перед вождем пройдет вся наша страна, весь отважный народ всадников, горцев, хлопкоробов. Возвращаемся домой вдохновленные Сталиным.

Руководитель физкультурной делегации
Таджикской ССР *Корниенко*
Комиссар делегации *Кузи Акилов*
Физкультурники: *Аслан Шукуров,*
Амито Юлдашева, Вали Малахов

ЦИК СССР постановляет: за выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных заданий наградить товарища Н.И.Ежова орденом Ленина.

Товарищ Ежов олицетворяет собой образ большевика, у которого слова никогда не расходятся с делом. История назначила органам НКВД быть, по словам Сталина, «грозой буржуазии, неусыпным стражем революции, обнаженным мечом пролетариата». Подлый предатель и враг социализма Ягода старался притупить острие нашего меча. Железная рука товарища Ежова, посланца Сталина и ЦК, восстановила большевистский порядок.

Весь народ держит в руках этот меч. Поэтому у НКВД уже есть и будет еще больше миллионов глаз, миллионов ушей, миллионов рук трудящихся, руководимых большевистской партией и сталинским ЦК. Такая сила непобедима!

Развитие колхозного строя в Таджикистане тормозила банда врагов, засевавшая в руководстве, и всех их приютит

председатель Совнаркома Таджикистана Рахимбаев. Буржуазные националисты в Таджикистане под руководством Рахимбаева, Ашгурова, Фролова расноясались! Пора укоротить им руки!

Клевета на украинскую действительность. Одесса. Выставка картин и этюдов Советской Украины и Молдавии открылась в государственном художественном музее Одессы. Картины и этюды так подобраны и расставлены, что Украина и Молдавия показаны в совершенно искаженном свете. Вот три забитых нищих женщины плетутся по дороге. Вот другая картина — дохлая корова, два петуха, опрокинутое корыто, худая некрасивая женщина... Картина называется «Колхозница-доярка».

...А где украинские колхозы, красиво убранные улицы, свежие дома? Где зажиточные украинские колхозники? Куда девались замечательные молдаванские пляски, песни? Где стахановцы? Ничего этого на выставке нет!

Выставку нельзя рассматривать иначе, как наглую вылазку украинских националистов. Троцкистско-бухаринские враги, вредители, орудовавшие в Управлении по делам искусств при Совнаркоме Украины, умышленно направили кисть некоторых художников по вражескому пути.

Центральный комитет компартии Армении долгое время возглавлял враг армянского народа, презренный изменник Хонджян. После разоблачения Хонджяна этот пост занял Аматауни. Новый руководитель часто хвастал, что заслуга в разоблачении Хонджяна принадлежит ему. А как выяснилось сейчас, Аматауни оказался ярым приспешником Хонджяна, продолжателем его контрреволюционной деятельности.

Аматауни с давних пор предавал интересы народа, примыкал к троцкистской оппозиции. Он приблизил к себе дашнакского агента Акопова, выдвинув его на пост второго секретаря. На посту председателя Совнаркома оказался Гуляян, оруженосец расстрелянного врага народа Каменева.

Состоявшийся недавно пленум послал товарищу Сталину большевистское слово до конца разгромить всех врагов армянского народа.

Пейте вкусное и питательное какао «Экстра»!

Драмкружок завода «Авиахим» осуществил постановку «Ромео и Джульетты» В.Шекспира. В роли Ромео диспетчер тов. Дрозденко, Джульетта — учетчица тов. Крючкова.

Западная граница БССР. Темная ночь. Пограничники Василий Никишкин и Николай Оскин, находясь в «ночном секрете», заметили человека, который пробирался на советскую территорию. Никишкин крикнул: «Стой!» В ответ раздался выстрел. Пограничники застрелили нарушителя. При обыске у него найден наган, заряженный 5 патронами, 300 рублей советских денег, деревянная коробка с ядовитым порошком и бутылка с жидкостью. Убитый являлся агентом одного из соседних государств.

Вражеская вылазка. В Кемеровском горсовете орудует чья-то вражеская рука. За подписью зампреда горсовета Герасимова и ответственного секретаря Волохова выходят удостоверения на право составления списков избирателей, заполненные хулиганским контрреволюционным образом.

ТЭЖЭ, лучшие туалетные мыла, кольд-крем, ронд.

Читатели, получившие очередной номер журнала «Тихий океан», с изумлением увидели, что редакция полностью замолчала решения февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б). Нет никаких признаков того, что редакция сделала для себя выводы из доклада товарища Сталина.

Многие материалы протаскивались в журнал вражеской рукой. Автор статьи о Японии, например, пишет: «Фашизм в Японии пока(!) еще не имеет значительной(!) притягательной силы для масс...» Что значит это «пока»? Может быть, фашизм будет иметь «значительную» притягательную силу для масс в Японии?

...Враги так прочно укрепились в журнале, что перепечатавают на его страницах реакционные статьи японской прессы. В чьих интересах действует редактор журнала Г.Войтинский? У него нет почти ни одного номера без вражеской контрабанды.

Разоблаченные враги народа, занимавшие руководящие посты в Академии сельхознаук и в Главзерно Наркомзема СССР, немало потрудились, чтобы запутать зерновое дело.

Было бы непростительным благодушием считать, что после разоблачения на фронте растениеводства все обстоит благополучно. Корни вредительства, несомненно, остались.

Дети Испании прибыли в Ленинград. К плавучему приемному маяку приблизился теплоход «Кооперация». На его борту больше шестисот детей героических борцов Астурии, Бильбао и Сантарена. Несколько часов спустя подошел теплоход «Феликс Дзержинский». Он доставил еще несколько сот детей. Звучат звонкие детские голоса: «Вива Руссия! Вива Сталин!»

Войдут в века железным рядом
Героев наших имена.
На радость нам весенним садом
Цветет советская страна.
О светлых днях родной державы
Звени и пой, двадцатый год!
На подвиг доблести и славы
Нас имя Сталина ведет.

Алексей Сурков

По данным Башкирского обкома коммунистами республики потеряно 377 партбилетов нового образца. Этим пользуются враги народа, шпионы, диверсанты. Немало партбилетов попало в руки врага.

Вседонецкий слет стахановцев и ударников-шахтеров. В своей речи тов. Никита Изотов сказал: «Выкорчевать вредителей до конца!»

Писатель Всеволод Вишневский ведет репортаж с предвыборного собрания текстильщиков. У всех на устах — Сталин. Почти каждый оратор горячо и вместе с тем глубоко интимно говорит о своем личном отношении к Сталину. Говоря от имени трудящихся, выдвинувших кандидатуру Сталина в Верховный Совет СССР, текстищик Зверев сказал: «Товарищ Сталин вникает во все мелочи, во все подробности быта, работы и оплаты рабочих. А сколько улучшений внес товарищ Сталин в работу текстилей!»

Четыре тысячи рук в одном порыве поднимаются за кандидатуру товарища Сталина.

Антракт VIII. Перескок белка

Он не мог представить, что так быстро снова окажется там, где царил, и даже будет здесь кое-что узнавать. В тот недалекий еще момент, когда Горки с их уютным маленьким дворцом и парком стали стремительно отлетать прочь, Ульянов был уверен, что сваливается в тартарары, хотя поначалу казалось, что Горки внизу, а он летит вверх. Тартарары, тартарары, вот, собственно, единственное слово, которое осталось тогда с ним из его некогда небедного лексикона. Тартарары, вскоре вся эта чепуха вроде направлений вверх-вниз, налево-направо исчезла, и перед ним действительно стали разверзаться тартарары. Какой-то частью своей он еще осознал: что-то когда-то раньше было — кофе и горячие булочки, например, — что-то где-то есть и сейчас, а именно ровно-восторженно-музыкальное, уже недоступное, но понимал, что еще миг, и больше уже никогда ничего нигде не будет, кроме тартарары. Меньше всего он думал, конечно, в этот момент, что заслужил эту участь свою, скажем, жестокостью или вероломством, ибо такие понятия, как «наказание», исчезли, и даже любимые темы вроде «Как нам реорганизовать Рабкрин», то есть что брезжило почти до самого конца, поглотились все приближающимися тартарары. Как вдруг что-то как бы дернулось, включился как бы некий тормоз, своего рода парашютик, и тартарары с их неумолимостью, с превращением всей ульяновской сути в суть муки вдруг остановились и стали отдаляться, а Ульянов на парашютике начал некое неторопливое снижение или воспарение, протекая через огромные пространства, в которых даже мелькали иной раз клочки «Рабкрина», больше того — разбросанные ноты той самой «нечеловеческой музыки», что заставила его однажды на мгновение забыть о призвании революционера.

Присутствие воздуха и взвешенной в нем влаги он снова почувствовал в дупле среди шевеления таких же, как и он сам, пушистых и мелких. Он высунул головку из-под мамкиного пуза и ошеломился земными запахами. Кора, секреция мамки, дымок, тлеющие косточки, листья, бутончики, почки, муравьи, червяки, густой хмель оттаивающей земли, все еще неведомое, неопознанное, но будущее, то, что заставило

его вдруг радостно пискнуть и чуть подскочить на манер какого-то умопомрачительно далекого припрыга с хихиканьем, с заложенными за вырезы жилетки пальцами: э-ге-ге, ба-теньки мои!

Он быстро рос и к середине тридцатых иные наблюдательные знатоки природы в Серебряном Бору могли выделить среди многочисленного беличьего населения исключительно крупного самца, настолько крупного, что язык как-то не поворачивался назвать его фемининской белкою, напрашивался некий «белк».

Следует сказать, что и в этом обличье Ульянов оказался среди сородичей общепризнанным авторитетом. Естественно, он не обладал теперь гипнотическими свойствами интеллекта, зато в силу неведомых игр природы приобрел феноменальные качества воспроизводителя. Этому и предавался. В этом и ощущал свое предназначение. С первейшими проблесками зари и до последних угасаний заката взлетал он по стволам сосен, совершал колоссальные прыжки с ветки на ветку, пронесился по опавшей слежавшейся хвое, по тропинкам, по крышам и заборам дач, преследуя своих пушистохвостых соблазнительниц, которые только и жаждали поимки, а потому и убегали со всех ног. Настигнув, подвергал великолепному совокуплению.

Только по ночам он позволял себе отдохнуть, покачаться в дремоте на надежной ветке сосны, ощущая себя в уюте и безопасности среди игры теней и лунного света. Иногда, впрочем все реже, посещали какие-то озарения из ниоткуда — среди них чаще всего возникали стены с зубцами в форме ласточкиных хвостов, — но он их отгонял движениями своего собственного мощного хвоста.

Надо сказать, что самцы серебряноборского роя беспрекословно признавали его первенство, но не собирались вокруг него, как в прежней жизни, а, напротив, старались держаться в отдалении, робко шакала по периферии его бесчисленного гарема. С великодушием силача он не обращал внимания на робких, с теми же немногими, кто осмеливался бросить хоть малый вызов, расправлялся без промедления — подкарауливал, бросался, мгновенным укусом в горло обрывал жизнь. В этих победах чудилось ему что-то прежнее.

Впрочем, по прошествии нескольких лет он стал спокойнее, оплодотворив уже несколько поколений подруг, то есть и дочек своих, и внучек, и правнучек. Ощущение некоторой

гармонии стало посещать его, и он даже стал позволять себе задерживать редкие озарения из того, теперь уже почти непроницаемого прошлого, и даже задавался иной раз вопросом: а не таится ли за зубчатыми стенами некий грецкий орех?

Однажды ближе к сумеркам, отдыхая после очередного соития на верхнем этаже могучей сосны, он глянул вниз и увидел женщину, сидящую на скамье в позе печального раздумья. Он и раньше замечал эту человеческую самку, переливающуюся в основном светлыми цветами спектра. Прежде она не была такой тихой, напротив, говорила громко, часто смеялась, шумно ссорилась, вела любовные игры в основном с одним и тем же мужчиной. Теперь она была грустна, рассеянна, в тоске, спектр ее подернулся дымкой, и вечно сопровождавший ее запах цветов слегка увял. Вообразить ее вот так, сидящей среди леса в одиночестве? Нечто несусветное внезапно посетило Ульянова: «С такой женщиной я бы не допустил раскола партии, не скатился бы до диктатуры...»

Он соскользнул вниз, прыгнул на скамью и застыл в своей коронной позе, глядя на женщину. Она почувствовала его присутствие, подняла голову и повернулась.

«Боже, какой большой! — произнесла Вероника и засмеялась почти по-прежнему. — Тебя надо пионерам показывать, дедушка Ленин!»

Она осторожно протянула руку к выдающемуся белку. Ульянов не отскочил. Он видел над собой мягко, в меланхолическом ритме пульсирующий ручеек. Перекусить его в одном мгновенном броске не составило бы труда. Рука опустилась на его голову и прошла по спине. «Не боится, — удивилась Вероника. — Ну, пойдем, со мной, пойдем к нам, дам тебе орехов...»

Она удалялась по тропинке. Ульянов, сидя под сосной, содрогался в оргазме. На ночлег в тот день он устроился возле дома, в котором жила та женщина. Дом был полон света, сквозь щели в шторах мелькали тени, иногда проходила и она. Ульянов дремал в блаженстве.

В ту же ночь ее увели. Ульянов хоть и не понимал смысла происходящего, чувствовал, что это навсегда. В последний момент перед посадкой в машину он успел пролететь через двор и предстать перед Вероникой на макушке заборного столба. Взгляд ее, обводящий небосвод, упал на него, лицо исказилось мгновенным ужасом. Дверца машины хлопнулась. С тех пор она иногда вспоминалась Ульянову,

всегда почему-то в сочетании с неопределенным изломом зубчатых стен, как будто в этом моменте пространства сошлось безвозвратное с запахом свежего кофейку-с.

Однажды в исключительно ясный, бездонно голубой день Ульянов-белк заметил над собой на огромной высоте черную точку и сразу же понял, что это конец. Перед тем как она начала на него падать, он еще успел озариться откровением и понять, что краткая беличья жизнь была ему дана лишь для того, чтоб хоть малость охладиться после той прежней сатанинской трясушки.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Скифские шлемы	3
Глава II. Кремль и окрестности	25
<i>Антракт I. Пресса</i>	57
<i>Антракт II. Полет совы</i>	59
Глава III. Лечение Шопеном	61
Глава IV. Генеральная линия	76
Глава V. Театральный авангард	94
Глава VI. $\sqrt{\text{РКП(б)}}$	101
Глава VII. На носу очки сияют!	129
<i>Антракт III. Пресса</i>	149
<i>Антракт IV. Пляска пса</i>	152
Глава VIII. Село Горелово, колхоз «Луч»	155
Глава IX. Мешки с кислородом	163
Глава X. Зорьки, голубки, звездочки... ..	183
Глава XI. Теннис, хирургия и оборонительные мероприятия	196
Глава XII. Шарманка-шарлатанка	207
Глава XIII. Жизнетворные бациллы	217
<i>Антракт V. Пресса</i>	225
<i>Антракт VI. Шум дуба</i>	230
Глава XIV. Особняк графа Олсуфьева	233
Глава XV. Несокрушимая и легендарная	241
Глава XVI. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!	258
Глава XVII. Над вечным покоем	278
Глава XVIII. Рекомендую не ридать!	295
Глава XIX. «Мне Тифлис горбатый снится»	318
Глава XX. Мраморные ступени	347
<i>Антракт VII. Пресса</i>	370
<i>Антракт VIII. Перескок белка</i>	378

Василий Аксенов
МОСКОВСКАЯ САГА
ПОКОЛЕНИЕ ЗИМЫ

книга первая

Редактор *Михаил Гуревич*
Художники *Александр Анно, Максим Горбатов*
Корректоры: *Татьяна Калинина, Наталия Пуцина*
Компьютерная верстка *Евгений Евсеев*

ЛР ИД № 05359 от 12 июля 2001 г.
Издательство «Изографус»
Москва, ул. Петра Романова, 19, офис 13
Тел./факс 277-75-75

Отдел реализации: Москва, 3-й Павелецкий пр-д, 9
Тел. 235-07-31, факс 235-02-37
e-mail: IZOGRAF@TSR.RU

ООО «Издательство «Эксмо».
107078, Москва, Орликов пер., д. 6.
Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

*По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламное агентство «Эксмо». Тел. 234-38-00*

Книга — почтой: Книжный клуб «Эксмо»
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
Многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1.
Тел./факс: (095) 932-74-71

Подписано в печать 04.11.2002.
Формат 84×108 ¹/₃₂. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Бум. писч. Усл. печ. л. 20,16.
Доп. тираж 5100 экз. Заказ № 7077

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ISBN 594661026-0



9 785946 610261

ЧИТАЙТЕ КНИГИ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

Затоваренная бочкотара

В давние времена, шестидесятые — семидесятые, люди до дыр зачитывали журнальные тетрадки с его новыми повестями и рассказами. Особенно популярна была «Затоваренная бочкотара» — фразы из нее становились крылатыми. Пусть и нынешний читатель откроет для себя эту мудрую и озорную повесть, откроет «Поиски жанра», «Пора, мой друг, пора», «Рандеву», «Свяжску». Ведь по сути дела Россия сегодня все та же...

Остров Крым

Знаменитый роман «Остров Крым» Василия Аксенова принес автору мировую известность. В основе фабулы невероятное допущение: как могла повернуться история, если бы Крым не был захвачен большевиками, а остался свободным и независимым. В романе много приключений, гротескных житейских ситуаций. Несмотря на фантастический сюжет, книга во многом оказалась провидческой.

Новый сладостный стиль

Один из последних романов Василия Аксенова. Главный герой книги театральная режиссер, актер и бард Александр Корбах, в котором угадываются черты Андрея Тарковского, Владимира Высоцкого и самого автора, в начале восьмидесятых годов изгнан из Советского Союза и вынужден скитаться по Америке, где на его долю выпадают обычные для эмигранта испытания — незнание языка, безденежье, поиски работы. Эмигрантская жизнь сталкивает его со многими людьми, возносит к успеху и бросает в бездну неудач, мотает по всему свету. Это книга о России и Америке, о переплетении человеческих судеб, о памяти поколений, о поисках самого себя, о происхождении человека — не от обезьяны, а от Бога. И еще это — книга о любви.

ЧИТАЙТЕ КНИГИ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

Затоваренная бочкотара

В давние времена, шестидесятые — семидесятые, люди до дыр зачитывали журнальные тетрадки с его новыми повестями и рассказами. Особенно популярна была «Затоваренная бочкотара» — фразы из нее становились крылатыми. Пусть и нынешний читатель откроет для себя эту мудрую и озорную повесть, откроет «Поиски жанра», «Пора, мой друг, пора», «Рандеву», «Свяжск». Ведь по сути дела Россия сегодня все та же...

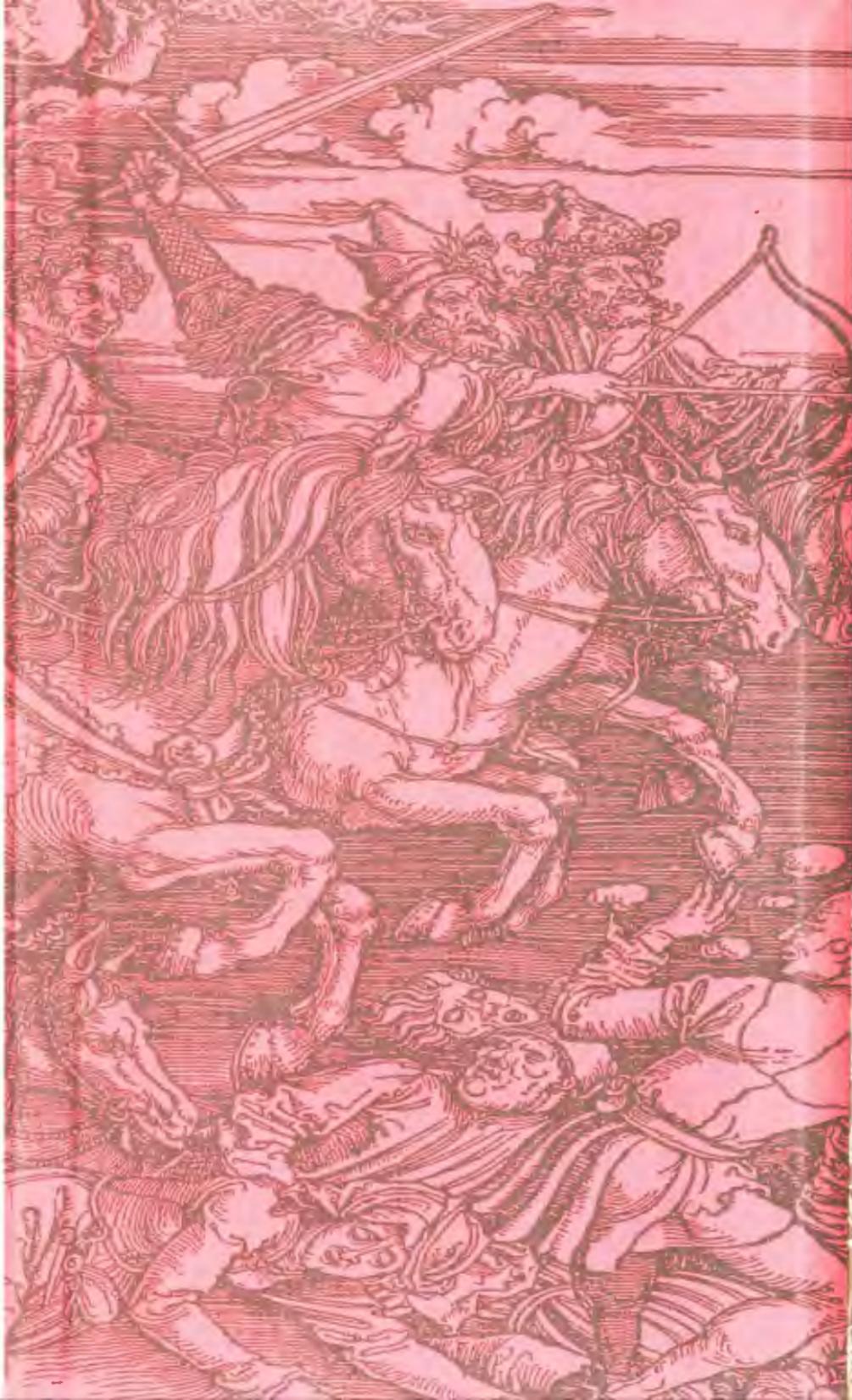
Остров Крым

Знаменитый роман «Остров Крым» Василия Аксенова принес автору мировую известность. В основе фабулы невероятное допущение: как могла повернуться история, если бы Крым не был захвачен большевиками, а остался свободным и независимым. В романе много приключений, гротескных житейских ситуаций. Несмотря на фантастический сюжет, книга во многом оказалась провидческой.

Новый сладостный стиль

Один из последних романов Василия Аксенова. Главный герой книги театральный режиссер, актер и бард Александр Корбах, в котором угадываются черты Андрея Тарковского, Владимира Высоцкого и самого автора, в начале восьмидесятых годов изгнан из Советского Союза и вынужден скитаться по Америке, где на его долю выпадают обычные для эмигранта испытания — незнание языка, безденежье, поиски работы. Эмигрантская жизнь сталкивает его со многими людьми, возносит к успеху и бросает в бездну неудач, мотает по всему свету. Это книга о России и Америке, о переплетении человеческих судеб, о памяти поколений, о поисках самого себя, о происхождении человека — не от обезьяны, а от Бога. И еще это — книга о любви.







«Московская сага» Василия Аксенова — это эпопея российской жизни, рассказ о самом страшном ее времени, времени тревожного мира и страшной войны. Три поколения прекрасной семьи русских интеллигентов Градовых проходят все круги советского ада: борьбу с троцкизмом и чистки тридцатых, коллективизацию, ежовщину, лагеря, войну с фашизмом, послевоенную агонию сталинского режима. Первая книга трилогии роман «Поколение зимы» охватывает двадцатые и тридцатые годы.



ИЗОГРАФУС

ЭКСМО